

# ГРАНИ

GRANI

171

1994

---

Verlagsort: Frankfurt/Main, Januar-März

## "ГРАНИ"

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Гранях" были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева Л. Бородина,  
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,  
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,  
В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Н. Заболоцкого,  
Б. Зайцева, Е. Замятина, Н. Коржавина,  
В. Корнилова, А. Куприна, С. Левицкого,  
Н. Лосского, В. Максимова, О. Мандельштама,  
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,  
Б. Пастернака, К. Паустовского, А. Платонова,  
Г. Подъяпольского, Р. Редлиха, А. Ремизова,  
Ф. Светова, А. Солженицына, В. Солоухина,  
В. Тарсиса, М. Цветаевой, И. Шмелева,  
В. Шульгина и многих других отечественных и  
эмигрантских авторов.

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



**Журнал основан в 1946 году**  
**Основатель журнала Е. Р. Романов**

**Редактировали:**

**1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов**

**1947 - 1952 Е. Р. Романов**

**1952 - 1955 Л. Д. Ржевский**

**1955 - 1961 Е. Р. Романов**

**1962 - 1982 Н. Б. Тарасова**

**1982 - 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч**

**1984 - 1986 Г. Н. Владимов**

**Главный редактор**  
**Е. А. Самсонова-Брейтбарт**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XLIX

№ 171

1994

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Геннадий АЛЕКСАНДРОВ  
Через Поножовщину (Рассказ) 5
- Евгений ГРАЧЕВ  
Ода гармонии (Стихи) 24
- Валерий ЕСЕНКОВ  
Дуэль четырех (Повесть) 33

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Диана МЫШАЛОВА  
Реалист ли Бунин? (О поэтике цикла "Тёмные  
аллеи") 124
- Алексей АНТОНОВ  
Роман-кентавр Анатолия Кима 131
- Юрий ЛИННИК  
Поэзия Николая Моршена 143

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Михаил КОРНИЛОВ  
Почему и как я оказался на земле финнов 173

### ИСТОРИЯ

- Н. А. ЯКОВЛЕВА  
Февральская революция и Сибирское земство 200

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Александр ОРЛОВ</b><br><b>Мертвые сраму не имут...</b> | <b>222</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------|

**ПУБЛИЦИСТИКА**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Андрей САМОХИН</b><br><b>США на пороге XXI века</b> | <b>244</b> |
|--------------------------------------------------------|------------|

**ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА**

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Иван ЕСАУЛОВ</b><br><b>Человек-вещь и христианское сознание</b>                     | <b>259</b> |
| <b>Валерий СЕНДЕРОВ</b><br><b>"...И сумрачный германский гений"</b>                    | <b>276</b> |
| <b>Владимир НЕРОЗНАК и Раиса КЛЕЙМЕНОВА</b><br><b>Восхождение к дравой словесности</b> | <b>297</b> |

**КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ**

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Игорь КРУЧИК</b><br><b>Потусторонняя свирель</b><br><i>(Рюрик Ивнев. "Мерцающие звезды". М., 1991.)</i>                                      | <b>307</b> |
| <b>Андрей САМОХИН</b><br><b>Ответственность общества</b><br><i>(Л. М. Мид "Общественные обязанности граждан".<br/>Нью-Йорк - Лондон, 1986.)</i> |            |

Обложка работы художника Н. Мишаткина

**Геннадий АЛЕКСАНДРОВ**

## **Через Поножовщину**

Когда я вспоминаю о Никольской церкви, а это бывает нередко, хотя каждый день могу видеть ее то из окон отцовского дома, то с окрестных дорог, она являет для меня завершение фразы о времени и о пространстве. Если же в мыслях окажусь в любом уголке слободы или близкого ее предместья, то легко представляю, какими увижу купол храма и ярус колокольни: разделенными тончайшим ручейком небес, или в робких касаниях, или в объятьях. Порой виден лишь краешек, крестик, однако и он осветит весь пейзаж. Прекрасен вид, раскрывающийся со стороны Кармановского леса, когда вот-вот приблизишься к слободе и уже что-то пестрое сыплется там, за деревьями, — крыши ли, стены ли, — вздернется черная палка трубы, но уведется влево сосновый рукав и направо сбегает с обочин березы — и ткань панорамы в монистах домов и курчавых садах поднимается выше, расходится шире, глаза не охватывают картину, и вдруг, внезапно, хотя и ждешь, и знаешь, что она будет — влетает в пейзаж классическая колокольня с синим небом между "четвериками" колонн, с высоченным торжественным шпилем на огненном шаре, и около — круглая, плавная церковь. Словно долгожданный гость раскрыл цветастый платок с гостинцами, и ты, дитя, замечаешь сначала лишь яркие карамели, прозрачные петушки, рассыпающиеся по уголкам, но когда увидишь рядом златоглавый штоф

поджаристой пасхи, усыпанной бисеринками пшена, изумленный вздох всколыхнется в тебе.

Дорога к церкви через Поножовщину – иное. Она вне времени: настолько часто я ею шел, что перепутались все частности, какие были в смутном, теплом детстве, пьяной юности и в узкой рассудочной зрелости.

С возвышенного над Свапой поселка эта дорога круто спускается вниз, до святого колодца, и там начинается новый подъем, в Богословщину, в обитель садов и палисадников. Храм то скрывается в зелени яблонь, то означает призрачным крестиком. Здесь переплелись прозвища улиц, проулков, словно на старинной позолоте образов написали по святым словам – казенные, да постарались черной краской, будто штемпель на больничной наволочке, но явилось чудо, и сквозь порядок новых слов вдруг проступила вязь старославянская, узорная кириллица, увенчанная титлами: из-под Советской выглянули Богословщина с Никольщиной, а над поднятым у Свапы поселком Ленинским всем прочиталось – Поножовщина. И с этими словами всполохнулась в памяти людской забытое рассудком, но не кровью – далекие огни и космы пыли в небе, и жесткий звон мечей. И на церковь многие взглянули по-иному: она не здание, а Дом, который защитит и успокоит. Кто хотел от Бога подачек, спешил в церковь по короткому пути: через болотистый луг по кочкам, через ручей по кладкам и дальше – по репьям и лопухам; которые желали радости общения – шли непременно по дороге, через весь ближний мир людей, впитав его в себя, чтобы прийти с ним к Богу.

Когда я просыпался в светлый праздник Воскресенья и видел над собой зажженную лампаду на серебряной цепи, пространство комнаты сужалось до кровати и мягкий, липкий полумрак пропиты-

вал его, и я испытывал блаженство безмятежности. Услышав хрипловатый голос бабушки, мое сознание рождало в полудреме связки слов, которые никак не могли слиться в гладкое предложение, хотя бы образ предложения давно уже возник: "Сегодня в церковь... С бабушкой в церковь... Пойдем по улице..." Я едва ли сумею сейчас избрать одно лишь из десятков воскресений, но отчего-то вспоминается мне спелость августа и желтое льющееся солнце, и яблочный Спас, и медовый Спас - эти святые праздники были пронизаны желто-красными расцветками, и знаю, что солнце сочилось как мёд, казалось не сухо светящим, а влажным.

Дорога в ту пору еще не приняла унижения бетоном; обычный на возвышенности ветерок сбивал песок в узорные и крепонькие дюнки, которые упруго поскрипывали под ногами и оставляли в своей плоти четкий слепок подошвы; но тот же ветерок через несколько часов менял и волны, и изгибы дюнки, словно натирал пыльцу в тугой слоистый пластик мелким ситом, и след исчезал навечно. Дома, казалось, выплыли с куинджевских полотен: миткально белые, с плывучими окошками, в лишайных тростниковых стрехах. На Свиридрихиной хате, плюшевой от моха - она стояла близ болота и по ночам купалась в оргиях туманов - возле печной трубы прозябала черемушка: она сквозила своей хрупкостью - покинутый ребенок старой матери и ветра.

Свиридиha глядела на дорогу в мелкое окошко, и лицо ее блестело масляным блином; не свет дневной лудил его через стекло - оно и в полумраке так лучилось, мытое распутными туманами. "Свирида ждет", - говорила бабушка, кланяясь на окошко. "А скоро он придет?" - "Свирид? Никто не знает", - пожимала бабушка покатыми плечами. Я раньше не видел Свирида, но человек, проткнувший

другого человека вилами – ведь Андрея Гулюху, с вытекшим до костяного донца глазом и дырой в щеке, я знал – мне представлялся приземистым и темнолицым, с свирепыми угольными глазами; он приснился мне однажды в дни болезни и отлучил на полночи от сна. Откуда это? Ни Посейдон с трезубцем, ни белоглазый Люцифер не явятся ребенку – они лишь порождение ума, но память русского соткет иное, вечное: проклятого кочевника, кочья иль кощя, склонившегося с высохшим оскалом над младенцем, печенег иль татарина, всегда в прищуре узких глаз и потому – бессмертного.

Через несколько лет я увидел Свирида – седого высокого старика, замкнутого и строгого, высохшего, как струч. Это был не тот Свирид, не пострадавший мной: я не мог увидеть в его жилистой руке убийственных вил. Зато его жертва, Гулюха, криворотый, с вызывающей дырой в щеке и дерзким мертвенным проемом вместо глаза, казался беглым Соловьем-разбойником; он и погиб по-дикому, упав в полночный час в овраг и пропоров живот на штырь.

Потом мы с бабушкой здоровались с Кадечихой. Она по солнечным дням сидела на короткой лавочке у сизого забора. Рыхлая, с рассыпчатым лицом, усыпанным рябинками, Кадечиха щурила подслеповатые глазки, складывала руки на живот и кланялась, покачивая головой, будто чему-то поддакивая. Так она сидела, всем равно кланяясь, многие годы; не одних стариков, но и отцов наших провожали на погост, и Кадечиха кивала мертвым и живым, как мудрый равнодушный идол. Но как же, говоря о ней, я вспоминаю – "мимолетное виденье"! Откуда в ее заросшем муравою дворике вдруг зазвенел, запрыгал полосатый мяч и выпорхнули, словно бабочки-капустницы, два светлых банта? Я нашел свой облезший мячишко, забил его

за дорогу, в калачики, и, затаившись, следил, как в щелях сизого забора мелькают бело-голубые косячки матроски. Лица той девочки я нынче не припомню, но всё в ней было остреньким: и локотки, и колени, и плечики, — и я, стиснутый зудом болотной мошки, терпел, пока не расслышал сверлящий осиный полет, и, убегая, всё же выхватил навечно взглядом замершую в воздухе, в полете, тонкую фигурку.

Дорогу к церкви через Поножовщину я могу сравнить с сонатой, какую музыкант каждый раз играет, не забывая заданных нюансов, и всё же всегда по-разному, меняясь сам. Как руки знахаря внимают теплым и холодным клеткам человеческого тела, так и в меня близ каждого двора на Поножовщине входили зыбкие, но всё же ощутимые тона, полутона душевной нежности, порой пробиваемые тенью неприязни. Пройдите со стариком по улице его детства, и пусть он расскажет о давнем, полузабытом — вы увидите, как просветлеет лицо его около крыльца первой возлюбленной и как по нему промелькнет еще одна морщина возле дома предателя-товарища, пусть даже тот давно уже в земле. Воистину не жизнь идет, а мы проходим...

Наискось друг к другу козыряли свежим тёсом домики братьев Платошиных, Ивана и Шурки. Белые наличники очерчивали окна выпуклой оправой, поэтому дома казались важными, в очках. Шурка Платошин — нескладный мужик; голове на тонкой шее приходилось тяжело, и, только приподнявшись, чтобы оглядеться, она устремляла взор в землю. Так и бродил он с задумчивым видом, сложив руки за спину, будто бы что-то искал или мыслил. Когда-то, говорила моя бабушка, проскользнула по его мальчишескому чубу молния, и будто бы с тех самых пор худая и прямая, как безмен, Платошиха надела темные одежды и каж-

дый день ее фигура пересекала луг, как ветка чернобыльника. Она спешила в церковь даже по распутице, в литых мужских сапогах, хлобыставших ее по жидким икрам. В редкие дни, когда я попадал в их дом играть с маленьким Сашутой, мой взгляд тревожно наблюдал за старой желтолицей женщиной, которая, склонясь в углу, читала шепотом таинственную книгу с серебряным крестом на переплете.

Наша с бабушкой дорога в церковь никогда не встречалась с Платошихиной. Для нас каждый выход был праздничным, а пребывание в церкви — торжественным до ликования. Старая Платошиха молилась тихо в темных углах и незаметно ускользала после причастия в тугую сень колонн, словно дымок от ладана.

Иван Платошин был лобаст и выпукл, как борец; с Шуркой схож лишь породистым смехом. Со старанием, достойным немого Герасима, Иван обихаживал дворину, и каждое утро соседи слушали шарканье метлы по грунту или потюкивание топора. Я, иногда прибегая в их двор, видел этого мощного человека, ступающего с ножницами и лейкой возле клумб с цветами, и во мне нарастал тот подсознательный ужас, который возникает при виде чего-то большого и грубого, сближающегося с нежным и хрупким. Но цветы не трепетали от его прикосновений.

Я забегал сюда, чтобы увидаться с Павликом и Зоечкой, беленькими ребятишками с испуганными глазами; они словно пришли с фотокарточек, на которых дети, затаив дыхание, зажав в кулачки игрушки, страдают в ожидании птичек.

Павлик выгребал из подкроватных кладов вохроа открыток, этикеток, марок, и мы часами строили из них калейдоскопы; случались настоящие пиры для любопытства, когда из дальних,

пыльных сундуков на Божий свет являлись толстые и яркие, как свадебный пирог, подшивки "Огонька" с потешным старичком Никитой на обложке и развеселыми людьми внутри. Мешавшую Зоечку мы отгоняли от себя, но как-то раз ее распахнутые серые глаза зажглись в моих и отозвались притяжением, и вскоре я встречался с ней в заросших чистотелом рвах, щипал опушки и свирбейку, угощал ими Зоечку, и вдруг, ломая стыд и неуклюжесть, мы начинали обнимать и целовать друг друга, чтобы потом в смущении разбежаться по домам до завтрашнего утра.

Возле дома загадочной старой Платошихи в сердце моем возникала тревога, но она исчезала с приближением к Зоечкиному крылечку, и слияние восторга со стыдом еще какое-то время жило в душе после каждого воскресшего в воображении поцелуя.

Образы раннего детства не подвластны поздним мыслям и переживаниям, для памяти они созерцательны, их можно описать лишь абрисом, подчас настолько тонким, что невозможно обозначить грань реального с мечтой: какой-то эпизод или частица бытия и в самом деле существовали, и с ними — природа, люди, звуки, краски, но за взрослением мы расцветили их в желанные тона, ведь кроме грез о будущем есть и мечты о прошлом, которые рисуются еще прекрасней от того, что ему нет возврата. Всё святое мы видим и чувствуем в давнем.

Однажды утром на Свапе, покрытой перистыми полосами солнца, когда туман дымил по водомойням и шлифовал холодным блеском камыши, я вдруг услышал тихий плеск и россыпь капель от весла, и вынырнуло легкое суденышко, а в нем — два чистых, улыбающихся мальчика. Лодка плыла и опять исчезала в раскрях туманов, и в какой-то

миг и она, и плывущие в ней оказались на солнечном круге и скрылись, осиянные, совсем, словно светило впустило навечно их в царство свое. С тех пор я часто вспоминал об этих мальчиках, но и себя видел в той картине, себя, в фуфаячке, в фуражке с кнопочкой, застывшего над сонною Свапой.

А иногда оживает другое: степенная статная женщина с венцом пепельно-черных волос в двенадцать подборных гребешков, едва прикрытых платком в крупных мальвах, с пышным бюстом, задернутом шелковой кофтой, в широкой, как колокол, юбке, ведет за руку толстощекого мальчика — это мы, Господи, это мы с моей бабушкой идем по поселку в Никольскую церковь! А по обеим сторонам от нас дома, дворы, где еще живы старики, а остальные — молодые, здоровы, и августовское утро, прошитое солнцем, литое и чистое, словно ранет.

В ряду бревенчатых строений на Поножовщине стояла хата из самана, и жил в ней Саша Саманный. Его образ во мне почти погиб: ни лика, ни голоса; знаю, что было: стоит в нашей хате мужик с бутылью в руках, а в ней — светло-фиолетовые чернила; на печи лежат голые мать и отец; жарница, но они дрожат, стучат зубами, и мужик открывает бутылку и давай поливать родителей чернилами. Мне хочется кричать, прогнать его, и я смотрю с надеждой на бабушку — вот она влазит на печь, вот столкнет оттуда мужика, а бабушка кричит ему: "Лей больше, байбак, жалеешь!" — и вдруг как зашлепает звонко по спинам ладошами, как засмеется: "А? Что? Проняло? Ну, терпите, топежки!" Я поражаюсь — чернила не красятся! Сестра Галинка мне нашептывает в ухо, словно тайну, что мать с отцом тащили воз с дровами по Свапе, попали в полынью, что еле выбрались по льду, а растирает их Саманный специальным спиртом под названием "денатурат".

Что только не попадает в соты памяти.

Иногда в августе случались такие тихие утра — ни пеня птиц, ни трепета листвы, ни человека на пути — что весь мир представлялся искусственным: серебристые тополя — рисованными, дома — бумажными, далекая церковь на зеленой гряде садов — картонной. И только на глянцевых стеклах окон шевелились тени, и я мысленно проникал в те жилища, где хоть однажды побывал, и насыщал свой воображаемый театр вещами, причем припоминались и такие мелкие детали, как шербатый стакан на столе, застланном клетчатой клеенкой с дырой в виде серпика. По моему велению люди в комнатах сидели на лавках, обедали на кухне или о чем-то говорили в горнице — я даже знал о чем. А в тесном, маленьком домишке Казаковых, напичканном людьми, я никого не видел, кроме Раи. Я следил за каждым ее шагом, я заставлял ее смеяться, петь, рассказывать по комнаткам, которые превращались в хоромные палаты, и сердце мое было счастливо, а мысли порочны.

Когда рыжеволосая Рая шла по улице, останавливалось движение автомобилей; она будто раздавала драгоценности, и люди, восхищенные, терялись, что же можно взять: улыбку ли, походку ли — о, если б можно всё! Однажды мы с Зоечкой тайлись в овражке близ Свапы и зачарованно смотрели, как Рая, выгнув стан, словно гимнастка, пробовала "мостик", и волосы ее скользили по ромашкам, и вдруг она одним касанием сбросила лифчик, и груди, будто рыбы, выпорхнули вверх и задрожали. Она упала с "мостика", рассмеялась и, осмотревшись вокруг, пошла к воде, напевая про доверчивую чайку, которой расставила сети морская любовь. Я не мог без досады взглянуть на тонкую, бледную Зоечку; с того дня мы не прятались с нею в оврагах.

Рая грезилась мне всюду: костлявые купаль-

щицы резвились у реки – я выбирал из них светловолосую и облачал ее в тело Раи; разглядывал картинки в "Огоньке" – смеющиеся девушки вдруг становились ею. Она иногда приближалась ко мне неожиданно – когда я заигрывался возле дома – и говорила мне ласковые слова, и я так волновался, глядя в ее карие глаза, которые были удивительно похожими на очи Богородицы с иконы, висевшей над изголовьем моей кровати. И даже в церкви, во фресках, написанных в рост, я открывал для себя в святых женщинах Раю, и тогда мне делалось и страшно, и стыдно – мне казалось, что эти мученицы со строгими глазами узнают мои мысли и оживут, и выгонят меня, позорного, из храма.

Однажды в летний день пришел на Поножовщину моряк и забрал он девушку с собой, как в той сентиментальной песне о чайке, над которой вздыхают милые мещаночки, а серьезные умники морщатся от пошлости. Осталось имя, словно розовое облачко – Рая.

Кто-то, как Саша Саманный, остался расплывчатой тенью, иные настолько объемно и четко встают передо мной, что веришь в их вечную жизнь. Как старому, ставшему немощным любителю путешествий, за спиной которого сотни дорог, достаточно взять в руки расписание движения поездов, чтобы уйти в мечты о прошлом, так и мне с именем старинного знакомого является гравюра его жизни, вряд ли видимая им так же. Где мы вдруг обнаруживаем частичку нас самих, порой в полузабытом вновь появляется возможность пережить и довести себя до слез, и лишь благодаря забвению мы исподволь еще раз обретаем существо, каким когда-то были, вновь страдаем, потому что это уже не мы, а кто-то в наших образах. И скучное сравнение жизни с книгой нам наконец понятно, когда мы сами с нашими друзьями и знакомыми предстанем книжными героями.

Выше Раи жил Тиф – мальчишка с черными безумными глазами, широкоскулый, как скиф, и слишком невезучий. Бог наградил его странным плачем: он рыдал, словно смеялся, и зрители внимали его страданиям с улыбкой, как будто находились в балагане и не кровь текла с порезанной ладони мальчика, а клюквенный сок. И судьба, и люди дергали безумного Тифа за веревочки, он всё время падал, расшибался, и, казалось, к концу действия совсем растреплется: оторвутся ноги и руки, поползет из боков начинка.

Необъятный мир мыслей для Тифа отсутствовал. Познание жизни он обретал наощупь и попадал в тугие обороты. Воровали мы осенью свеклу с проезжих машин: кто столбил место на повороте, кто трамплинил дорогу камнями, а Тиф с разбегу вцеплялся в задний борт и сбрасывал коренья. Шофер однажды тормознул – и Тиф остался на дороге с раскрытым лбом. Полез в святой колодезь за монетами – едва не утонул. Посчитал бузину очень вкусной – рвало его несколько дней. Собаки его кусали, быки трепали, даже индюк, всем только пышно угрожавший, Тифа всё-таки клюнул. Когда хозяин заставлял в своем саду воришек, он отпускал им подзатыльники, а Тифа жег крапивой – чтобы услышать плач. Бедняга лишился двух пальцев, выжег известью глаз, и, считали все, не будет конца его невзгодам, только однажды он глотнул какой-то кислоты и покинул землю со своими горестями, будто и не мальчик это был, а притча о несчастном человеке.

По дороге одного из наших воскресений бабушка сказала мне: "Глянь-ка на окно Настюры. Там твой ровесник..." Я вздрогнул: белая жуткая маска висела в окне. Большая стриженная голова с морщинками на лбу – не то старик, не то ребенок; круглые птичьи глаза уставились на нас по-кукольному тупо и незряче, и я не сразу вспомнил о

таинственном уроде. Его Настюра родила в тюрьме и не показывала людям. Кому-то из детей случайно доводилось слышать мычание и сдавленные крики, но никогда никто из нас уродца не видал. Иногда, сидя по вечерам у костра над шелковой Свапой, мы пугали друг друга рассказами про погреба с мертвецами и черную руку, и находились фантазеры, будто бы краешком глаз узрившие Настюрино сына. Один живописал его с глазами на щеках, другой одаривал телячьими ушами... Такие рассказы нас не касались холодом испуга: мы посмотрели в клубе "Вия" и отнеслись спокойно к чудищам; причудливые уши, губы, нос не так отворачивают, как их отсутствие — безбровый и безгубый Фантомас надал нам ужасов.

Бледно-зеленое лицо уродца, его приклеенный к стеклу пустой взгляд поразили меня. Больше я его никогда не видел, урод вскоре умер, но долго еще, проходя мимо дома Настюры, я с ощущением озноба взглядывал на окно и потом спиной чувствовал тяжесть мертвенных глаз.

Часто нам встречался по дороге Ваня Пыш. Во всей слободе и ее округе не найти было такого крупного мужика. Если у других шикарных мужиков имелись животы, какие люди называют немудрено барабанами и бочками, то для Пыша это сравнение казалось мелким: он был человеком-цистерной, его брюхо катилось от шеи. В любую погоду, даже когда выл ветер и секла снежная крупа, он выходил на дорогу в майке, не достигающей до пупа, и ревел с победным торжеством: "Русский бык сломал турецкий штык!" Все детали человеческой головы у Вани Пыша выпячивались, будто бы их подобрали в пропорциях к туловищу и привинтили уже в зрелом возрасте. Он заходил по праздничным дням в дома соседей и загораживал в них свет. И все поножовские привыкли к Ваниным вторжениям и знали, горьким опытом ученые, что

если сразу не подать ему стакан, то целый час, а то и два он просидит, буравля воздух лозунгами. Расположилась гора у порога – никому ни зайти, ни выйти – водит головой по сторонам; потом вдруг откроет рот со скрипом, пучит красные глаза да как гаркнет: "Наше дело правое – мы победим!" Хозяйка охает, ругается, но поспешает на кухню за водкой. Пыш вытряхнет в рот из стакана, понюхает майку и встанет, потопчется ради приличия. На выходе развернется к отчаявшимся жильцам и, скульптурно подняв руку, оглушает на прощанье: "Вперед к торжеству коммунизма!"

Ваня всех посещал, кроме Дрыщика: тот тоже наливался плотью и по размерам приближался к самому Пышу. Дрыщик подчас сентиментальничал – после двух стаканов он усаживался на своем крыльце, закрывал глаза и принимался потихоньку напевать "Сурка": пропоет с начала до конца и, не разлепляя век, заводит снова. Однажды он мурлыкал таким образом, и, тихо возвращавшийся с "обхода" Пыш остановился послушать.

Песня ему не понравилась: Дрыщик будто бы в насмешку пел о скитаниях нищего по дворам. Пыш заорал: "С трудом и песней жизнь чудесней!" Мало того, что он напугал криком Дрыщика – он поломал ему праздник, и не было ему прощения. Посланный в срамное место Пыш не возжелал туда спешить и закрутил могутной головой. Они схватились в драке. Это надо было видеть! Руки их ловили воздух и, как ни изловчались, лишь касались животов. Тогда великаны сошлись пуп на пуп. Р-раз, еще раз, еще... Казалось, что невдалеке бросают наземь бревна. Победу одержал, конечно, Дрыщик – он был моложе и трезвей, да и живот его гляделся поострей, боеспособней.

Направления моих мыслей и чувств так часто сменялись, что я забывал, куда мы идем и зачем, и поверни бабушка не к Богословщине, а в противо-

положный край, к святому колодезю и сельцу Гнань, я, вероятно, и не сразу спохватился бы.

Один ряд застроек Поножовщины короче другого: здесь возвышенность забирается козырьком вверх и ее край очерчивается гнутой линией, за которой от дороги ничего не видать, кроме неба, и кажется, что там зияет бездна. Наш взгляд настолько избалован горизонтами, что их отсутствие всегда загадочно. Это всё равно что заглянуть через таинственную стену, как в одном из фантастических рассказов, где герой живет единственной мечтой: посмотреть мир за неприступной стеной — он должен быть таким прекрасным по сравнению с опостылевшим миром повседневности! И когда он к концу жизни, истратив силы и отрезав путь назад, достиг наконец верхней грани стены, то был потрясен еще более серой, унылой картиной. Мне же не в чем разочароваться: что находится за нашим, поножовским, краем Земли, я видел сотни раз, но знакомое притяжение вершины и ожидание великолепия, которое откроется оттуда, каждый раз подталкивали меня взбежать в гору. Я же приближался медленно, чтобы сначала открылась соборная строгость сосен и от нее мне навстречу поплыло зеленое платье лугов с вкраплениями пенистых кустарников, чтобы с каждым моим шагом вырастали деревца, а когда под дрогнувшей ногой останется обрыв, чтобы река ослепила серебряно-синим зигзагом. Вода Свапы не помещалась в русле и в низменных местах сочилась по лугу озерцами, сияла сталью близ мохнатых, словно татарские шапки, кочек. Это живописное пространство называлось Ржищем. За ним белели лоскутки сельца Гнань, а на дальней горе за селом, будто в поучение всем верующим, стояла казенная Гнанская церковь. Она была обезглавлена; казалось, что из красных башенок, словно из горл, вот-вот польется кровь, затопит всю долину.

Бабушка говорила, что купола на церкви крылись позолотой. Солнечный луч рассвета, должно быть, зажигал первоначально крест на Гнанской горе и через несколько мгновений – на Никольском храме, как будто кмети-сторожа, заметив по росной сакме след кочевья, воспламеняли костры тревоги.

Бабушка сердилась, торопила: "С тобой за смертью добираться! Только возле Косяка стоим!"

Ивана Косяка на Поножовщине считали горчайшим пьяницей, пропащим человеком. Другие, может быть, не меньше его пили, зато гнездились семьями, вели какое-никакое, но хозяйство; Косяк же пропил свое прошлое и будущее. Жена и дочь его покинули, при дележе разобрали полдома по бревнышкам, и жилище Косяка – не дом и не сарай, а непонятный обрубок. Иван добывал себе "пойло", ничем не гнушаясь: за четвертинку "зелья" сгрызал до доньшка маленьковский стакан; за шкалик не брезговал и земляным червем, смеясь и приговаривая: "Мы сами сделаны червем, и он нас жрет и будет жрать, так надо ж и его попробовать". Косяк был худой, колченогий, что называется, чезлый; щетина на лице, как у ежа. Он служил сторожем в синдикате. Существовало на Поножовщине такое удивительное заведение, принимающее от населения всяческую дрянь: тряпки, кости, битое стекло, железяки, невыделанные шкуры, бумагу... Вонь возле него стояла несусветная. Горы коровьих черепов вздымали в небо тысячи рогов. Я изумлялся: зачем охранять то, от чего жители шарахались, затыкая носы, и обходили синдикат кругами! Будто нарочно для Ивана выдумали должность. Он обычно дремал на лавочке близ черепов, а детвора его драговала. То залезали на крышу сарая и рыболовной удой сдергивали с головы протухший картуз, то подкидывали съесть какую-либо гадость. Косяк матюкался в двадцать этажей, поминая и

бога, и апостолов, и пушкинских богатырей, и копыто крови, но вскоре его ругань умиралась до ворчания, и через полчаса он раздавал нам комсомольские значки старого образца и глиняные свистульки, которые предназначались сдатчикам костей. Однажды Иван обошел меня подарком, при этом сказал, подмигнув: "Ты, краснощекий, подожди... Тебе другое дам. Твой батя хвалился, что шибко читаешь... Покажи нам, неучам". Он заковылял в сарай, начиненный макулатурой, и вынес оттуда большущую книгу в закопченном переплете; в ней оказалось столько рисунков, что, когда Косяк прошелестел наскоро листами, мне почудилось, будто иллюстрации сыплются с них. Да какие необычайные: огромный ребенок и мелкие взрослые; мужчины в пышных одеждах, в чулках, длинноволосые, как женщины... И название книги нелепое: "Гаргантюа и Пантагрюэль" - я едва прочел, и никто не поверил такому названию, все брали книгу сами и повторяли, дивясь именам. Но стоило привыкнуть к странным словам, как я легко и с выражением продолжил чтение, и мои слушатели смолкли на время, лишь иногда раздражаясь смехом. "Красивая брехня", - сказал Иван и подарил мне книгу. Я до смерти не забуду ее запаха - аромата старого дерева: так еще пахнет под зубами мякоть грецкого ореха. Ах, как я бросился с веселым великаном и разбитным Панургом к оракулу Священной Бутылки! Сколько передумал про туры на колесах: когда же они приедут! - и никто не подсказал мне правды.

Обрубок Косякова дома находился на краю поселка, затем дорога ныряла под гору, и круто влево начиналась Богословщина. Здесь мир совершенно менял свои звуки, наряды и запахи: по дороге тарахтели мотоциклы, гудели машины, грохотали телеги; люди встречались на каждом шагу, иные кланялись бабушке, но я их никого не

знал, рассеянно слушал слова о здоровье, погоде, разглядывал палисадники и спящих возле них собак и кошек. Богословские дома смотрелись краше поножовских: искусно шитые тесом, крытые шифером, с теремными крылечками. Палисадники при них кипели от цветов: белые, багровые шары георгинов, махровые астры, оранжевые календулы и даже скромные васильки старались подать себя всей красотой, перевешиваясь через ограду или просовывали головы сквозь штакетник.

Внезапно воздух наливался сладким запахом, который был настолько плотным, что его хотелось откусывать — это испекли в пекарне свежий хлеб. И когда мы проходили еще добрую сотню шагов до центральной площади слободы, запах ощущался и только около аптеки растворялся в благовониях лекарственных трав.

Я к концу дороги уставал и с нетерпением поглядывал на медленно выраставшую церковь. Нам оставалось миновать несколько краснокирпичных толстенных домов, построенных в незапамятные времена купцами, и храм за ними открывался в полный рост, но в моей груди еще раньше поднималось волнение, сродное тому, какое испытывал я, стоя на краю обрыва над Свапой, только теперь оно устремлялось ввысь. Галки кричали над куполом и колокольней, в оконных стеклах храма бились мотыльки свечных огней. На высокой паперти беседовали тихо старики, кланялись бабушке подавнишнему: "Салфет вашей милости, Анна Ивановна!" И она отвечала степенно: "Красоте вашей чести!"

На пороге храма пахло ладаном и свежевymi-тыми полами; нас сразу ласкала прохлада. Десятки свечей рассыпались огнями в богатых окладах и в золоченых дарах. Голос отца Евгения в развернутом пространстве купола звучал так ясно и сочно, словно в самой вышине, где розовые дети безмя-

тежно созерцали Богоматерь, кто-то внимал священнику и доносил его слова людям. На затененном клиросе стояли тесной группкой певчие, и когда голос отца Евгения напрягался на пронзительно высокой ноте и, казалось, вот-вот оборвется, певчие подхватывали фразу и несли ее далее, то распевая слова, то обращая их в речитатив. Когда же священник и певчие затихали и на несколько мгновений отрешались от себя, молитв, толпы — ото всего обряда богослужения, толпа начинала волноваться в ожидании того, чего еще не было и лишь где-то в подсознании у каждого витало.

Глаза мои постепенно привыкали к ярким подрагивающим огням, и я без напряжения мог разглядывать не только большие росписи: белобородых стариков, чем-то похожих на отца Евгения, и женщин со спокойными лицами, — но и образа иконостаса уже не сливались в единое сияющее полотнище, и огонь окладов растворялся в темпере икон. Мне нравилось подолгу всматриваться в образа, изображавшие действия, и словно в тех видениях о мальчиках, плывущих в лодке по Свапе, я вдруг сам оказывался внутри иконы, так что хотелось протянуть к святым руки.

Бабушка неслышно подходила ко мне и шептала, чтобы я не стоял, не молясь, не крестясь, а слушал ее и повторял слова молитв. Старушки в темных одеждах посматривали на меня с ласковой укоризной, и я начинал шептать за бабушкой какие-то слова, но святые там, под куполом, идущие по облакам на фоне голубого неба, казались мне холодными и скучными, и меня снова влекло к себе золотое небо икон. Я не чувствовал своего тела, не ведал мыслей, лишь пение и желто-красное пространство окружали меня, я словно плавал в невесомости, во сне. И только прикосновение бабушки заставляло меня очнуться. "Становись причащаться", — говорила она, и тут только я замечал, что

пения не слышно, что отец Евгений раздает с подноса просвирки и черпает ложкой вино из золоченой чаши. Наконец, я вставал рядом со священником, он спрашивал мое имя и причащал хлебцем, напоминавшим вкус калачика, и смотрел на меня так, как будто знал мои переживания.

Покидали мы храм, когда солнце садилось на шпиль колокольни. Некоторое время богомольцы еще проводили у церковной ограды и потом, потихоньку собравшись по двое, по трое, уходили, разговаривая вполголоса, словно по-прежнему пребывали в храме. Бабушка по обыкновению встречала какую-нибудь старинную приятельницу, и они шли, то и дело останавливаясь. Во мне же после службы поселялась необыкновенная легкость, и хотелось петь, бежать, подпрыгивая через ножку. Но я ни разу не видал человека, бегущего в церковь или из церкви, и свою внутреннюю жизнерадостность направлял на игру: то представлял себя священником, то певчим, мурлыкал под нос псаломные слова. Бабушка удивленно глядела на меня, ворчала: "Ну, догуливай, догуливай, дружок... Смешно ему! Забудешь скоро с бабкою в церковь ходить. В школу пора... Там другие попы и другие иконы. Небось, после нас про Христа и не вспомнят..." И кому-то укоризненно кивала головой.

*Апрель 1993 г.*

*сл. Михайловка*

Евгений ГРАЧЕВ

## Ода гармонии

Лирическое стихотворение – разом и вызревший плод судьбы и неожиданный ее подарок. Тема, образы, впечатлений накапливаются и вдруг – претворяются и гармонизируются в текст, возникающий, рождающийся по мановению так до конца и необъяснимой силы, чьи энергии не остывают во времени, имманентно присутствуя в тексте всегда. Постигание стихотворения – это улавливание именно породивших его энергий... Стихи Евгения Грачева радуют теплом, не дающим тексту остыть, это лирика высрочного напряжения...

*Юрий КУБЛАНОВСКИЙ*

## СОЛНЦЕ ПОТЕРЬ

Холод сожмёт и приучит ненастье  
К вечеру утра и к облаку в дверь.  
Вдруг, словно вера в забытое счастье, –  
Синяя воля! Праздник потерь.  
Лето вернется, тепла половина –  
Не за горами апрель, а теперь.  
Ветер ласкает святые глубины:  
Праздник потерь! Праздник потерь.  
Злые утраты гниют золотыми.  
Грустно ступаешь на пади химер.  
Вдруг, словно вера, что снова я с ними  
Листиком солнца – солнцем потерь!

## ПРАЗДНИК ПОТЕРЬ

Лето пролетело, как комета,  
И зажгло хвостом понурый лес.  
Вспыхнул праздник поминанья лета  
И в холодном пламени исчез.  
Лист обогненный заворожённый  
Падает на героиню-мать.  
Листопад! я тоже обречённый  
В эту землю гулко упадать.  
Верба знает, будет воскресенье  
Прорываться почкой пуховой.  
Птица верит: радость возвращенья  
Заструится трелью зоровой.  
Упадет в вас та же вечность, реки,  
Глубь веков разбудит ледоход.  
Вспомните, братва, о человеке,  
Он один лишь больше не придет.

## ОСЕННИЕ СТАНСЫ

Двадцать пятого сентября  
Фонари целый день горят.  
Листья светятся под лучом -  
Лето ищется с фонарем.  
Клены, тополя и кусты  
Жгут утопии красоты -  
Нестерпимо! - по глади вод  
Белый лебедь еще плывет,  
Голографию проявив  
Серебром византийских ив.  
Заклинаю: "Рассыпья, лес! -  
Фейерверк, осыпаясь, исчез.  
Я не в силах терять красоту  
По улыбке, перу, по листу.  
И не знаю, кто боль задел:  
Всеминутность иль беспредел.

## ПЕРЕХВАЧЕННОЕ ПИСЬМО

Мама, ты помнишь пруд?  
Липы на берегу?  
Завтра меня убьют,  
Если не убегу.  
На берег приходи,  
Только не жди меня -  
Приговорили деда,  
Банде нужна резня.  
Мастер замазать смерть -  
Мой отец-командир.  
Мама, ему не верь!  
Он бережет мундир.  
Люсеньке передай -  
Лютику на этаже -  
Что я о ней мечтал,  
Но разлюбил уже.

## СОВЕСТЬ

Человека от обезьяны отличает не голость,  
Не мотыга, не танцы до умопомрачения.  
Человека от обезьяны отличает совесть -  
Послесвечение.  
Были встречи - окружались аурой провода -  
Года ожидания, автокачения.  
Светофоры не открылись в постгода,  
В послесвечение.  
Совесть приходит в ночные часы,  
Сквозь занавески светится.  
Совесть приносит свечу и весы -  
Большая медведица.

Компьютер может вычислить поля  
И совесть выделить на фоне биополя.  
За совесть не дадут вам ни рубля.  
По справедливости? По произволу.  
Я дернул шнур, и съезжился экран.  
Так неужели точка выключенья  
Балтлага ужаса – весь шарабан,  
Послесвечение?!

Совесть за горло берет кого?  
Кто делает то, что не надо.  
А если не достает до него?  
Радость примата?!

Улавливаю слабый острый ток  
Из дыр Большого, Малого и вечного.  
Не может уничтожить зонный бог  
Послесвечения.

Что выгодней? Сиюминутный рубль?  
Зажатое разоблачение?!

Спасите загнанное вглубь  
Послесвечение!

Совесть в предсудные ходит часы,  
В конце тоннеля светится –  
Моральная ценность, свеча и весы –  
Большая медведица.

## БЕЛЫЙ ПУХ

Белым пухом пошли одуванчики,  
Белым тополи пухом пошли:  
Парашютики, аэропланчики –  
Разлетелись, как годы мои.

Я иду вас искать, легкокрылые,  
По дорогам и песням моим.  
Где вы, дни моей юности милые?  
Виджу только лазоревый дым.

Сколько лет лучезарных осталось?  
Скоро ль ветер сорвет их, как пух?  
В синем омуте солнце купалось –  
И еще один вечер потух.  
Для чего было столько истрачено  
Страстных веры, стремлений, надежд,  
В мелодраме, где всё предназначено  
До бесчувствия сомкнутых вежд?!  
Выбор дан не богатый – жилками  
Обрывает нас грубо смерть,  
По мечте мы летим пушинками,  
По любви идем в круговерть,  
По делам приобщаемся к млечности  
Дальних звезд или илу рек,  
По лазури – великое в вечности –  
Умирает в нас человек.  
Умираем, карьеры заложники,  
Отдавая мир детства за власть,  
На Парнасе, двойные безбожники,  
Умираем, еще не родясь.  
На Манежной в толпе, Бастилия,  
Умираем, в дочери – мать,  
Ночь – в рассвете, порыв – в бессилии,  
Где уж нечему умирать.  
Полюбя встречаться с российскими  
Зелеными над тихой водой,  
Расстаюсь теперь с ними, близкими –  
Встреч, прощаний вокзал – с собой...  
По весне прорастут одуванчики,  
Белым тополи пухом пойдут –  
Сопричастности аэропланчики,  
Отлетевшей души парашют.  
И всему, что сердцу кричало  
Упоительное "встречай",  
Соглядатаю сопричала  
Я теперь говорю: "Прощай!".  
С этой жизнью всерьез сдружившимся,

Остающимся, от нее чуть-чуть  
Пригубившим иль упившимся  
Я хотел бы счастьем махнуть.  
Может быть, на астральном прогоне,  
Ожидая лихих лошадей,  
Мы увидимся – птицы-кони  
Ваши будут моих резвей –  
И быть может, улыбкой доброй  
Мы друг друга ободрим хоть раз.  
Будем Разумом, а не Коброй! –  
В остающийся благий час.

## ЭЛЕГИЯ

Опадает листва острым взмахом листа,  
лепестками гигантских последних цветов.  
Опускается давящая пустота.  
Небеса опадают словами снегов.

Листья-чувства мои, остаются без чувств,  
Ко всему, до всего равнодушен иль горд?!  
Вспоминаются листья – парящая грусть.  
Знает только весна, пробужусь или мертв.

## БЕЛЫЙ СНЕГ

От зимы в беззимье поседелый  
Я б хотел в пейзаж вписаться пег.  
Ничего не надо – только белый,  
Белый, белый, белый, белый снег.

Реабилитатор, очищай от пятен,  
От фальсификаций, лап и гадин.  
Выбели белье в буран, в пургу.  
Душу я отбеливаю на снегу.

Зацепляет бородой заиндевелой  
Бог снежинки – страждет человек.  
Смотрит в небо: "Где ты белый-белый,  
Белый-белый, белый-белый снег?"

Искры не хватает мне для смеха.  
Я хотел бы взять ее у снега.  
Мне нужна сугробов белизна,  
Чтоб душа писала письма.

На Россию упади, чтоб просветлела  
И раздался звонкий детский смех,  
Чтоб ни капли крови – только белый  
Белый, белый, белый, белый снег.

## ПОКОЙ

Вечный парусник вечного движенья,  
Унеси меня в дальние края,  
Догони, догони мое мгновенье,  
Что, смеясь, убегает от меня.  
Будут кайфом жара иль тень прохлады  
И одна лишь о вечности печаль.  
Ничего мне не будет больше надо.  
Никого больше мне не будет жаль.  
Снись, покой, когда есть мечта и ватты.  
Рвись, покой, пока нас не упокой.  
Привяжите к мачте, а в уши – ваты,  
Чтоб не слышать боли верхнюю соль.

## БЕССМЕРТНИК

Август вылепил теплым золотом цвет  
бессмертника.

Тянет меня  
не земля – этот центр  
Коперника.  
Стрекотанье  
кузнечиков с жужжаньем  
дотошных ос  
Литургией Чайковского в куполе  
отозвалось.  
Бесконечная копия  
с собора Петра иль Исакия  
Колокольчиком жаворонка в голубое  
завывала.  
Зеркало вод  
уронило в сердце  
время и лес,  
И оно заиграло бабочкой под  
луг – подлогом небес.  
Потому ли минутный бессмертник  
бессмертен,  
Что не знает ни о любви, ни о смерти?  
Человеческое очистительное бессмертие –  
Превратиться в бессмертника!

## БЕЛАЯ БЕРЕЗКА

Белая березка с трепетом в листьях,  
Золотой улыбкой, тайной на устах,  
Помоги подружке отыскать своих -  
Девушки залетные заиграли их.  
Где листва, где волосы,  
плечи, береста?  
В хороводе проводов -  
небо и глаза.

## ОДА ГАРМОНИИ

Есть в шахматах гармония фигур,  
Когда их вес – не сумма всех градаций,  
А парадокс взаимосвязи тур  
Иль дружба фейерверком комбинаций.  
Чуть пешку двинь иль переставь ладью –  
Исчезнет магия фигурной конъюнктуры.  
Противник предлагает тут ничью.  
Я соглашаюсь: мертвые фигуры.  
Мечтаю о гармонии опять.  
Готов служить изменчивой в прислугах,  
Перебирать ходы и замирать,  
Ее предчувствуя в игре иль звуках.  
Приди, гармония, в мои дела!  
Хотел бы я, чтоб так же, как природа  
Росинкой пролилась, душа жила  
Наитьем праведной души народа.  
Гармонии предпочитают лязг  
Ударных Главфатурпросветполита.  
Поэзия, что без нее твой таск?  
Трюкачество?! Опаснейшего вида!  
Бывает звон больших каденций пуст,  
Но вдруг, как молния забытой фрески, –  
Чайковский выдает истому чувств  
В семи значках "Да Римини Франчески".  
Я, как вампир, скупой слезинке рад,  
Которую гармония прорежет.  
Как древний грек с огнем олимпиад,  
Ищу гармонию сквозь крик и скрежет.  
Играет с нами тепловая смерть,  
Власть и народ – пространство энтропии –  
Да будет мир, чтоб смерти умереть  
В гармонии, которою живые!

## Дуэль четырех

### Повесть

Сосед! на свете всё пустое:  
Богатство, слава и чины;  
А если за добро прямое  
Мечты быть могут почтены, —  
То здраво и покойно жить,  
С друзьями время проводить,  
Красот любить, любимым быть  
И с ними сладко есть и пить...

Славно, забавно, на душе хорошо! Размышляя об этом, мысленно читая стихи, Александр наблюдал, как в этот миг Якубович, высокий, плечистый, с яростью воткнул свою длинную драгунскую саблю в заснеженную, но всё еще мягкую землю и зычно, раскатисто прокричал:

— Пора!

Этот крик, внезапно раздавшийся в тишине просторного поля, угрюмо молчавшего под низким нахмуренным небом, толкнул высокого Иона в сутулую тощую спину. Ион в испуге метнулся вперед, широко и неловко взбрасывая длинные ноги, старательно взмахивая правой рукой в вязаной толстой перчатке, после каждого шага тревожно обводя всех наивным вопрошающим и осуждающим взглядом.

Все зашевелились, задвигались. Злобно скалясь, сверкая бешеными глазами, молодой Шереметев со-

рвал фуражку с взлохмаченной головы и не глядя отбросил ее куда-то под куст. Секунданты в военных шинелях завозились у плоских черных лакированных ящиков, застывшими пальцами суетливо отпирая замок. Низенький доктор в черной шляпе и в черном штатском пальто невозмутимо толкался вдали, у трех тонких обнаженных березок, постукивая сапог о сапог. Отрывисто раздавались невнятные приглушенные голоса, хрустел свежий снег под толстой кожей подошв.

Накануне металась совсем зимняя долгая злая метель, навевая тоску. Ночью утихло, и стукнул первый легкий, еще не привычный мороз. День выдался звонкий, здоровый, но серый, строго насупивший тяжкие тучи. Пар валил из рта. Хотелось сильных движений и быстрого бега легких саней.

Как пенится вино прекрасно!  
Какой в нем запах, вкус и цвет!  
Почто терять часы напрасно!  
Нальем, любезный мой сосед!

Высокий черный цилиндр беспечно был сбит на затылок. Александр, совершенно согласный с Гаврилой Державиным, неслышно бормоча эти бодрые строки, отодвинулся несколько в сторону, чтобы не мешать поединку. Тонкие длинные ноздри, широко раздуваясь и вдруг опадая, жадно хватали морозную бодрую свежесть. Он весь был празднично возбужден, и от этого возбуждения ему становилось нетерпеливо и жарко и трудно стоять. Насмешливо улыбаясь, спокойно и прямо глядя на хлопотавших друзей, неизменных спутников всех его шалостей, которым предавался напропалую уже целый год, он рывками сдернул с верхних петель крючки, но хлынувший холод не остудил разгоряченную грудь. Ему не терпелось ввязаться в это веселое, в это славное дело. Озорство и азарт переполняли его. Он переступал с ноги на ногу, ожидая, когда и его

наступит черед и он подойдет к длинной сабле и уж покажет, покажет себя.

А тем временем Ион, нескладный и тощий, бормоча по-немецки, смешно путаясь в долгополой русской, застегнутой наглухо шубе, с торопливой медлительностью отмерял роковые шаги. Лицо, костистое, длинное, с колбасками рыжих немецких бачков, было растерянным, бледным и совсем некрасивым, еще некрасивей, чем бывало всегда. Припухлые красные губы испуганно и виновато приоткрывались.

Чего же он медлит? Экий болван!

Наконец Ион встал, и рядом с ним воткнули еще одну саблю, короче, гвардейских гусар. Ион заворуженно, непонимающе глядел на нее. Ему кричали, призывно махая руками:

— Богдан Иваныч, подите сюда!

Но бледный Ион всё не двигался с места с этим своим застывшим, смущенным, недоумевающим взглядом, когда всё это было так весело, так хорошо, чудак-человек!

Между саблями было десять шагов, это ли расстояние так смущало учителя, иное ли что? Э, да чёрт с ним!

Черные петли кистей, украшавших эфес, мерно раскачивал низкий порывистый ветер.

Глядя как будто на них, бедный Ион, казалось, готов был заплакать, чего доброго, еще зарыдать.

Александр улыбнулся. Он нарочно вытащил своего неуклюжего учителя-дядьку на эту двойную дуэль. Один вид пистолета бросал доброго сентиментального Иона в мелкую дрожь. Еще будучи, заботами маменьки, наставником и гувернером, Ион частенько сопровождал его в тир по обязанности, однако вечно оставался за дверью, где его мучили совесть и страх, и старательно забивал свои длинные уши хлопчатой бумагой и, сбивчиво по-

вторяясь и торопясь, бормотал и путал молитвы, которые оберегли бы порученное его попечению взрослое дитище.

Теперь Александр с удовольствием смотрел на него сквозь очки. Взъерошенный, встрепанный Ион напоминал ему зайца, присевшего на задние лапы и вытаращившего от страха глаза. Его подмывало вдруг свистнуть в два пальца и поглядеть, как ошарашенный Ион скачками забьется в сплошные кусты и спрячется в них. Он не свистел, жалея его, но про себя насмешливо повторял:

"Небось, уши здесь не заткнешь... Привыкай, привыкай, Богдан-Иоганн..."

Завадовский, чопорный и прямой, изображая прирожденного родового британца, подошел своим обыкновенным размеренным, точно искусственным, деланным шагом и сказал по-английски, негромко несколько сухих, простучавших как игральные кости, отрывистых слов.

Ион усиленно закивал в знак согласия и поплеялся, сутулясь, шмыгая толстым пористым носом, и широкая русская шуба, точно зипун на жирафе, болталась на узких костлявых плечах.

Александр, оглядывая картину, с наслаждением ощущал свое легкое сильное тело. Голова хорошо и сладко кружилась, как от первого хмеля. Он насмешливо повторял:

"Ай-шагай, Богдан-Иоганн... ай-шагай..."

Его кружила любезная ему бесшабашность. Может быть, в первый раз испытал он ее на балу у кичливого старого польского пана, твердо мог бы сказать, что запомнил, что в первый раз. С той поры бесшабашность завлекала, бесшабашность манила его, как вино. Он и счастлив бывал лишь тогда, когда безумная бесшабашность завлекала его чёт знает куда. Хорошо!

Ему тоже поднесли пистолеты на выбор. Он

взял свой не глядя, не снимая перчатки с нагретой руки. Время у него еще было: он стрелялся вторым.

Он стоял, откинув задорную голову, упираясь узким затылком в твердый поднятый воротник, делая сильный размашистый выдох.

Он не хотел, чтобы очки его запотели: стекла протирать на барьере было бы слишком смешно.

Над прочими смеяться приятно — над собой давать смеяться грешно, не позволительно, если не глупо. На дуэли очки и без того довольно смешны, но, может быть, благодаря изяществу и беспечности поведения очков не заметит никто.

Он достаточно натерпелся от них. Среди офицеров боевого полка он был единственный очкастый корнет. Юность тоже прошла одиноко. Он с увлечением изучал философию, словесность, историю, право, а в гусарском мундире он и сам казался себе неловок и неуклюж, как этот Богдан-Иоганн, который в самом деле пугливо совался в кусты. И служить пришлось в кавалерийских резервах, а не в полках, которые дрались под Лейпцигом и брали Париж. Свою дерзкую храбрость выказать было решительно негде. Ее заменяла небрежность кавалерийской посадки и задорное во всем щегольство. Пришлось-таки повозиться с собой, отучаясь от матушкиной хлопотливой опеки. Поначалу мундир сидел на нем едва ли не так же смешно, как на Ионе долгополая русская шуба. А тут еще эти очки.

Он с высокомерной улыбкой смотрел сквозь нижний край этих крохотных узеньких стеклышек, которые придавали резкость и четкость воткнутым саблям, кустам и фигурам друзей, составлявшим картину приготовлений. Противники уже шли от барьеров к местам. На таком расстоянии ему виделись одни силуэты, и каждого из друзей он узнавал по походке, по манере держать пистолет.

Надево Завадовский выступал не спеша, нагнун

остриженную по-английски коротко круглую голову, брезгливо стараясь попасть в проложенный Ионном след. Пистолет держал в левой руке, правую согревал за отворотом шинели, это надо заметить себе.

Шереметев, в распахнутом кавалергардском мундире, почти бежал на позицию, размахивая крепко стиснутым кулаком, прижимая к груди пистолет, спотыкаясь и увязая в глубоком снегу.

Поле боя близких друзей было открытым и плоским. Порывистый ветер свободно неся по просторам его. Люди ежились, сохраняя тепло, и прятали лица.

Один Шереметев открыто и жарко стоял на ветру, молодец! Этому мальчику, нелепому юноше всегда и во всем улыбалась судьба. Большая карьера, благодаря влиянию и связям отца, ждала его впереди. В мальчишеской фигуре выражалась отвага и нетерпенье. Боковой ветер бросал ему в глаза завитые тонкие кудри. Шереметев беспокойно и торопливо отбрасывал их, уже готовя свой пистолет.

Александрю нравился этот порывистый мальчик. Шереметева задор и веселость заражали его. Томление духа, от которого тяжело страдал, оставаясь часто один, рядом с ним пропадало бесследно. Ему становилось всё нипочем. Рядом с этим удалым поручиком, только что получившим штаб-ротмистра, он готов был пуститься в любые дурачества. Полковая лихость возвращалась к нему.

Он едва различал сквозь стекла очков взбодраженные глаза и по-детски обиженный рот. По открытой напряженной нервной фигуре он угадывал ему милые решимость и удалство. Он этим мальчиком любовался и спокойно ждал продолжения, надеясь увидеть превосходный спектакль.

Завадовский тоже встал на отведенное место, сосредоточенно потоптался, приминая пушистый рассыпавшийся снег, и коротким сильным движе-

нием прямых мускулистых плечей наконец сбросил шинель. Шитый мундир камер-юнкера был Завадовскому очень к лицу. Высокий воротник и жабо подпирали небольшой, но крутой подбородок, от этого круглая голова с горделивым спокойствием держалась на широких плечах.

Теперь противники были готовы. Оставалось подать последний сигнал. Вездесущий стремительный Якубович с гривой черных волос что-то запальчиво говорил секундантам. Секунданты ему возражали. Противники ждали, пока кончится неуместный, затянувшийся спор.

Все они были приятели, многие были друзья. Всё их роднило между собой: воспитание, отгремевшая недавно война, привычки беззаботных праздных гуляк. У них были почти одинаковые взгляды на всё, общие квартиры, общие кошельки. Им одинаково грезились доступные женщины, громкие подвиги, которых не успели они совершить, и привольная, бесшабашная жизнь. Они развлекались, дурачились вместе, отправляясь вместе в театр, вместе неистово-громким аплодисментом вызывали одних и тех же пылко любимых актрис, вместе напевали модные арии, вместе кутили всю ночь напролет.

И если один из них за вздор, за пустяк вызывал к барьеру другого, им, стоявшим на смерть при Бородине или при Красном, эти вызовы не казались серьезны. Поединок бывал для них только острой потехой, как черный перец в пресной еде, лишь бы кровь побежала быстрее.

Возраставшее возбуждение отвлекало его от этих спокойных и потому посторонних теперь уже мыслей. Александр зорко следил, сильно щуря глаза, как на середину выбирался Каверин, красивый гусар, привыкший к седлу и к паркету, прославленный дерзким бреттерством. Он различал,

как тот увязал в молодом глубоком снегу и путался в полах длинной шинели. Он улыбался и думал:

"Гусар без коня - не гусар, гусар без коня - эпиграмма..."

Он чувствовал себя, как в тот ослепительный вечер. Он даже выгибался немного в спине, ощущая гибкое тело, шалея от буйного кипения сил и взбодраженный до ледяного спокойствия истинной смелости.

Собираясь в тот дальний вечер на бал к кичливому старому польскому пану, они выпили всего по стакану шампанского, надеясь поздней наверстать. Все пятнадцать пуговиц были застегнуты доверху. Сапоги сверкали черным огнем. На ментике матово отливало золотое шитье. От начищенных шпор разливался серебряный звон. Они выскочили, рассыпая его, на крыльцо. Крыльцо освещалось подвесным фонарем. Фонарь скрипел, качаясь от сильного ветра. За потемневшим от нагара стеклом дрожало широкое пламя толстой свечи. Свет и тень метались и двигались у порога, а вдали густела осенняя крошечная тьма.

Его охватила бодрая свежесть наступающей ночи. В нем всё росли веселость и сладкая бодрость порыва, неизвестно куда и к чему. Его растущим клокочущим силам необходим был необъятный простор. Хотелось без устали мчаться куда-то, вскочив на коня. Хотелось свершать и творить, что-нибудь, всё равно.

Под серебряный звон, шутя и толкаясь, они сбежали с крыльца. В круг неясного желтого света, который дрожал и мотался, денщики подводили холеных кровных коней, и они с молодым беспечным проворством прыгали в седла, едва касаясь стремян. В нетерпении сытые кони перебирали ногами. Скрипела кожа седла, звякал металл о металл, взлетали в ночи возбужденные голоса.

Они поскакали в черную тьму. Подковы гремели о тесаный камень дороги. Впереди сияли окна огней. В этих окнах маняще мелькали чьи-то фигуры. Польский неся зазывно всё громче навстречу. Радость рвалась через край, и дорога показалась слишком короткой: он не успел насладиться бешенством скачки, как они уже были на широком мощеном дворе, у залитого светом крыльца, перед разостланным пестрым ковром.

Здесь стояли, ходили, перебегали лакеи, все в красных кафтанах и в галунах. С мраморной лестницы красное сукно сползало прямо к коврику. Перила пестрели гирляндами дорогих оранжерейных цветов. По бокам, из плетеных корзин, смеялись загадочно красные и белые пышные розы. Игривая бойкая военная музыка несла и кружила ослепительный вальс.

Они спешили, бросали поводья подбегавшим лакеям, входили, снимали сабли и кивера. Он один оставался в высоком седле, зацепившись шпорой за стремя. Над шпорой хлопотал невысокий неуклюжий лакей. Такая задержка его звонкую радость опалила стыдом. Вечно что-то мешало ему быть таким же, какими были они. Всё вздор да пустяк, а гляди, неприятели злорадно острили и друзья снисходительно потешались над ним. Всё не удавалось быть с остальными на равной ноге.

И он страстно мечтал совершить невозможное. Он ощущал, что храбрости, мужества, сил и ума у него предовольно на всё, надобно только решиться, надобно дать себе самому широкий простор, пусть-ка силы его развернутся вовсю, и он выплеснет одним духом всю свою мощь, чтобы видели, знали, восхищались и приходили в восторг.

Однако же что, однако же как совершить?

Вот никто же из братьев-гусар не угаздался зацепиться за обыкновенное кавалерийское стремя.

Они хладнокровно и лихо подкручивали усы, готовясь войти и предстать перед польскими паннами во всем неотразимом своем молодечестве. Если из них кто-нибудь невзначай обернется, все будут знать: у них один единственный есть в штабе дурак. В любую секунду он у всех на глазах должен был потерять свое редкое счастье, а с ней достоинство, может быть, честь. У него оставался один только миг.

И что же?

Он готов был переломить эту чёртову шпору, но знал, что этого сделать нельзя, и отчаянье душило его, и возбужденные шампанским и веселостью силы его клокотали, он явственно видел, что непростительно неловок, возмутительно глуп. Он вдруг испугался огней и лакеев. Его подстрекал на что-то пленительно-дерзкий мотив, вырывавшийся из празднично освещенного зала. Он жаждал избавиться, поскорее избавиться от нелепости своего положения, а пуще всего от стыда. Голова его кругом пошла. Он себя потерял.

Невысокий неуклюжий лакей освободил наконец злосчастную шпору. Он рванул дерзко повод, шпоры впились точно сами собой. Ничего не подозревавший скакун взвился на дыбы и прыгнул вперед. Промелькнули усы, зеркала и цветы. Стальные подковы ударили по гранитным нижним ступеням, покрытым толстым сукном. Он слышал, как мягкое сукно оседало, сползая, под ним. Он ощущал всем струной натянувшимся телом, что его конь вот-вот может соскользнуться назад и упасть. Он готов был взлететь и кошкой изгибался в седле, приподнявшись на стременах, страхась опуститься и тяжестью тела ослабить задние ноги коня. Ментик хлопал его по спине и тоже был слишком тяжел, и кивер сполз на затылок, удержанный лишь ремешком.

Он не успел оглянуться, как очутился на довольно просторной площадке. Лестница вдруг раздвоилась. Сукно, белый мрамор, истошные визги гостей. Он успел повернуть в последний момент. Конь взлетел в три скачка и ворвался как вихрь в беспечно танцующий зал. Музыка, крики, аплодисменты, огни. Его торжественно, с одобрительным смехом сняли с седла. Он сделался шумным предметом восторгов и осуждений. Дамы наперебой выбирали его. Он сделался героем этого бала. Это было как раз по нему. Никогда еще не испытывал он такого рода блаженства.

И вот блаженство приближалось к нему в другой раз. В этот миг Александр ощущал себя выше ростом, чем был, он испытывал несравненное удовольствие всё глубже прогибаться в спине, он с нетерпением ждал, когда наконец настанет черед легко и небрежно выйти на отмеченный драгунской саблей барьер, подставить себя под пулю и с улыбкой выстрелить в небо.

Нарушая все правила, Якубович в грозных усах топтался возле чрезмерно возбужденного Шереметева и что-то настойчиво тому говорил, глядя прямо в пылавшие гневом глаза. Каверин выбрался наконец на середину дистанции и кашлял, прочищая, должно быть, застывшее горло. Якубович, махнув Шереметеву, на этот кашель стал отбегать. Каверин с игривой торжественностью вскинул правую руку, отчетливо скомандовал "три", взмахнул неторопливо, небрежно и, вновь увязая в глубоком пушистом снегу и путаясь в длинных полах шинели, отступил в безопасное место. Якубович повернулся к нему, глядя враждебно и с вызовом, дергая ус.

Александр хорошо различал силуэты и жесты и потому остро чувствовал на себе этот вызывающий взгляд, но не отвечал на него, а глядел, боясь пропустить.

Завадовский всё стоял, задрав круглую крепкую голову, круто выгнувши правую бровь, как делал всегда, холодно ожидая, точно готовясь поднять пистолет, но всё еще не поднимая его.

Шереметев сорвался, точно ужаленный, с места. Широко и порывисто двигались длинные, нескладные по-мальчишески ноги. Порывистое дыхание вырывалось со свистом. По-звериному ощерился рот. Рука поднялась стремительно, резко. В то же мгновение, как она поднялась, грянул выстрел, почти без прицела, навскидку, как в тире бьют по тарелкам. Пуля свистнула нежно и пробила Завадовскому, стоявшему боком, как должно, воротник сюртука.

Склонив голову, кося глазом, Завадовский поцарапал дырку от пули скрюченным пальцем и протянул удивленно по-русски:

— А, он на жизнь мою посягал.

И пошел спокойно и тихо, всё стараясь попасть в чужой след начищенным сапогом, и крикнул негромко:

— К барьеру!

Ощерившись еще злей, Шереметев почти пробежал пять шагов и встал к противнику боком, прикрыв по-мальчишески узкую грудь разряженным своим пистолетом.

Каверин весело крикнул:

— Оставь его, Александр!

Остановившись точно возле воткнутой сабли, на которой попрежнему раскачивалась тяжелая кисть, Завадовский подумал недолго и спокойно сказал, чуть приподняв пистолет:

— Хорошо, я выстрелю в ногу.

У Александра вдруг замерло сердце: все знали, что Завадовский в искусстве стрельбы сравнивал себя с самим Россом, англичанином, капитаном, убивавшим ласточек на лету.

Дуэль в самом деле обещала сделаться острой шуткой, немного, может быть, болезненной, с несколькими каплями пролитой мальчишеской крови, это и пусть, мальчишка шальной, ну и что ж, пустяки.

Александр с Завадовского глаз не спускал.

Вот вспыхнул порох на полке бледным огнем, однако в первый раз вышла осечка.

Секунданты, подбежав мелкой рысью, подсыпали новый.

Вторая.

Нервы натянулись, как струны, бодря и немного кружа: вот оно как, вот оно как...

Шереметев, резко вскинув лохматую голову с трепетавшими по ветру завитыми кудрями, вдруг ожесточенно и в то же время презрительно вскрикнул:

— Убей меня, Сашка, убей, или мы в другой раз станем стреляться, и я, вот увидишь, второй промах не дам! Слышишь, я тебя пристрелю, как собаку!

Завадовский посмотрел на него вопросительно, между тем как вновь подсыпали порох на полку и поправляли кремень.

Шереметев, не отходя от барьера, подозвав Якубовича взмахом руки, намеренно громко и угрожающе приказал:

— Заряди пистолет!

Ну, хорошая шутка превращалась в дурной водевиль. Александр досадовал на шкодливого Ваську. К тому же у него начинала мерзнуть рука. Представление слишком затягивалось и уже утомляло его. Он был решителен, дерзок и смел, для него всё удовольствие поединка заключалось в стремительной легкости, от которой хотелось бы смеяться, обниматься с друзьями, пробки пускать в потолок.

Он подумал, поправляя очки, что рука может

застынуть совсем и он не сможет сделать свой выстрел с той красивой небрежностью, ради которой явился сюда, и, чего доброго, попадет в положение неловкое, в какое попасть не хотел.

Он продолжал с любопытством смотреть чужую дуэль, переводя взгляд с одного приятеля на другого, но уже хотелось кончить всё поскорей, прыгнуть в низкие санки, завернуться в широченную звериную полость, долететь до трактира, напиться горячего чаю, добавляя для крепости рому, согреться, куда-нибудь явиться на вечер и язвительно высмеять всех, просто так, не имея злости ни на кого: уж больно люди смешны, да и только. О Шереметеве он бы сказал...

Выстрел хлопнул.

Завадовский небрежно отшвырнул пистолет, похожий на черный чубук, и разряженный пистолет упал в снег.

Шереметев в ответ потянулся всем телом, точно вставал на носки, припрыгнул, дрыгнул вяло ногой и повалился тоже на снег.

Завадовский неторопливо отошел от барьера, поднял шинель и принялся заботливо сбивать с нее снег.

Все разом побежали к упавшему.

Шереметев, зажав руками пробитый пулей живот, нырял в пушистом снегу, точно выброшенная на берег рыба, и жадно хватал его уже восковыми губами.

Каверин, взглянув на него опытным взглядом военного человека, видавшего всевозможные раны, полученные в бою, протянул с равнодушной усмешкой:

— Вот тебе, Васька, и редька.

Эта выговоренная хорошо по-французски, по-французски же легкомысленно искаженная редька, вдруг жестоко оскорбила его. Александр успел

быстро подумать, что русский народ в иных случаях спрашивает приятеля, хороша ли репка, и хотел было прикрикнуть:

— Не смей!

Да язык не повиновался ему.

Якубович, оскалясь, взвизгнул и выстрелил в воздух, высоко подняв пистолет.

Завадовский, уже надевавший шинель, с удивлением посмотрел на стрелявшего.

Якубович, не глядя в ту сторону, выругался грубо по-русски и прокричал онемевшему Александру:

— А я с вами потом, уж потом!

Пожилой полный доктор, сгибаясь, неспешно, с трудом, действуя привычными руками с осматривательной ловкостью, взрезал на Шереметеве суконные брюки и шелковое голубое белье, широко обнажил уже неестественно вспухший живот, сморщив полные губы, небрежно, точно для вида, ковырнул бескровную черную дырку в правом боку, бросил зонд в саквояж, который держал перед ним услужливый Ион, властным жестом потребовал хирургический нож, твердым мгновенным касанием чуть надрезал левее и выше и, опять ковырнув, двумя пальцами вынул покрасневшую пулю.

Шереметев глухо беспрерывно стонал сквозь обнаженные белые, накрепко сжатые зубы. Потемневшее чужое лицо стало удивленным и по-детски наивным. Прищуренные глаза глядели бесстрастно и жалобно в низкое небо из-под длинных, пушистых, девически загнутых кверху ресниц.

Александр по всем этим признакам угадал, что Шереметев уже без сознания, но не понимал, что случилось, отчего шалый Васька лежит на белом снегу и старый хирург деловито ковыряет у него в животе.

Весь ощерясь, с вставшими дыбом усами, не взглянув на лежавшего Ваську, Якубович выхватил красную пулю у доктора, который неторопливо поднимался с запорошенных снегом колен, крепко стиснул кусочек металла в правой руке и запальчиво, хрипло твердил, грозно вращая мосластым большим кулаком, обращаясь к уходившему к своей карете Завадовскому:

— А эта тебе, Сашка, тебе, погоди!

Шереметева неумело, с виноватыми лицами взяли под мышки и за бессильные ноги, подняли, понесли с запрокинутой, недержавшейся головой, и странно длинной казалась детская тонкая шея с выступившим вверх заострившимся кадыком, и мокрые волосы страшным комом прилипли к затылку.

Завороженно следя за всем этим, несколько раз протеревши перчаткой очки, отчетливо видя все фигуры и жесты, Александр по-прежнему не понимал ничего, словно сзади его неожиданно ударили палкой. В голове всё звенело и путалось. Он густо, пепельно побледнел, и руки его мелко тряслись, и ствол пистолета металлически оглушающе громко несколько раз провизгнул по пуговице.

Вся история была скорее забавной, смешной, и вдруг сделалась такой нелепой и страшной. Ведь нельзя же, абсолютно нельзя стреляться всерьез из-за женщины, какой бы женщина ни была, даже неверной тебе, неверность у женщин часто бывает, все таковы, и уж коли стреляться охота пришла, так надо стреляться шутя, надо стреляться вовсе не так...

Васька, Шереметев, зеленый юнец, еще не успевший надеть эполеты штаб-ротмистра, был сослуживец Степана, кавалергард. Степан теперь был в Москве вместе с гвардией, ушедшей походом на торжества. С августа был, недавно совсем, или слишком давно?

Александр хмурил лоб, напряженно определяя, давно или нет, как будто пытаюсь то оттолкнуть от себя, что стряслось у него на глазах с этим веселым, добрым, но бешеным Васькой, в то же время следя, как неуклюже согбенный Ион старался попасть с Каверинным в ногу, но попасть с Каверинным в ногу Иону не удавалось никак, в этой шубе, скоморох скоморохом, и, западая всё ниже, голова Шереметева жутко моталась, как маятник, а те всё несли и несли вразнобой.

Нет, как будто вчера простились по-братски в Ижорах, еще силач Поливанов, дурак, невысокий да жилистый, чёрт побери, так сердечно облапил его, что всего исковеркал, точно медведь, и вот руками он не владел, словно с тех пор, а спины так не чувствовал вовсе. Только очень холодно было, не август, ледяные мурашки ползли. Вот каково водиться с буйными юношами... Боже ты мой...

Ведь был бы Степан, с его серьезным флегматичным спокойствием, с его здравым смыслом, с его заразной трезвостью и, главное, главное, с его ясным и истинным чувством добра...

Ведь коли сам духом слаб, всегда рядом должен быть тот, в ком воплощена твоя не всегда твердая, не всегда трезвая совесть...

Вот оно как...

А тоже был когда-то кутила, лихач, да вдруг повзрослел и нынче куда как не тот...

Что же нынче?..

А нынче нету его...

Остановил бы, однако, остановил...

Когда сам духом слаб...

В их беззаботной, веселой компании Шереметев отличался из всех светлой и чистой любезностью, пылкостью честного нрава, с сердцем добрым, благородным, отличным, и был, разумеется, молодо ветрен, без оглядки, без смысла, готовый заглянуть самому дьяволу прямо в глаза, и за все эти слав-

ные свойства степенный Степан с любовным упреком называл Шереметева шалуном.

Шалостей, в самом деле, было довольно. Всё ходило вокруг Шереметева ходуном. Никто утихомирить не мог из более опытных, уже хладнокровных, взрослых друзей, да и отец родной уже готов был отказаться от слишком блудного сына.

Каково-то отцу?..

Впрочем, отцы и всегда...

Что же? Уронят же так! Надобно снизу, снизу держать!

Безмолвно крича, он не двигался с места. Душа его онемела. Крупные слезы дрожали, не проливаясь, в застывших глазах, повиснув на длинных, тоже девичьих, ресницах.

Он и сам иной раз присоединялся к нему, особенно в те забавные, остроумные вечера, когда Шереметева соглашалась сопровождать красивая молодая Истомина, и они бесшабашно дурачились вместе, втроем всю ночь напролет шатаясь по клубам или поднимая с постелей давно спавших друзей, чтобы пить с ними чай и смеяться.

И вот эта отвислая назад голова, ком намокших кудрей и холодное серое мертвенное лицо, всё в каком-то скользком, блестящем, жирном поту...

Вчера, всего лишь вчера, весь румяный с мороза, живой, с высоко вздымавшейся грудью, без зимней шинели, в одном сюртуке и в высокой военной фуражке, с искаженным лицом Шереметев вбежал к нему в кабинет, смаху бросился в затрепавшее кресло, жалкий, здоровый и злой, скрипнувши белыми ровными молодыми зубами, хрипло прокаркал:

— Она изменила мне, Александр!

Он что-то читал... Да, он что-то читал... Это, должно быть, Мольер... Да, конечно, Мольер, и там, кажется, были слова Трисоттена: "Восторг и в нас

могли бы вы вдохнуть, решившись прочитать нам для финала произведение вашего пера”, и он, едва без стука дернулась дверь, еще раз схватил глазами последнее слово, чтобы вспомнить и тотчас потом возвратиться к нему, и вложил указательный палец между страниц.

Легко относясь к обычной мальчишеской ревности, столь знакомой и столь ненавистной ему самому, которой он вдоволь хлебнул, не поднимаясь с дивана, на котором уютно сидел, заложив ногу на ногу, отваясь, от Истоминой зная, как безнадежно запутались их молодые капризные отношения, внезапно подумав, что, может быть, это и хорошо для обоих, что всё наконец разъяснилось, хотя и не было правдой, в чем он уверен был твердо, как ни презрительно относился к крикливому полу с тех пор, как всё разъяснилось и у него, к тому же у него-то было горькой правдой, он преспокойно, с тайным любопытством спросил:

– Ты с чего взял?

Шереметев, густо краснея, дико тряся головой, выкрикнул, пригибаясь, как кошка, к нему:

– А ты будто не знаешь?

Именно об измене Истоминой он и не знал ничего, однако возбуждение и крик Шереметева настораживали его, он улавливал в этом крике враждебность, которой между ними не было и быть не могло никогда, понять ее причины он не мог, про себя решил быть осторожней, как надлежало обращаться с буйными юношами, которые не умеют охлаждать свои темные страсти холодным и трезвым рассудком, внимательно посмотрел Шереметеву в шальные расширенные глаза и только сказал:

– Полно тебе.

Шереметев подпрыгнул и яростно взмахнул кулаком, напоминая кого-то этим жестом, Ваське чужим:

– Но ты должен знать, что мы с ней помирились!

Он тотчас подумал, что Истомина, тоже кокетка, дрянь в этом смысле, как все, неосторожно в чем-то проговорила, увлекшись игрой, лишь бы подзадорить безумно влюбленного мальчика, на что крикливый пол так востер, или с женской кошачьей хитростью наболтала какой-нибудь соблазнительной ерунды, чтобы что-то укрыть из невинных своих увлечений, безобидных, но все-таки тайных, в чем сам же Васька был виноват, замучив ее своей бешеной ревностью – сообразивши эти подробности, он изобразил на лице удивление и негромко воскликнул:

– Ах, вот как? Нет, помилуй, этого я не знал.

Шереметев нехорошо засмеялся, откидываясь в кресле назад, глядя на него прямым, злостью вспыхнувшим взглядом:

– Ну, это ты врешь, Александр! У нас тут всё известно друг другу! После спектакля третьего дня я умолял ее о прощении, но она не хотела простить и собралась к Шаховскому, этому своднику, этому плешивому подлецу, который подыскивает за хорошие деньги покровителей своим хорошеньким ученицам!

Его тотчас насторожили эти слова, именно то, что в их тесном кружке всё друг другу известно, одно за другим возникали предположения, что в частности стало известно в этом тесном болтливом кружке, кто и кому именно мог говорить, что Истомина не хотела прощать дурака, однако ж люди все слыли порядочными, как-то совестно было в чести их сомневаться, между тем что-то надо было ответить в упор глядевшему на него Шереметеву, ответы проносились один за другим, но всё как будто неосторожные для того, чтобы понапрасну не задевать слишком уж чуткое самолюбие и без того

возбужденного, растревоженного ревнивца, и он, слегка улыбнувшись, лишь бы выиграть время, сказал:

- Полно, не тебе на него обижаться, через него познакомился, чать, неблагодарность прескверная вещь.

Шереметев вздрогнул, покраснел еще гуще и продолжал, уже потише крича:

- Ну, да, да, чёрт возьми, я благодарен ему, и предложил ей подвезти и завез нарочно к себе и грозил, разумеется, застрелиться, если она не останется и не простит.

Стало быть, она сама говорила, что отправляется к Шаховскому, тогда чего же могли об ней передать, и тоном двойного презрения вырвалось у него:

- Сколько можно грозить бедной женщине пистолетом?

Шереметев смутился и спрятал глаза:

- Вот видишь, и ты! Она мне то же сказала!

И с бешенством выкрикнул, сверкая глазами:

- Вы сговорились! Не лги!

Он вдруг догадался, что Шереметев ревнует к нему, и, словно ни в чем не бывало, небрежно спросил:

- И что же она?

Шереметев ответил поспешно, брызжа слюной:

- Она простила, простила меня, этот ангел, и всё было снова между нами по-старому, но я страдал, я так страдал и не выдержал искушения и приставил ей к виску пистолет и твердо сказал: "Говори или с места не встанешь, на этот раз даю тебе слово, была ты или не была с Грибоедовым?" Что ж ты молчишь?

Не виноватый ни в чем, придумывая правдоподобный ответ, который бы успокоил неисправимого дурака, он сказал:

- Ты сперва доскажи, что там было у вас.

Шереметев оскалился, опять не сводя с него желтых глаз:

— Она мне призналась, что, точно, была!

Он и не собирался этого отрицать:

— Ты же знаешь, мы с ней друзья.

Задохнувшись, вновь пригибаясь к нему, Шереметев едва выдавил из себя:

— Ты со мной не хитри... умник какой... я-то... уж я-то знаю, знаю тебя...

Сглотнув тяжело, провел по горлу дрожащей рукой и тверже прибавил:

— Она призналась еще, что была с тобой у Завадовского.

В этом признании на смерть перепуганной женщины не было ничего, что бы компрометировало ее, однако ей бы не следовало признаваться в этих вещах, хотя чего не сболтнешь, когда пистолет у виска, экий балбес, замучил совсем, и он ощутил, что сейчас покраснеет и тем наделает немало беды, себе самому и ревнивцу, и лениво этак спросил:

— Ну, так и что?

Шереметев рванул крючки сюртука:

— А вот что: Якубович мне говорил, между нами, что он как-то слышал, как Завадовский звал Дуню к себе, лишь только она оставит меня, это так?

Досадуя на вездесущего дурака Якубовича, шалопая отменного, сына богатых родителей, коломенскую версту, который громогласно проповедовал всюду свободу, справедливость и что-то еще и без конца мешался в истории, самые скандальные и самые пошлые, одна грязнее другой, бездельник и баловень, дело слишком известное, быстро прикидывая в уме, что еще стало известно в этом болтливом кружке, где от нечего делать люди порядочные не брезгают грязными сплетнями, лишь бы развлечься немного и тем наполнить надоевшую

праздность свою, либо спеша доказать, что с такими ни свободы, ни справедливости вовек не узришь, он попытался урезонить вздыхателя пылкого, обстоятельно перед ним развивая ту старую мысль, что все женщины ветрены без изъятия, что явление это бесспорно и что безоговорочно верят крикливому полу одни дураки, к тому же, чего не наговоришь с приставленным к виску пистолетом, она же актерка, фантазии у нее, нервы и что там еще, тут же поневоле опровергая себя заверением, что из всех женщин Истомина есть исключение, о чем он и вправду подозревал, тоже, известное дело, дурак, и что она верность хранит и сама говорила вчера, как всё еще любит его, то есть Ваську, заключая запутанную тираду смеясь:

— Я сам в любви чернее угля выгорел. Поверь, огорчаться не стоит, даже ежели бы всё это правда была.

Но Шереметев упрямо мотал головой, с которой слетела фуражка, лохматой, в крутых завитках:

— Я тебя застрелю!

Что за напасть, так и станет всю жизнь всем пистолетом грозить, и он, похлопывая книгой по раскрытой ладони, ни секунды не веря этой дурацкой угрозе, это Васька-то застрелит его, экий вздор, рассудительно, тоном старшего возразил:

— Не дури, меня-то за что?

Шереметев вспыхнул, сделавшись красным, как рак, вскочил и стиснул детские еще кулаки:

— Да мне Якубович сказал, что видал, что ты в карете ждал ее у Гостиного и что пересела к тебе! Это как?

Вмешательство дурака Якубовича, замечательного, пожалуй, одной страхолюдной гривой чернейших волос, влезавшего всюду, в каждой мелочи, в любом пустяке тщась восстановить бесценную свою справедливость, то есть вечно бесчестность и дес-

потизм, чёрт возьми, и прочая чушь, взбесило его, как всякая пошлость и презренная скудость ума бесили всегда, и он слишком сухо, даже высокомерно спросил:

- Об чем же еще доложил тебе Якубович?

Расставив длинные нескладные ноги, Шереметев по-мальчишески грозно стоял перед ним, воздевши правую руку, словно б собираясь проклясть:

- Тогда я спросил его, это заметь, я его спросил сам, что мне делать, и после этого Якубович сказал, что это понятно, что драться, и что тут два лица, которые требуют пули, и из этого, как видишь сам, выходит парти карре, дуэль четырех, стало быть, чёрт ее поberi, а он берет того на себя, а я вот должен драться с тобой, Александр!

Он вспыхнул, но улыбнулся так, как улыбаются не совсем удавшейся шутке, однако прощают ее:

- Нет, братец, ты уж прости, а я с тобой стреляться не стану, а вот ежели уж так не терпится милейшему Александру Иванычу подставить свой медный лоб, так я всегда к услугам его, ты об этом ему передай, вгорячах не забудь.

Опустив руки, моргнув, Шереметев вскрикнул растеряннo, злобно:

- Передам, передам!

И вдруг выскочил вон, позабывши фуражку, и Сашка потом сvez фуражку Шереметеву в дом.

Зачем он сболтнул? Для чего? Для этого, для этого, да?..

Шереметева наконец положили.

Глядя, как Шереметев лежал, запрокинув бесильную голову, уставивши в низкое небо пустые глаза, Александр вздрагивал крупной, внезапной, неестественной дрожью, вдруг почувствовав остро, что это он, именно он и один во всем виноват, озлившись тогда на непрошенное вмешательство вечного сплетника, не удержавши по этой дурацкой

причине ревнивого, взбалмошного, слишком доверчивого и слишком неопытного, как в жизни, так и в любви, совсем еще мальчика, в тенетах Амура, вот в чем беда.

Кто-то выдернул у него из руки пистолет, разогнувши насильно сведенные пальцы. Кто-то, поддерживая под локоть, посадил его в поодаль ожидавшие санки. Полость намерзла и сгибалась с трудом, когда ему прикрывали занемевшие ноги, но ко всему внешнему он был безразличен, подумав мельком, что извозчик мошенник, не просушил, бездельники все. Что-то тягучее, жуткое сосредоточилось в нем и давило, давило, обжигая поздним раскаяньем сердце.

Раскаяньем? Раскаянье что? Иль не раскаяньем — жалостью к тому и к себе?..

Всю дорогу, которой он почти не заметил, отходясь от беликого, пустого лица, на него глядели в упор голубые глаза Шереметева, Васьки, вопросительно, жалобно так, с глубоким смертным упреком, точно хотели спросить, доволен ли он, не стыдится ли он за тот вечер, и уже ни о чем спросить не могли, всё сильнее и сильнее обвиняя в чем-то ужасном, непоправимо постыдном его.

Он было хотел отогнать этот умоляющий страстно, чего-то упорно ищущий взгляд, да не мог отогнать, не поднималась рука, и сидел он, то уткнувшись застывшим лицом в воротник, то бесцельно, невидяще глядя по сторонам, где что-то мелькало, черное с белым.

Он пропустил, когда они въехали в город. Он лишь заметил стену глухо молчавших домов, вдруг испугался, что приедет к себе и с этими глазами останется один на один, не оставят его, вон как глядят, и сдавленно крикнул неизвестно кому:

— К Жандру, к Жандру пошел!

Он с благодарностью думал о том, что теперь, в

ноябре, уже рано темнеет, почти в пять часов, и Жандр вечерами почти никогда не выходит из дома, чем-то всё занят, сердечный, натура у него домоседа, но тут же впал в забытие и в каком-то кошмаре видел горящие гневом глаза, опоминался внезапно, различал по бокам слишком редкие, слишком тускло горевшие фонари и вновь, уже наяву, страдальчески видел те же глаза, умолявшие о чем-то страшно неотложном и важном.

В полутемных сенях, с одной тонкой свечкой на столбике, неотступный Богдан, неуклюже топчась, потирая свои длинные побелевшие уши, торопливо, невнятно, придерживая его за плечо, с неожиданно сильным саксонским акцентом, который с годами почти потерял, полушепотом изъяснил:

— Поехал с ним Якубович. Доктор определенного ничего не сказал. Вам бы поскорее уснуть, Александр. Всё, может быть, обойдется. Вы ложитесь, ложитесь, а завтра условимся на случай чего.

Стоя с опущенной головой, плохо соображая разбитым умом, где и что с ним такое стряслось, пораженный этим пристальным взглядом вопрошающих глаз, не оставлявшим его, он вяло, почти безразлично спросил:

— Ты поди Богдан Иваныч, поди, небось тоже устал, ты поди-ка к себе.

И не расслышал, не различил, ушел ли верный Богдан или на случай остался при нем, только укрывшись от глаз, как дельвал часто, наставник по-прежнему, умен, пуще добр, а уж годы прошли, дитятко выросло, поглядеть, так изрядный вышел дурак. То проваливалось, то вспыхивало горячим огнем в кружившейся голове:

“Коли сам духом слаб... Богдан-Иоганн...”

Жандр в зеленом длиннополном халате, высокий, худой, с тревожным лицом и вопросительным, тоже ищущим взглядом, наконец появился в две-

рях и воскликнул с неуверенной радостью, протягивая длинные руки, чтобы обнять:

- Ты жив!

Его больно ударили, уязвили эти два облегчающие, всё упрощающие слова, и, сильно морщась, как от боли зубной, он отвернулся от них, натужно стягивая шинель, негодуяще бормоча:

- Как видишь, жив, это что.

Радуюсь всё смелей видеть лучшего друга живым, всплеснув всполошенно руками, как баба, Жандр суетливо принялся ему помогать, с таким усердием таща борт шинели, что шинель не снималась никак, застегнутая до самого верха, поспешно между тем расспрашивая его:

- С теми-то, с теми-то что?

Отстранивши бубнившего друга, прямо в шинели сев на сундук, опустивши тяжелую голову, чтобы не смотреть на него, он едва слышно выдавил из себя:

- Васька, должно быть, убит.

Выпрямившись во весь высокий свой рост, погусиному вытянув длинную тонкую шею, Жандр испуганно, слабо спросил:

- Наповал?

Он стащил с головы ставший тесным цилиндр, давивший его, как чугун, и, не глядя, сунул куда-то, нехотя пояснив:

- Пока нет, пуля в живот, станет мучиться день или два, не дай Бог, скверные раны, не бывает скверней.

Жандр еще тише, еще осторожней спросил, склонивши к нему небольшую, аккуратную, с короткими волосами, умную голову:

- Якубович?

Он поднялся, рванул застёжки и одним грубым движением сбросил шинель:

- Якубович всегда будет жив! Сукин сын!

Жандр облегченно вздохнул, двигаясь вокруг него осмотрительно, бережно, точно это он был прострелен в живот, потирая ладони, вопросительно заглядывая в глаза:

- Слава Богу, ты промахнулся?

Он вдруг обернулся и злобно сказал:

- Я еще не стрелял!

Подхватив крепко под руку, Жандр потащил его в кабинет:

- Да ты толком-то, толком-то всё изложи!

Ухватившись за это последнее слово, он заволовался и тотчас сел в кресло, раздумчиво говоря:

- Да, разумеется, всё изложу... изложу...

Жандр не отходил от него, склонившись, поправляя очки, матушка с малым ребенком, точный портрет:

- На тебе лица нет, что с тобой, Александр?

Он отмахнулся нетерпеливо вялой, непослушной рукой:

- Ты садись, я же сказал: изложу, я тебе всё изложу по порядку, изложу, что за чёрт!

И вдруг необдуманно, с покрасневшим, словно бы вздувшимся, жалким лицом, чувствуя только, что перед ним человек, который верно поймет, что бы и как бы он ни сказал, он торопливо высказал то, что безмолвно, безвыходно всю дорогу терзало его под взглядом тех пристальных, осуждающих Васькиных глаз:

- Вот видишь, Андрей, вся моя жизнь получилась не та!

Раскрыв широко, изумленно глаза, Жандр медленно опустился на стул перед ним, став еще выше, каланча каланчой, и, запинаясь, попробовал возразить:

- Что ты, что ты, Бог с тобой, Александр...

Он сморщился, спрятал в ладонях лицо, не в силах глядеть, бормоча едва слышно, скорей всего для себя одного:

— Как задумано было... сколько положено сил...

Жандр снова всплеснул всполошенно руками, словно больше делать ничего не умел, как руками махать, кокошник бы ему да чепец:

— Постой, Александр, ты не ранен?

Он вздрогнул и сердито, сквозь зубы напомнил ему:

— Ведь мы не стрелялись, я же сказал, это Васька убил.

Жандр с недоумением протянул:

— Нет лица на тебе...

Опустив руки, подхватив эту мысль, твердя про себя, что лица на нем всё последнее время и вовсе не стало или, возможно, и не было даже совсем никогда никакого лица, не заметил никто, чудеса, дурачье, обожжённый, униженный этим мрачным открытием, понемногу выходя из своего забытья, подняв глаза с упреком и грозно, он глухо спросил:

— Что здесь Якубович, вот именно: что здесь Якубович, вот что ты мне лучше скажи?

Испуганно оглянувшись, словно надеясь увидеть драгуна у себя за спиной, переводя на него тревожно вопрошающий взгляд, Жандр негромко, ласково произнес:

— Помилуй, Александр, здесь никакого Якубовича нет...

Усмехнувшись, не став отвечать на дикое подозрение хлопотливого доброго друга, что он ненароком повредился в уме, пытаясь сам осознать, с какой стати в отношении близких друзей встрял посторонний для них, балбес, балабол, всегда шумный и зычный, неумный, конечно, однако с превосходными честными мыслями на весь белый свет, как и принято нынче, кричи да кричи, этот, как его, Якубович, правдолюбивый, вздорный на вид, с такими большими усами, точно чуя чутьем,

что появление крикуна Якубовича могло бы как-нибудь ему разъяснить, что он сам в этой дурацкой страшной истории, мрачно глядя на стену, обитую блеклым пестреньким ситцем, стараясь подавить раздражение, он беспокойно, раздерганно произнес:

— А я тебе говорю, что на одном Якубовиче эта кровь, на Якубовиче одном!

Жандр отмахнулся:

— Полно тебе, Васька сам понапрасну бесился, пули просил сколько раз.

Да, разумеется, дело выходило именно так: Шереметев и слишком просился под пулю и часто выхватывал армейский свой пистолет, угрожая тотчас себя застрелить в наказание кому-то, вечный укор, а пистолетом не шутят, не шутят, раз промолчал, другой промолчал, а там стрельнул почем зря, однако ж вот он никому не грозил, никогда не просился под пулю, дело нехитрое, впрочем, не будучи трусом, а с трезвой головой на плечах, а всё ж таки, несмотря на всю свою трезвость хваленую, со всем своим глубоким умом, как Жандр о нем на всех углах не без римского пафоса говорит, был бессмысленно, непонятно кругом виноват, как об этом всё громче что-то твердило ему с каким-то упрямством, и, пытаясь пресечь этот настоятельный неприятный внутренний голос, он напомнил хлопотливому другу:

— Вспыльчив, да отходчив и добр, опоминался всегда, прощенья просил и всем сердцем обиды прощал, в соображение нельзя не принять, какая ж на Ваське вина?

Жандр согласился легко и также легко возразил:

— Сердце у него отлично-доброе, благородное было, это всё так, однако ж ты прими в расчет всё безумие его бестолковых страстей, от ревности был без ума.

Он неодобрительно взглянул сквозь очки:

- Что ж страсти? Всемогущество страстей всем известно, да человек благородный должен и может их побеждать.

Жандр в знак согласия закивал головой:

- Может, естественно, отчего ж, благородный-то человек. Да ведь Васька-то был не такой человек. Страшно влюблен, ты возьми себе в толк, воспитанье домашнее, то есть воспитанья-то нет, ум небольшой, образованность, почитай, не коснулась, такому ли взять полный верх над страстями?

Ага, Шереметев был даже очень неглуп, хотя, правду сказать, образовал себя мало, так, кое-что почитал, впрочем, значительных авторов, да всё недосуг, образования не добивался в поте лица, да в поте лица образование истинно не дается, как не дается тяжкой учебной повинностью в заведениях, дело известное, обыкновенный трюизм, да всё это вздор, всё это чушь, безделки ума, а вот главное то, что влюбленный безумен, даже если и слишком умен и образован стократ, науки все до одной превзошел, философ и что там еще, этого тоже нельзя забывать, на себе чересчур испытал, как в омут вниз головой, к тому же страшно смешон, если только не пуля в живот, тогда не смешно, не смешно, и он вдруг озяб и вспылил:

- Ведь Якубович по этому делу не имел решительно к Завадовскому или ко мне никаких отношений.

Жандр подтвердил, успокаиваясь, усаживаясь поудобней на стуле, чем-то громко скрипя:

- Не имел никаких.

И выходила не Якубовича, а его же прямая вина, и настывшие ноги ломило в тепле, вечная слабость его, и ему наконец приоткрылось:

- А я имею самые близкие отношения и к тому, и к другому, вот оно как!

Жандр уставился на него и укоризненно протянул:

— Ну, Александр, ты же совершенно другой человек.

Резко нагнувшись, порывисто стянув сапоги, угрюмо подумав о том, что поздно схватился разуться и что родной ревматизм завтра непременно свалит его, он расстроено продолжал:

— Я по-дружески любил их обоих.

Он морщился и словно бы ждал возражений, неотразимо-серьезных, чтоб не терзало его, а Жандр помедлил, прищулив глаза, как будто пытался понять, какой еще тайный смысл таился в этом признании, и с удовлетворением подтвердил:

— Ты их, точно, любишь обоих, так что ж?

Ошеломленно вскочив, видя ясно, что ужасно что-то напутал, не понимая, что именно, рывком придвинул тяжелое кресло к затопленной печке, пахнувшей от ветра дымком, он снова сел и вытянул зябкие ноги к огню, вслух настойчиво выпытывая себя:

— Что ж Якубович? С какой стати он?

Жандр удивленно спросил, придвигаясь со стулом к нему:

— Да ты не посмеялся ли где над ним, Александр?

Сцепив пальцы, горячим языком лизнув пересохшие губы, он ответил рассеянно, думая о чем-то другом, силясь найти, чем же ответить тем жалобно смотревшим глазам, лишь бы их отогнать от себя, больно было глядеть:

— Кажется, нет, не смеялся, хоть и слишком смешон, долговяз да плечист, хлопотливый дурак, неприятель здравого смысла, да уж как-нибудь посмеюсь, погоди.

Жандр двинулся, озабоченно укорил, стараясь заглянуть ему сбоку в лицо:

- Вот смеешься над всеми, не щадя языка, без разбору, без смыслу вперед, да потом глядь, попался в историю, в первый ли раз, Александр?

Он протянул, одним разом отодвигая всё это, поскольку всё это ужасно мешало ему размышлять:

- Не со зла, единственно оттого, что страсть как смешно, сам погляди на него: ухохочешься.

Собирая гармошкой кожу на лбу, простодушный, мало способный на эпиграммы, даже плохие, тем и близок был сердцу его, добр и мил, хоть заплачь на груди, Жандр рассудительно хмурился, надеясь, должно быть, на этот раз урезонить его:

- Зачем мне смотреть, я смотрел, не хуже прочих нынешних человек, а если послушать речи его, так и с весьма высокими мыслями обо всем, особенно о деспотизме властей и об прочем, выходит, нашего круга, порядочный человек.

Он сутулился, двигал нывшими пальцами ног и презрительно усмехался:

- Вот именно: если послушать. В самую точку попал.

Лицо Жандра, спорщика вечного, спорщика пылкого, тотчас стало непримиримым:

- Что ты хочешь этим сказать?

Он резко оборотился к нему, как будто довольный, что Жандр уводил его в сторону от мерцающих Васькиных глаз:

- Я хочу этим сказать, что слова, на поверку, что-то нынче дешево стоят. Я и сам, сколько я говорил, сколько давал себе преполезных советов, сколько давал себе всяческих слов, сколько клялся в душе, и чему же, сам рассуди, помешали они?

Передвигаясь так, чтобы видеть его, Жандр неопределенно пробормотал, должно быть, не совсем уловив его мысль, на соображение не быстр:

- Ты смотри, Александр...

Ему тоже хотелось двигаться, куда-то бежать, о

чем-то спросить, да забыл, куда и о чем. Протягивая ноги еще ближе к огню, он крикнул запальчиво:

- Нет, это ты смотри, ты!

Жандр, привыкший к нему, к его вспышкам внезапным и к внезапной его меланхолии, задумчиво посмотрел на него, не обращая внимания на этот бессмысленный крик:

- Я-то вижу, пожалуй... А все-таки надобно быть тебе осторожным, пора.

А глаза глядели на него из огня, и он морщился и мотал головой:

- Осторожности не люблю, и жаль, что над ним не смеялся, куда как хорош, сукин сын, угнетенник прогресса, задорный такой, у всех на виду.

Жандр, вопросительно глядя, переспросил:

- Да ты не смеялся ли, погоди?

Разматывая галстук, дергая головой, он тоже переспросил раздраженно:

- Ты лучше ответь мне, с какой стати он?

Жандр призадумался, помолчал и пожал неопределенно худыми плечами:

- Да уж, видно, такой человек.

Слишком приблизивши правую ногу к раскалившейся дверце, обжегшись слегка, он поспешно отдернул ее, швырнул в сторону галстук и брезгливо сказал:

- Что за притча, ведь казалось и мне, как тебе, что отличнейших убеждений, враг деспотизму, свободе чуть не защитник и друг, по этой причине порядочный человек!

Помолчав по привычке, усвоенной скорее по службе, чем из потребности размышлять, обдумывая, должно быть, с разных сторон эту вздорную мысль, Жандр не то стал оправдывать, не то объяснять:

- Убеждения его хороши, сомневаться нельзя,

этих достоинств у него не отнимешь, так что же тогда? Может быть, вся беда его в том, что удалство, с его точки зрения на достоинство человека, для него самая первая вещь? Я подозреваю по временам, что ему лишь бы, главное, себя показать, а прочее после, потом, ежели прочее—то еще и заботит его. Ты не находишь?

Он со злостью хлопнул себя по бедру, так что сделалось больно:

— Убеждения, убеждения, дались вам всем убеждения! Да он же нарочно за нами подглядывал в Гостином дворе!

Раздвинувши пальцы, словно что-то держал на ладони, Жандр с недоумением протянул:

— Постой, ты мне этого ничего не сказал, отчего?

Его всё еще продолжало душить, он дергал верхнюю пуговицу, морщился и раздражался всё больше:

— Уж больно противно, для чего говорить.

Жандр вновь подумал с минуту, затем неторопливо, со значением повторил:

— Говорю, уж таков человек, вот оно что.

Распахнувши наконец воротник, сильно двигая шеей, припоминая, как было это грязное дело, он едва удерживал негодование свое, выговаривая сквозь зубы, сердясь на себя, что пришлось по нужде рассказывать:

— Подглядел, проследил и Ваське тотчас донес, что за мерзость такая, подлец!

Жандр, кажется, наконец напал на свое и твердил, озабоченно сдвинувши брови, кричи не кричи:

— Главное, себя, ему бы только себя показать, ты заметь.

Себя показать, возмутиться, наговорить чёрт знает чего, на приятеля приятелю донести, что за чёрт, сукин сын, он вдруг удивился:

— И совесть не мучит его?

Жандр с иронией возразил, улыбаясь:

- Полно тебе, Александр, какая тут может быть совесть? Еще и в заслугу себе возведет: мол, обманутый друг, обманутый подлецом, непременно, и так далее что-нибудь, за словом не ползет в карман. Как есть патриот!

Ему не нравился этот насмешливый тон и не нравились эти слова, попадавшие все-таки в цель, и он, сжавшись весь, отшатнулся:

- Положим, что так, что Якубович жаждал себя показать, да в этой гадкой истории всех гаже-то все-таки я! Вот что пойми!

Положив руку ему на локоть, дружески сжав, Жандр мягко, проникновенно его успокаивал:

- Полно тебе, Александр, что-то ты больно мнителен стал. Каким это образом ты-то больше всех виноват? Ведь ты ж не стрелял!

Он чувствовал всю его правоту, но в то же время не понимал всей его правоты, тер себе лоб и неопределенно, но мрачно тянул:

- Уж ты мне поверь.

Жандр неожиданно светло улыбнулся:

- Никогда не поверю.

Он всего этого глупого дела пересказывать не хотел, всё до нитки казалось нехорошо, однако не выдержал и язвительно вскрикнул, взглянув как-то сбоку, мимо очков:

- Не поверю, ни за что не поверю, да это ж я тогда Дунечку к Завадовскому привез!

Жандр всполошился, руками всплеснул, запричитал:

- Боже мой, и этого ты мне не сказал! А я-то, я-то теряюсь в догадках! Как это похоже на тебя, Александр! Ведь я тебе друг!

Услыша свой крик, обещавший истерику, он себя обругал и начал наконец успокаиваться, быстро трезветь и, стыдясь, что не сказал в самом деле третьего дня, с досадой признался:

– Глупость страшная вышла, об чем говорить?

Поглаживая короткие волосы на макушке, опутив глаза вниз, Жандр растерянно протянул:

– Так вот оно что! Такая оказия! Так за это, выходит, Якубович и вызвал тебя?

Подумав тотчас о том, что слишком жестоко наказан за глупость случайную, мимолетную, однако то и дело нападавшую на него, наказан этой пулей в живот, наказан, наказан, браня себя, что не одумался, не остановился тогда, он рассказал:

– Она ко мне вскочила в карету, я Митьке: "Посшел!", а Митька, не разузнавши еще, вишь, что от Завадовского я неделю назад как съехал к себе, к тому и завез.

Жандр растерялся совсем, даже руку остановил и задержал на своей голове:

– Вот тебе на!

Он же не думал о Жандре, он негромко, раздумчиво продолжал повествовать для себя самого, сильно надеясь на то, что вины его в этой глупости нет, зная отлично, что безоговорочно и кругом виноват:

– Мне бы от ворот поворот, как увидал, что Митька ошибся, а мне, вишь, весело стало, я засмеялся, дурак.

Наконец встрепенувшись, опутив руку вниз, сцепивши пальцы перед собой, Жандр произнес с упреком и болью, верный был друг, за друга тоже страдал:

– Ты же такой человек, Александр! До сей поры ничуть не знаешь себя! Как же так?

А, может быть, в самом деле не знал, хоть и всегда размышлял о себе, как о загадке какой, то есть точно так, что не знал, да он не слушал верного друга и пытался узнать, отчего стряслась эта пуля в живот и Васька упал на снег:

– Засмеялся, известное дело, да и ввел ее в

комнаты, которые еще вчера были мои, ей же и холодно было, чуть не прямо со сцены, дрожмя дрожала она.

Жандр завертел быстро пальцами и подался вперед:

— А Завадовский что?

Он ответил угрюмо, пристально глядя в себя:

— Завадовский почти тотчас за нами вошел, из театра, с Дуней мы наедине переговорить не успели, об этом, об Ваське, шуте.

Жандр торопил, желая знать всю историю далее, верно, новые обстоятельства задевали его или наводили на какую-то мысль:

— И что?

Он рассказал чистую правду, ничего, кроме правды, сам не веря себе, до того чудовищным, глупым всё это дело представлялось теперь, а ведь умный был человек, что за дичь:

— Уселись втроем, пили чай, весело вечер прошел.

Жандр с серьезным лицом упрекнул, как и всегда его упрекал, от души, переживая всегда за него, сам никогда не попадая ни в какие истории, даже не подскользнулся, в грязь никогда не упал:

— Видишь вот!

Он отводил глаза и покусывал губы:

— Вижу теперь, что это я один виноват, а Васька вовсе не шут.

Чего Жандр не мог, того и не мог, чтобы хоть волос упал с его головы, так на это так удивился, что расширил глаза:

— Виноват? Может быть, перед Богом, но перед людьми не нахожу и малой вины за тобой, это ж Якубович всё разболтал и наплел небылиц, чай же пили втроем.

Разум и ему говорил, что не могло быть и малой вины, если чай пили втроем и весело вечер

прошел, но те глаза всё глядели на него с ожиданием, что же он, и он чувствовал остро, что кругом, кругом виноват и пытался это понять, беспокоясь, сердясь, или уж снять с себя прочь эту тяжесть, или казнить себя казнью своей:

- Да подумай же ты, мы все трое относились по-дружески. Васька влюблен был в Истому...

Жандр неожиданно перебил, точно это обстоятельство имело значение и что-то могло изменить:

- Говорят, она ему досталась невинной?

Э, чёрт возьми, пропади они пропадом все, и он вопросительно поглядел на Андрея, силясь логику угадать, что ж из того:

- Он мне про это сам говорил, Васька, болтун, так как это знать. Понимаешь, он ее даже на сцене спокойно видеть не мог, сил не имел, столько грациозности, сладострастия столько в каждом движении.

Жандр с пониманием протянул:

- Вот за них-то, за движения эти, должно быть, и ревновал, так танцовщица, актерка она, или не знал?

Он вдруг испугался и дернулся весь:

- Может быть, только я в нее не был влюблен, не увивался, не волочился за ней, обходился по-приятельски, запросто, как с короткой знакомой, ко мне не было причин ревновать, он это знал!

Тоже зная об этом, Жандр только заметил:

- Однако ж все говорят, что Завадовский не был к ней равнодушен.

Нет, и эта оказия не спасала его, глаза продолжали глядеть, как глядели, и он с горечью им возразил:

- Завадовский виды имел еще до него, однако тотчас ему уступил, джентльмен, холодная кровь, Британию на себя напустил, тоже славный актер.

Жандр облегченно вздохнул и вновь улыбнулся:

- Вот видишь сам, Шереметев с ней жил по-супружески и по-супружески ссорился часто, А ты заладил, как попугай: вина, виноват, погляди на себя.

По-супружески, по-супружески, да это ничуть не успокаивало его, и он с досадой воскликнул:

- Об Ваське что говорить, Васька слишком влюблен, разгорячился, мальчишка еще, а я-то из чего принял всерьез брыкливые слова Якубовича? Мне-то что за резон?

Откидываясь назад, Жандр заметил еще раз с совершенно спокойным лицом, сам ли утешился, его ли этак утешить хотел:

- И Завадовский принял, не ты ж один.

Да не надобно ему никаких утешений, не в утешениях дело, что в них, слова, пустота, и это спокойствие доброго друга только пуще распаляло его:

Они к Завадовскому приехали пьяные, Шереметев с Якубовичем во главе, я потом об этом узнал, там между ними ссора была, кто над собой властен в ссоре и во хмелю? Я ж был трезв и спокоен, сидел и читал, Мольера читал, ты заметь, с какой стати мне было задирать Якубовича? С какой стати, главное, было Ваську не удержать? И вот Васька убит, и выходит, что это я кругом виноват, а не он.

Жандр затряс головой:

- Да полно тебе, Александр, это всё Якубович беспутный его натравил, на Якубовиче, стало быть, и вина, в этом логика есть, а еще есть логика в том, что твой долг был за эти проделки Якубовича наказать, благородное дело, поверь, или ты логике враг?

Оно славно всегда - иметь верного друга, на тебе не видит греха, хоть пляши, хоть из пистолета пали, на том и весь сказ, так что готов рядом с

другом порядочного человека слышать в себе, как бы не эти глаза, привязались, проклятые, глядят и глядят, и он, пристально поглядев на него, огрызнулся:

– Ну, это ты брось, говорю!

Жандр вдруг вскочил, не желая, должно быть, далее слушать его, и суетливо сказал:

– Постой, ты устал и продрог, тебе чаю с ромом как раз, я прикажу.

И выскочил вон, оставив его одного перед печкой, в которой лениво догорали дрова.

В другой комнате раздались приглушенные голоса. Кто-то, кажется, Ион, что-то негромко сказал. Затем Жандр прокричал намеренно громко:

– Чаю подай!

И на него продолжали глядеть с глубокой болью голубые глаза и в полном молчании упрекали его, и он всё этим пристально вопрошавшим глазам говорил, говорил, что он виноват, сомнения нет, что искупит вину, в этом тоже сомнения нет, понимая прекрасно, что такого рода вину уже не искупишь ничем, и уснул, наконец, прямо в кресле, сморенный усталостью и теплом, далеко вперед вытянув разутые ноги, слыша сквозь внезапно навалившийся сон, как Жандр негромко настойчиво звал:

– Александр, Александр...

Он еще понимал, что намеревался сказать ему Жандр, и мысленно даже пошевелился, чтобы выпить чаю и поднять сапоги, однако же темное забытие тут же оглушило его, затянув в свою мягкую бездну.

Утром, с немалым облегчением открывши глаза, во всем теле ощутивши бодрую свежесть, он встретил прямо в упор вопросительно-жалобный взгляд Шереметева, о чем-то важном умолявший его.

Ион тотчас поднялся со стула, стоявшего близко, но несколько сбоку, и неуклюже встал перед ним:

— Самое время вставать. Просил Василий Васильевич очень приехать тебя, Александр.

Он спросонья еще не понимал ничего и сердито спросил:

— Какой? Какого чёрта ему?

Склонившись низко над ним, бледный Ион срывающимся голосом пояснил:

— Шереметев, какой же еще, не знаю зачем, не сказал, только приехать очень просил.

Он тотчас сел на диване, тотчас вспомнивши страшно вздутый живот, черную дырку в боку и ком намокших волос, прилипших к затылку, оскаленный рот. Затекие ноги стало остро покалывать и щипать. Он разглядел, что кто-то раздел его с вечера и накрыл теплым пледом, который он любил себе набрасывать на колени, когда бывал у Жандра в гостях. Утро сияло. Неужели он так долго проспал, несмотря ни на что? А Ион, должно быть, не спал, экий бледный какой.

Ему стало нехорошо оттого, что уснул, но он не успел погрузиться в себя. Откуда-то появившийся Сашка суетливо поставил ему на колени лакированный черный поднос с чашкой горячего кофе и с кренделем, как он любил и дома всякий раз пил по утрам, словно ничего не случилось, Сашка улыбался всем ртом.

Он отвернулся и пробурчал:

— Это не надо, прими, Александр.

Ощувив, что подноса на коленях тотчас не стало, подивившись необычайной покорности Сашки, он вскочил и поспешно стал одеваться, страшась опоздать.

Всё было вычищено, выглажено и у него под рукой, верно, Сашка старался вовсю, позабыв свою лень.

А глаза всё глядели в упор, без упрёка, обреченно, беспомощно, понуждая спешить и спешить.

Ион неуклюже топтался у него за спиной, говоря:

— Сказали, что худо ему.

Он сморщился, вспомнив, что он в этом деле кругом виноват, и грубо отрезал:

— Как не худо, с пульей в боку.

Ион, не возражая, с неловкой мягкостью попросил:

— Позавтракали бы сперва, Александр, самое время поесть, вчера не обедали вовсе, сутки прошли.

Он испугался, резко поворачиваясь к нему:

— Какой, к чёрту завтрак? Звал же, так надо спешить!

Он вовсе не понимал, за какой надобностью должен он ехать, и даже подумал, как-то отрывочно, вскользь, точно тайком от себя, под каким бы предлогом не ездить, да это напоминание о еде, а в самом деле, как он понял, о том, что время у него еще есть, оттого, что тот еще жив, подстегнуло его, и он заспешил, и внезапно пришедшая мысль, что успеет перед ним оправдаться во всём, подгоняла его, отчего копошился он дольше обыкновенного, то не попадая в рукав, то позабыв про жилет.

Ион, готовый давно, дожидался предупредительно, стоя у двери с вытянутым несчастным лицом: плохи, стало быть, были у бедного Васьки дела.

Наконец Сашка подал трость и цилиндр и набросил шинель.

Наемная карета ждала у крыльца.

Они молча сели с разных сторон. У него промелькнула благодарная мысль, что верный Ион заранее позаботился обо всем, ничего не забыл, а Ион, склонившись, заглядывая в лицо, вполголоса говорил:

– Дело теперь заведется, в полиции или где, так все мы должны говорить...

Согласно с указом, которым запрещалась дуэль, дело должно было завестись непременно, однако к этому делу он был равнодушен, точно оно не касалось его, только несчастного Иона, которого затащил ради шутки, экий болван, стало вдруг страшно жаль, и он грубовато, отрывисто оборвал:

– Тебе Вогдан Иванович, надобно от всего отпереться, и точка.

Ион переспросил, удивленно моргнув:

– Это как?

Александр уже видел, что для Иона в отрицании с порога всего, что предъявят ему, единственно правильный выход, и ответил, сердито ворча:

– А вот так: не был нигде, не знал ни об чем и во сне не видал. Не беспокойся, у нас немцу тотчас поверят, что ни солги.

Откинувши несколько голову, по-прежнему разглядывая его, покачиваясь смешно, когда карета подпрыгивала на кочках, китайский болванчик, две капли воды, Ион изумленно тянул, не имея в запасе этого неотразимого русского средства – беззастенчиво лгать:

– Однако, позвольте, я не не был там, Александр, я, как раз напротив, там был...

Возражение принадлежало к разряду глупейших, самому распространенному между людьми, как он примечал, немцы на этом стоят, как гранит, но все-таки и глупейшее возражение надо обдумать, хотя чего же обдумывать, очевидно, как Божий день, понятно должно быть последнему дураку, не был, и всё тут, спрос невелик, а между тем они приближались, через минуту иное станет важней, к чему он вовсе не был готов, всё заспал, как же он мог, и, сморщившись, точно Ион крепко наступил ему на мозоль, нагнув голову, он попросил:

— Потом, Богдан Иванович, об этом потом, я расскажу тебе, где ты был, глубокая мысль.

Ему сделалось сиротливо и зябко. Он во всем еще очевидней был виноват, и вина непоправима была, безысходна и, как плита на груди, тяготила его, можно ли посвящать немца в тонкости русского умения жить?

Александр натягивал перчатку на правую руку, тотчас снимал и беспрестанно совался к окну.

После вчерашнего мороза и снега вдруг потеплело, моросила какая-то мелкая дрянь, за окном висел невзрачный редкий туман. Колеса кареты стучали по обнаженным скользким камням.

Он удивился, что не приметил ни дождя, ни тумана, когда выходил.

Право, лучше было бы всё еще спать, порывисто, тяжело, но без тумана и снов.

В особенности сны никому не нужны.

Тут карета остановилась, но остановки он не заметил, продолжая сидеть, свесивши голову, опираясь двумя руками на трость, размышляя, отчего это сны никому не нужны.

Ион осторожно тронул его за плечо, указывая движением головы, что пора выходить.

Александр с изумлением поглядел на него: из кареты выбрался почти машинально, вошел и не тотчас сбросил шинель, точно раздумал входить.

У него чуть не силой взяли трость и цилиндр и без промедления провели к Шереметеву, видимо, давно ожидая его.

Серый, неузнаваемый Васька был весь в жару. Лихорадочно блестели бесцветные жидкие большие глаза и беспокойно, мучительно ждали кого-то. Почерневшие губы запеклись и шептали чуть внятно и с хрипом:

— Грибоедов... жду тебя... хорошо... прости меня... друг... я верю, верю... уж ты, брат, прости...

Александр сел перед ним, опустил на колени бессильные руки и наклонился вперед, стараясь хоть что-нибудь разобрать из того, что бедный Васька шепчет явно в полубреду.

В тот же миг Шереметев вдруг увидел его, еще больше расширил глаза и отчетливо прошептал:

- Грибоедов!

Он невольно слишком громко сказал:

- Здравствуй, как ты?

Шереметев нахмурился, сморщил лоб совсем так, как всегда, когда недоволен бывал, что мешали ему, и зашептал торопливо, прерываясь, поверхностно, часто дыша:

- Ты был прав... Во всем, Грибоедов... поразительно прав... Я тебя жду, не хотел умереть без тебя. Ты же прав... теперь никогда... ни-ко-гда...

Он машинально кивнул, решительно не понимая его:

- Да, ты тоже прав, помолчи.

И вдруг он осознал, как нелепо, несправедливо, возмутительно то, что именно перед смертью втолковывает ему Шереметев, перед смертью, уже ничего не вернуть, с этим, с этим так и уйдет, и, почти к самому уху склоняясь, глядя тревожно, жив ли еще, с тяжелой страстью заговорил:

- Это я во всем виноват, слышишь, я виноват, ты прости меня, брат, загубил я тебя, ты прости, я прошу, я тебя очень прошу, ты прости!

Черные губы Шереметева дрогнули, точно пытались сложиться в улыбку:

- Это всё я, сердца на меня не держи... Нельзя так глупо любить, а ты говорил, сколько раз говорил... Прошу тебя, скажи нынче ей... пусть отпустит меня... мучил её... это скажи... пистолет...

Горячее короткое прерывистое дыхание было у него на бледной щеке, однако он наклонился еще и, пытался взглядом внушить Ваське то, о чем говорил:

— Всё скажу, но если бы я...

Шереметев, вдруг перебив, едва прошептал, весь опускаясь вниз на высоких подушках:

— Перестань... простишь ли меня?

Он слабо вскрикнул в самое ухо:

— А ты?

Шереметев выдохнул, безвольно набок клонясь головой:

— За этим и ждал... спасибо тебе...

Он не разобрал впопыхах, за что благодарил Шереметев его, когда должен был проклинать, и с пронзительной жадностью следил за губами, черными, жаркими, что скажут они, чем ответят ему на ужасный вопрос, но губы больше не шевелились, рот был раскрыт широко, втягивая воздух со свистом.

Александр откачнулся, понимая, что надо идти, не в силах подняться и навсегда оставить его.

Шереметев заметался в бреду, несколько раз повторив его имя, точно всё еще ждал.

Он обреченно сидел перед ним и прислушивался к этому бреду. Он не верил, но знал, что совсем близок конец и что ему не забыть, не забыть никогда, и тогда... и тогда...

Тут он вздрогнул и поднял глаза.

Оказалось, он был не один.

Пожилой доктор, весь в черном, не тот, который вынимал пулю после дуэли, незнакомый, спокойный, неподвижно сидел в стороне и молчал, не глядя ни на кого.

Александр взглянул вопросительно, и тогда доктор, добродушный толстяк, видимо, немец, с усталым лицом, тотчас уловив его взгляд, со своим всё-таки свежим румянцем на круглых щеках, неторопливо кивнул и чуть слышно произнес по-латыни, отчего-то уверенный в том, что он знает латынь:

— Час или два.

Он изменился в лице и готов был бежать, но заставил себя для чего-то еще посидеть.

К нему наконец подошли, тоже громким шепотом стали за что-то благодарить.

Он откланялся и тотчас уехал.

Жизнь оказывалась серьезная, страшная вещь. Этой вещью не полагалось шутить, как он беспечно и беспутно шутил всё последнее время, вчера и до вчерашнего дня.

Он боялся заплакать навзрыд и сквозь оконце наёмной кареты, нарочно проделанное в передней стене, упорно глядел извозчику в спину.

На этой чужой незнакомой спине был измокший рыжий тулуп. Потемневшая кожа повытерлась слегка на лопатках и на этих местах была очень гладкой на вид и намного темнее. Большой барашковый воротник был опущен и лежал на плечах. На воротнике ершились намокшие черные завитки.

Ион, прижавшийся в угол, как будто ему говорил, а может быть, рассуждал сам с собой;

— Говорят, Якубович намерен стреляться... Каверин намерен Якубовича убедить...

Ему сделалось омерзительно, скверно, как только до него дотащился смысл этих слов.

Он сконфуженно возразил:

— Дело чести, для чего убеждать?

Ион что-то долго и путано стал изъяснять, однако он его больше не слушал.

Жизнь так огромна, что не имела цены, ни за какие деньги именно жизнь не купить. Оттуда не возвращался никто, это еще принц датский Гамлет так остроумно заметил, и Ваське не воротиться, шалишь, а здесь ничего хорошего быть не могло. И вот не укладывалось у него в голове, как же он позволил себе с жизнью, своей и чужой, шутить и шутить?

Спина впереди казалась широкой, прямой и спокойной: верно, отлично знала эта спина, в какую сторону гнать лошадей.

Разве он мог, разве он право имел вполне жизнью признать всю свою прежнюю суматошную егозливую дурацкую жизнь?

Наконец вернувшись домой, он не находил себе места, всё думал о чем-то, не всегда умея сказать, о чем размышлял, прилег на диван, через минуту вскочил, стал ходить взад и вперед, размахивая сильно руками, наконец присел бесцельно к столу и поник.

Ион, скромно сидя на стуле, поближе к дверям, горестно вслух рассуждал о судьбе вообще и о печальной судьбе Шереметева, кавалергарда, штаб-ротмистра, графа, всё время обращаясь прямо к нему, словно затем, чтобы он как можно дольше слушал его и не смел погружаться в себя.

Слушал он плохо, отвечал кое-как, может быть, невпопад, отчего-то спросил, разве Шереметев был граф, позабыл. Он чувствовал болезненно, остро, что упустил свою жизнь и что не судьбу за свое упущение надо винить.

Он её сам пропустил между пальцами, единственно сам, вот что в этом деле сквернее всего, оттого, что дурак, если б судьба, так это б еще ничего.

А всё отчего?

А всё, сукин сын, оттого, думал он, что многие годы, еще со студенческих лет, когда мальчиком был, он наладился жить с убеждением, разлитым во всё его существо, что он готовит и превосходно приготовил себя на серьезное, важное, даже, возможно, и на великое дело, что в одной этой готовности и заключается всё и что, в сущности, не имеет никакого значения именно то, когда приступать к исполнению великого дела, если душа переполнена

твердой готовностью, переполнена до краев счастливой верой в себя, тут беспокоиться нечего, случай придет сам собой, ничего промедление, всего в несколько месяцев, в год или в два, всё хорошо, метаться-то из чего, из какой надобности, высуня-то язык, великое дело искать?

И вот одна глупая пуля в живот – он оглянулся: позади увиделось одно позорное промедление, и ни одного дня уже невозможно вернуть.

А если бы выстрел был сделан в него? Если бы теперь он метался, как Шереметев, с дыркой в боку и с воспаленным от последнего жара лицом?

Что бы осталось? Какое великое дело?

Всего лишь звук его имени: Александр Грибоедов.

И более ровным счетом не осталось бы ничего.

Даже не тень на стене.

Нет, он не хотел бы так жить, не хотел бы так умереть, однако так жил и мог бы так умереть.

Сколько в памяти поколений осталось великих имен? Прозвучи трубный глас – и поднялись бы усопшие исполины один за другим: Святослав, Ярослав, Мономах, Иоанн, Петр Великий, Екатерина, тоже Великая.

Преобразователи, вершители судеб, с познанием всего, от начала века по днесь, как будто участники во всех делах мира не только при жизни, но и после дальней смерти своей.

Великая мера, великий пример.

Кажется, давно знал об них всё, помнил всякое слово и всякое дело, однако на пользу добрый пример не пошел и той высшей мерой не измерить себя, слишком мал, совсем не видать.

Начать заново жизнь?

Но каким чудом? С чего? И каких теперь надобно сил?

Поздно, пожалуй, сначала начать уже поздно ему.

Еще, слава Богу, что хотя бы остановился так вдруг посредине безумия и сумел угадать, что кругом виноват.

Если б не эти ждущие голубые глаза, не догадаться б самому никогда, несмотря на весь ум.

Что ум? Человеку, должно быть, необходимо, чтобы время от времени большое несчастье напоминало ему о себе же самом и он бы взглядывал вдруг на себя охлажденным, трезвым, прямым, критическим оком.

Необходимо взглянуть!

Ион тем временем рассуждал с вопрошающим выражением на длинном лице:

— Как странно, что отец в таком несчастье остается спокоен. Я бы, кажется, умер сам, лишь бы не видеть своими глазами, как умирает мой сын. Вы же знаете, Александр, как люблю я детей, и потому своих детей иметь мне никогда не решиться. Я, может быть, по этой причине и не женюсь никогда. А вы, Александр? Представьте: лелеять, любить — и вдруг в один миг потерять навсегда!

Собравшись было жениться, внезапно покинутый, оскорбленный, откровенно предпочтенный другому, как мало всё это глупо проведенное время думал он о себе, то есть мало думал о жизни своей, о смысле, о цели её! Кому-то как-будто мстил, сбитый женщиной с ног, как и Васька, шут, скоморох, он жил, как жилось, со дня на день и день ото дня. После этого, кто ж он такой? Ему бы вот это для начала узнать. Сосредоточиться бы, позабыть обо всём, о той тайной обиде прежде всего, понять и простить, простить, разумеется, прежде всего, Васька и тот угадал, и, понявши, простивши, прозреть.

Он расслышал, что Ион молчит, и сказал, вдруг решив, что наставник, как прежде, с нетерпением ждет, чтобы он ответил на какой-то вопрос:

- Лелеять, любить? Однако первыми чаще всего уходят из жизни отцы.

Ион покачал головой и вздохнул:

- Как знать! Судьба безжалостна к нам. Судьба не разбирает отцов и детей, знай себе равнодушно машет железной косой.

Стол был огромный и очень удобно стоял у окна. Свет падал широко и свободно на крышку, пиши да пиши. Когда нанимал он эту квартиру, стол понравился ему больше всего. Он собирался усидчиво, много работать за ним. Великие замыслы, казалось, тяготили его. Таким замыслам надобен свет и простор.

- Не хватает только свечей.

Ион без промедления согласился на это:

- Вы правы, стало рано темнеть, зима настает. Александр замешкался что-то, приказать, чтоб подал?

Он удивился, заметив, что сумерки давно напозли и не видать почти ничего, и поспешно забормотал:

- Богдан Иваныч, будь добр, прикажи.

Ион тотчас кивнул:

- С удовольствием прикажу, Александр.

В голове вдруг мелькнуло, как обыкновенно мелькает во сне, что добрый Ион отдавать приказаний не выучился, что надо бы остановить и Сашку обругать самому, экий упрямый лентяй, сукин сын, однако Ион вскочил, длинно зашагал по ковру и скрылся за дверью, точно растаял, заставив усумниться его, да был ли немец только что здесь и не говорил ли он сам с собой чуть не весь день? О чем говорил? Ах, да, о судьбе да об детях.

На столе были разбросаны бумаги и книги. Встревоженный, несколько раз нарочно тряхнув головой, надеясь резким движеньем наважденье прогнать, он принялся машинально проглядывать

их, поднося совсем близко к глазам. Бумаги и книги накапливались давно. Он не сомневался, живя как попало, что бумаги и книги все разом вот-вот непременно понадобятся на что-то ему, и откладывал то в одну сторону, то в другую, а бумаги и книги понемногу пылились, желтели, не изведав большого и постоянного дела, молчаливые трупы, кто бы дал жизнь?

Сперва взявшись за книги, проглядывая названия, скорее угадывая, чем прочитав в темноте, открывая на мгновение в разных местах, он и представить не мог, для чего так долго собирал и хранил этот хлам, покрикивая на ленивого Сашку, чтоб не хозяйничал тут и не брал, упаси Бог, ничего. К тому же и читать сейчас было нельзя. Зимний день стремительно угасал, точно прятал свет от него.

Он откинул голову на спинку высокого кресла и прикрыл утомленно глаза.

Воспаленные веки чуть горели и слабо чесались.

Хорошо бы было в баню сходить.

Толкнув ногой дверь, Ион внес канделябры. Сквозь закрытые веки Александр ощутил яркий свет, но глаз не открыл и не стал шевелиться, прислушиваясь, как Ион неуклюже возился, ставил свечи на стол, передвигал, потом что-то взял со стола и удивленно, протяжно спросил:

- Вы читаете "Мизантропа" по-русски?

Он неохотно ответил, глаз не открыв, не поворачивая головы:

- Читал.

Ион постоял минут пять, шелестя страницами, шмыгая время от времени носом, затем сердито швырнул русского "Мизантропа" на стол, книга шлепнулась, должно быть, раскрылась и слабо затрепетала листами, а Ион громко сказал:

— Это очень плохой перевод, Александр, даже слишком плохой, я вам удивлен!

Он открыл с досадой глаза, что за вздор?

Копья высоких свечей пугливо дрожали. Чернота позднего вечера тревожно смотрела в окно. Сашку кричать не хотелось. Он поднялся, обошел кругом громадный свой стол, дернул шелковый шнур, и пунцовые плотные шторы закрыли окно. Эти странные шторы завел до него в этой комнате какой-то дурак. Они вовсе не подходили к серым обоям и были неприятны для глаз. Он терпеть эти шторы не мог, а до сего дня не сменил, всё куда-то бесцельно спеша, всё бегом да бегом, и теперь, может быть, в смене штор не слышалось ни малейшего смысла.

Ион по привычке прислонился к стене, скрестив свои длинные ноги. Добродушное лицо немца слегка потемнело, как бывало в Москве, когда он ленился и противился злейшей участи помереть от скуки на лекции, голос немца сделался неожиданно строг:

— Из какой надобности вы читаете всякую гадость?

Наставником так и несло. Иону было всего двадцать лет, когда матушка пригласила немца к нему гувернером. Они вместе слушали курс эстетики и полунемца-полуфранцуза Буле, который приватно читал на квартире Петра Чаадаева, вместе слушали курс на этико-политическом отделении. Ион был с ним застенчив и добр, вспоминая лишь от случая к случаю, что поставлен над ним гувернером, возвышал тогда голос и хмурил глаза. Матушка возмущалась до крику, когда увидала, что с течением времени они стали друзьями, однако же рассчитать Богдана Ивановича не посмела, он решительно воспротивился этому, защищая наставника своего, а он был ее сын по любви, и она,

покричав, погрозив, насказавши упреков, всегда делала, как он хотел.

Славно они проживали в Москве допожарной, переводили с латинского Плавта, менялись мыслями, чаще всего по-немецки, читали Гете и Шиллера, причем Шиллера всегда ровный Ион декламировал с неподдельным восторгом, с жаром в глазах и горько оплакивал новую Элоизу. Нынче Ион был уже доктором прав, управлял немецким театром и восхищался мещанскими драмами Коцебу, немец, известное дело, был бы повод малейший – тотчас пустит слезу, оттого и прежде книг не швырял никогда и тоном наставника разговаривал разве что по ошибке или уж больно сердясь на него.

Александр почувствовал раздражение от этого ненавистного тона. Самолюбив, независим, гордости, может быть, непомерной, наставлений ни от кого не терпел, ни дурацких, ни умных. К тому же голубые глаза Шереметева, снова мелькавшие перед ним, готовы были заплакать. Что за притча, уж не сентиментален ли сделался он? Уж не переметнулся ли в слезливый стан Карамзина и Жуковского? То-то бы отчудил!

Он поколебался и ответил вызывающе тихо:

– Решился проверить, готова ли русская мысль передавать по-русски глубокое содержание.

И тут же схватил в раздражении стопку исписанных неаккуратно листков и быстро их проглядел один за другим, глазами выхватывая то одно, то другое случайно попавшее слово, щурясь от слишком яркого света, кусая вдруг пересохшие тонкие губы.

Вновь выпрашивал он сердито себя, есть ли на нем в самом деле вина, или он, от неожиданности или с испуга, поддавшись глупейшей чувствительности, ее сам себе навалил на внезапно занемевшую душу, такую беспечную, такую легкую всего день

назад, а теперь? Что теперь? Ощущением этой непоправимой, этой громадной и всевластной вины были стиснуты все его лучшие чувства. Вот и опять этим стиснутым чувствам его вина перед добрым приятелем, но шалопаем, в особенности перед собой, тоже личность не лучшего свойства, по правде сказать, представлялась неоспоримой. А беспечность, а легкость, вселявшие ощущение счастья и радость? От них ничего не осталось, лишь один убегающий в памяти след. Ощущение счастья и радость задавила глухая тоска. Он то покорно, то зло, размышлял непрерывно о том, бегло пересматривая им когда-то исписанные листки, как станет жить под тяжестью этой несчастной и, вдруг подумалось, слишком уж глупой вины. Этой отравленной жизни он себе представить не мог, он любил веселье и радость, шутки и смех, как любили, кажется, все, кто его окружал, одна матушка никогда не смеялась, так что и жизнь была невозможна без них, жизнь без шуток и смеха была ему чужда до того, что не хотелось и жить, не хотелось и думать о ней.

И на этих исписанных криво и мелко листках открывалась явная глупость и чушь. Он дивился, как мог занимать те счастливые беззаботные дни подобными стыдными вздорами. Теперь же, когда он был кругом виноват, представлялось просто неумной нелепостью слово за словом выправлять корявый чужой перевод "Мизантропа". Чужая комедия, чужие слова.

И он вновь со злостью подумал о том, что вечно рядом идущая смерть в любой миг могла оборвать это невинное, чуть ли не детское дело, и остались бы от него одни эти смешные листочки, как от веселого Васьки остались одни умоляющие, перепуганные глаза.

Очень высокий, оттого, может быть, что стоял у

самой стены, следя неотступно за ним, улыбаясь осторожной доброй улыбкой, Ион наконец негромко спросил, так же внезапно оставивши тон наставлений:

- Ну, как вы это нашли, Александр?

Он вздрогнул, взметнулся, резко передвинулся в кресле, с недоумением взгляделся в долговязого немца и тоже негромко спросил:

- Ты о чем?

Скрестив длинные руки, сжав пальцами узкие костистые плечи, Ион без малейшей иронии изъяснил:

- Ну, это вот, готова ли русская мысль выражаться по-русски?

Вместо ответа он порывисто смял всю стопку в комок и с отвращением бросил в кем-то, этого он не заметил, затопленный и уже угасавший камин.

Листки его рукописи так и упали, белым бесформенным комом, на присыпанную свежим пеплом золу, и зола взметнулась под тяжестью их снопом мелких смеющихся искр.

Всплеснувши руками, Ион отскочил от стены:

- Остановитесь! Александр! Зачем вы? Боже мой!

Склонив голову, отворотясь, с неподвижным потемневшим лицом, испытывая отвращение к себе, Александр ответил резко и зло:

- Не мне судить бедную русскую мысль.

Длинный Ион стремительно упал на колени, громко стукнувши об пол, угловато сложился, как циркуль, выхватил из камина и принялся расправлять перепачканные, смятые, уже почерневшие по краям листки неоконченной рукописи, как еще не разрыдался, бедняга, впрочем, жалко его, и перед ним виноват.

Кто же он? На что предназначен судьбой? Когда, в какой миг себя потерял? Или всё еще не

нашел, оттого, что никогда не искал? Хорошо, если бы так. Однако же выходило кругом, что ничтожество он, что обречен прозябать с двенадцатым классом и двумя паршивыми водевилями в тощем портфеле, которые с французского переложил на русский язык, того ради, скорее всего, чтобы что-то доказать чудаку Шаховскому.

И что доказал?

Не судья, разумеется, никому, ничему не судья.

И, тоже довольно высокий, ловкий, худой, склонился к хлопотавшему Иону, выхватил морщинистые листки один за другим из жадных дрожащих растерянных рук, с ожесточением рвал на мелкие клочья и сердито кричал:

— Оставь, Богдан Иванович, оставь, Бога ради, тебе говорю!

Глядя на пустые ладони в грязных пятнах каминной золы, Ион покорно поднялся с колен и огорченно пробормотал:

— Вы пробросаетесь, Александр! Дарования ваши...

Точно по сердцу ножом, он оборвал, брезгливо отряхивая ладони и сметая белые хлопья бумаги с колен:

— Чёрт их возьми, мои дарования!

С жалкой улыбкой, с растрепанной головой, Ион неуклюже стоял перед ним и говорил ему с мягким упреком, с явной болью в широко открытых глазах, что ж они смотрят-то всё на него:

— Ах, Александр, сколько дал вам Господь дарований, вы философ, вы ученый историк, вы поэт, музыкант, вы владеете шестью языками, и что же? Где плоды этих ваших несметных богатств?

Да, в самом деле, за какие его прегрешенья над ним так жестоко шутила судьба? Одарила-то одарила, с чего бы он очевидное стал отрицать, однако путного сделать ничего не дала?

А те голубые детские умоляющие глаза продолжали с жалким вопросом глядеть на него из угла, и он, зябко ежась, потирая правой ладонью плечо, отворотившись от них, дрожащими губами возразил едва слышно:

- Эх, Богдан Иванович, поверь: у кого так много талантов, у того, должно быть, ни одного настоящего нет, вот в чем вся соль, вот в чем, видать, наша беда, немцам-то этой беды не понять, понимаешь?

Сделавшись точно ниже, мигая растерянно, часто, Ион, с явно написанным на длинном лице огорчением, мотал головой:

- Не вам жаловаться на щедрого Бога, не вам, Александр, это большой, очень это большой и непростительный грех, обязан напомнить вам, это закон, а вы же себя и не знаете сами, не лгите себе, я вас прошу.

Грех, разумеется, непростительный грех, правило в самом деле, закон, да разве грех, самый тяжкий из всех?

Не поднимая глаз на него, отходя от камина, всё больше на что-то сердясь, он бросил отрывисто:

- Истинный человек обязан служить высшим целям, всю жизнь свою одним им посвятить, иначе какой же он человек, наплевать на любые таланты с высокого дерева, а я, скажи мне, чем, для чего живу? Что же ты мне твердишь об каких-то талантах?

Тяжело, сокрушенно вздохнув, присев на скамеечку, на которую он ставил свои зябкие ноги, обыкновенно согревая их у камина, пытаясь заглянуть ему снизу в глаза, Ион быстро, настойчиво убеждал:

- Высшая цель у вас есть, Александр, я уверен, я знаю, хотя вы ни мне, никому не говорите об ней, как и подобает такому серьезному, такому обстоятельному, пристально размышляющему о бытии и

небытию человеку, как вы, вы только не знаете, как я это давно решил про себя, еще не решили, должно быть, с чего и где вам начать, на каком поприще, с какой стороны к высшей цели пойти, в этом именно я убежден и готов присягнуть на Евангелии.

Всё это странным образом было похоже на самую горькую правду, высшая цель в самом деле была, не генералом же он силился сделаться к старости лет, не действительным статским советником или министром, только этого ему не хватало, чёрт побери, но чем-то всем вместе, в том-то и дело, что просто высшая цель сама по себе, к которой не знаешь, как подступиться, ай да шагай, Богдан-Иоганн, и он с глубокой тоской поглядел на бывшего своего гувернера и не то пошутил, не то серьезно сказал:

- Э, Богдан Иваныч, остерегись, не поминай имя Господа нашего всуе.

Ион протянул к нему длинную руку с неловкой лаской в посветлевших глазах:

- Это вы остерегите себя, Александр, возьмите судьбу свою в ваши руки, иначе не страсть бы беде, это я так понимаю про вас, молю вас, услышьте меня.

Тоже пророк, чёрт возьми, и какие глаза, у Карамзина, должно быть, точно такие, когда зарыдаёт, сидя над ручейком, и он неприязненно вскинулся, стоя боком к нему:

- Ты с чего взял, что беда?

Отдернув руку, точно обжегся на жарком огне, с тотчас поблекшим, болезненно горьким лицом, моргнувши несколько раз, Ион с горячностью изъяснил:

- Дух ваш дерзок, восприимчив, непостоянен, непостижим и слишком, чересчур ужасно раним, это я наблюдаю за вами с каких еще лет, а с таким духом либо на подвиг идут, либо лихая беда, кабак да сума, середины вам нет.

Отходя от него еще дальше, из суеверия не желая накликать еще новой беды, когда одна уже разразилась над ним, он скривил тонкие губы и оборвал, как всегда обрывал то, чего не хотелось слышать ему:

— Уж больше куда?

Ион понял, должно быть, его и сжался как от удара, едва слышно сказав:

— Слава Богу еще, могла быть и побольше беда, ох, как могла еще быть, Александр!

Он рассердился не в шутку, резко оборотился к нему и с негодованием вскрикнул:

— Человека убили! Чего еще надо тебе?

Ион робко, но укоризненно поднял глаза:

— Да, Александр, человека убили, да могла быть и большей беда: человека могли убить вы.

Он вдруг застонал и выдавил хрипло:

— Прости, Богдан Иванович, прости, что кричал. Прав ты, ах, как ты анафемски прав!

Ион потупился и посоветовал тихо:

— Вам бы настоящее что-то начать, Александр.

Он не нашелся, что ответить ему, и голубые детские умоляющие глаза из потухавшего серого пепла глядели опять на него, напоминая, как тяжело, как непоправимо и навсегда он виноват перед ними и как вся его жизнь, задуманная так благородно, так звучно, была мелка и мерзка.

Он попросил:

— Оставь меня, побуду один.

Ион с осторожным вниманием поглядел на него, хотел что-то сказать, однако согласно кивнул головой и своей неуклюжей походкой тотчас направился к двери.

Дверь с шумом отворилась навстречу ему. Из тьмы коридора явился, как в театре, Каверин с детски невинной и ясной улыбкой, с румяным лицом, весь в каплях дождя на плаще, на фуражке и на потемневших усах.

Ион посторонился с неуклюжей учтивостью и сделал поклон.

Каверин, широко шагнувши мимо него, всё улыбаясь, прямо на пол стряхнул с фуражки серебринки дождя, скинул плащ, собрал складками лоб и с той же невинной и ясной улыбкой серьезно сказал:

— Вели-ка тринкену принести.

Александр обрадовался ему, закричав:

— Сейчас принесу!

Каверин посторонился, но придержал его за рукав:

— Полно, брат, бегать, кликнул бы Сашку, чёрт побери.

Он отстранил руку Каверина и мельком взглянул на безмолвно выходившего Иона:

— Нет, я сам, не дожدهшься его, а ты, Богдан Иванович, куда?

Ион невозмутимо ответил, приостановившись в дверях:

— Вы мне напомнили, Александр, что у меня дома дела.

Он подскочил, хотел удержать чудака, они вышли вместе, и он, опять с чувством непоправимой вины, извинялся горячо перед ним:

— Ты не так понял меня, Богдан Иванович: милый ты мой. Я только попросил тебя прекратить разговор, чтобы подумать обо всем самому. Это нехорошо. И о высшей цели ты истинно прав, должна быть высшая цель, из чего же тебе уходить? Каверин пришел!

Ион ласково улыбнулся, открывая широкие крупные, чуть желтоватые зубы, безоговорочно тотчас прощая его:

— Я всё правильно понял, но вспомнил, что дела дома ждут, я вам не лгу, а Петр Павлович покуда с вами побудет, не заскучаете с ним.

Он понял, что Ион в самом деле на него не обиделся, но из деликатности хочет уйти, милый такой человек, и крепко обнял его:

- Еще раз прости.

Ион пожал в ответ руку:

- Успокойтесь же, Александр, доброй ночи, завтра непременно зайду.

Он подошел поспешно к буфету, хлопнул дверцами, звякнул стаканами.

Сашка, мирно спавший на стуле с отвислой губой, пробудился от этого шума, не удивился, но тотчас вскочил:

- Степан Никитич приехали, да?

Эта мысль поразила его:

- Ты с чего взял?

Сашка нахмурился, беря в руки поднос, и огрызнулся:

- Так Петр Палыч, мне с чего брать? Или на радостях, или они-с. Кто ж еще тотчас пить, как взойдет? Да вы этак-то всё перебьете. Небось сам принесу.

Ах, Степан! Вот кто первый развернул в нем его лучшие свойства души, любовь к добру и к общему благу, честность и всё, в чем истинно состоит души красота. Вот бы с кем нынче, с кем же еще?

А Каверин тоже славный был человек. Немного знал его Александр еще по Москве. Они вместе езжали на лекции. Оба жадны были до истинных знаний. Оба, смеясь, бранили скудоумных и скучных наставников, их же был легион. Каверин через год соблазнился в Германию и звал его вместе с собой, да матушка не пустила его в чужие края одного, да и что ж ему там? После войны они встретились вновь. Каверин был тоже гусар, лейб-гвардеец, поручик, прежний умница, пламенный друг, всем известный картежник, дуэлянт и буян, с добрым сердцем и верным чутьем на чужую беду.

Еще летом, дня через два, как он остался в Петербурге один, без Степана, они сошлись ненароком у Лареды, и Каверин, с этой детской невинной и ясной улыбкой, тотчас громко заговорил: "Что? Бегичев-то уехал? С кавалергардами походом в Москву? Тебе без него, верно, скучно? Ну, так я к тебе перееду". Он был рад, согласился, да подумал потом, по дороге в театр, что это одна ресторанный шутка. Из театра отправился он на чердак к Шаховскому, поздней ночью воротился домой и нашел у себя пенатов чужих, каверинских то есть, сам же Каверин воротился под утро, пьян да умен. И они прожили вместе, пока тоска его не прошла. Славно шутили день напролет, славно болтали и болтались всю ночь, и, может быть, с ним теперь не приключилось бы то, что приключилось, да Каверин, видя его три недели веселым, молча исчез, забравши свой чемодан, а его вновь изгрызла тоска.

В коридоре он засветил погасший было ночник.

Сашка явился следом за ним с подносом в руках, аккуратно поставил на стол, приготовил стаканы и потянулся было к бутылке, но Каверин ловко выхватил бутылку из Сашкиных рук:

- Вечно копаешься, Сашка.

Сашка флегматично заметил, тоже остряк:

- А куда мне, Петр Палыч, спешить?

Каверин захохотал и затряс головой:

- Верно, брат, спешить тебе некуда, зато я всегда тороплюсь.

Ловко выстрелил пробкой и наполнил стаканы пенной струей, приглашая:

- Пей, Александр!

Одним духом выпил полный стакан, провел ладонью по обсохшим пушистым усам и громко спросил:

- Отчего не приехал в театр? Я ждал тебя в креслах, глазел, глазел на левую сторону, на твой бенуар, аж глазелки болят.

Он без желания сделал глоток и с удивлением посмотрел на Каверина:

— Ты разве был?

Каверин еще раз наполнил стакан и поднял его:

— Ага, понимаю тебя!

Выпил жадно, точно не сделал во весь день ни глотка, молодецки провел по усам:

— Потому и приехал к тебе.

Александр бы хотел объяснить про глаза и про то, как у себя, через несколько улиц, тяжело умирал Шереметев, весь в липучем смертном поту, которого они не спасли от дурачества, а дурачество, видишь, чем обернулось, беда, однако ж не мог именно обо всем этом сказать ничего и только угрюмо сказал:

— Так было должно.

Склонясь над столом, пробарабанив крепкими ногтями кавалерийскую трель, Каверин исподлобья изучающе поглядел на него, точно не видал никогда:

— Не спорю, что должно, да больно уж глупо, ты мне поверь, от другого кого, от тебя-то не ожидал, испечалился весь как херувим, того гляди балладу напишешь в слезах, ну, там доски трескали, кости и кости стучали, а умный ведь, кажется, человек, к тому же наш брат гусар, не смотрю, что в отставке, а наш.

Не осознавши еще, но уже ощутив, что в самом деле поступил неумно, он, пытаясь скрыть замешательство, сделал неторопливый глоток, но шампанское не шло ему в горло, право, меркнут очи, кровь хладеет, усмехнулся он про себя и глухо спросил:

— В положении самом ужасном зачем я нынче в театре?

Каверин нахмурился и мотнул головой:

— В таком положении надобно пить, ты вот и пей, губы-то не криви, отличная вещь, а в театре быть должно затем, чтобы видели все, что ты не-причастен к этому несчастному делу, вот так-то, мой друг, разумеи.

Эта мысль поразила его, хотя нечто подобное он сам советовал Иону, но он даже на минуту представить не мог, чтобы совет, данный Иону, относился также к нему, и он отставил стакан:

— Каким образом? Я же там был! И с тобой! Кто ж об этом не знает? Весь свет!

Каверин рассмеялся беспечно, откидываясь назад:

— Очень даже простым! Нас не было там, ни тебя, ни меня, понимаешь? Для этого я преспокойно поехал в театр: глядь, тебя нет, экий осел. Истомина страсть была как мила.

Такого рода поступки не уместались у него в голове, благородство и честь, да тут же наглая ложь, и он только из любопытства с подозрительным видом, спросил, размышляя, не розыгрыш ли это Каверина, тот большой был на всякие штуки мастак:

— Истомина не знает еще?

Каверин искоса взглянул на него, ловко двигаясь, вновь поднимая бутылку:

— Должно быть, не знает пока, а впрочем, женщины скрытны, как ведьмы, не то что наш брат, поди угадай.

Наблюдая, как шампанское с легким шипеньем и брызгами переливалось в высокий стакан, он вдруг понял весь смысл внезапного соединения самых несоединимых понятий, честь, благородство и ложь, однако вместить это тотчас не смог и сердито ответил, точно чем-то измазаться мог:

— Однако же мы с тобой были там! В обществе это обстоятельство доподлинно станет известным! В общем мнении кто ж тогда мы?

Каверин поставил бутылку рядом с собой, поднял стакан, выпил неторопливо, спокойно, расправил усы, поставил со стуком стакан подле бутылки, долгим взглядом посмотрел на него и укоризненно покачал головой:

— Я люблю тебя, Александр, умнейший ты человек, редкая голова, у нас таких голов одна или две, но отчего по-прежнему глуп, как мальчишка? Ты на эти вещи трезво взгляни.

Он обозлился:

— Как же, много надо ума, чтобы знать, что Шереметев не нынче, так завтра помрет, что следствие неминуемо заведется, что на следствии спросят тебя и меня и что нам останется только правду сказать, как сказать подобает порядочным людям. Кто ж из нас глуп и осёл?

Согнув пальцы, Каверин костяшками гулко постучал по столу, улыбаясь ехидно:

— Глуп, естественно, ты, Александр, да я затем и приехал, чтобы ты к утру поумнел и, поумнев, отвечивал следственным дуракам: тебя не было там, не было даже во сне, а я затем клятвой заверю, что был вместе с тобой.

Он взмахнул резко, зацепив свой стакан, и вино расплескалось, расплзаясь бледным пятном перед ним:

— Не стану я лгать!

Каверин удобно откинулся, вытянув ноги под стол, и принялся неторопливо высвобождать из плетеных петель медные пуговицы своего доломана, насмешливо говоря:

— Вспотеешь с тобой...

И, вытянув шею, с издевкой спросил:

— Стало быть, пожалуйста на Кавказ рядовым, так я понимаю тебя?

Глядя на это пятно от пролитого вина, в самом деле хорошо понимая Каверина, допрашивая себя,

что был бы наш ум без трезвого взгляда на вещи, тут же возражая себе, а что был бы наш трезвый взгляд на вещи без ума, ужасаясь с трезвостью потерять благородство души, он согласился устало, вычерчивая пальцем круги:

- Это куда уж пошлют.

Распахнувши мундир, сунув руку в карман, подбоченясь, Каверин, дерзко смеясь, как часто смеялся, когда карта целый вечер не шла, продолжал убеждать:

- Да ты сам рассуди, Александр: первое, во всей этой истории мы с тобой не при чем, второе, дело чести не должно быть подсудно людскому суду, третье, мне больше Тифлиса, грязной дыры, нравится наш туманный Петербург, у меня такой вкус, уж ты прости дурака, впрочем, думаю, как и тебе, на кой же дьявол тащиться туда, куда пошлют, а пошлют непременно, им до нас дела нет, у них такой вкус, подлецы.

Похоже, Каверин этак и всегда рассуждал, выгораживая лазейку для совести, пил, буянил, стрелялся, в карты играл, полагаясь на трезвость ума, которая превыше всего, да так и просвищет целую жизнь, не заботясь, что об нем скажут другие, трезвость ума без благородства бесстыдна, в Петербурге остаться, экая цель, паскудство одно, а без трезвости тоже нельзя, дурак дураком, башку подставлять, это он прав, и Александр удивился, заговорив о другом:

- Как не подсудно? Есть же указ!

Каверин стремительно, грациозно, небрежно поднялся, нетерпеливо дернул шнурок, хотел было крикнуть, раскрыл уже рот, но дверь тотчас же отворилась навстречу ему, всунулся Сашка с задорным лицом и подал зажженную трубку, довольно смеясь:

- Готово-с.

Каверин, принимая трубку, захохотал:

– Ну, Сашка, выучил я тебя!

От удовольствия Сашка так и светился:

– Рад служить.

Глядя на них, слушая их неуместную болтовню, он громко и хмуро проговорил:

– И мне подай, Александр.

Сашка неторопливо исчез, объявив:

– Сей минут.

Каверин закурил, развалился на диване, философствуя, окутываясь густыми клубами табачного дыма:

– Указ имеется, не спору с тобой, ни также с царем, да ты здраво об нем рассуди, на то разум человеку от Господа, с какой стати в петлю без толку лезть?

Александр махнул сердито рукой, недовольный обидным промедлением Сашки и еще этим небрежным тоном наставника, каким Каверин любил говорить иногда, точно Ион:

– Э, брат, я вечный пасынок здравого рассудка, оттого у меня всё не на месте, раз навсегда.

Однако очевидная мысль, что указы и честь сопрягаются далеко не всегда и что в том и состоит независимость умного человека, чтобы своим умом рассудить, где закон и где честь, была так внезапна и так глубока, что завлекла в любопытство, и он, взявши безучастно трубку у Сашки, машинально, без злости поворчав на него, что промедлил и что страшный лентяй, размышляя по-новому о признаках благородства, о трезвости и об уме, как бы надо было все эти вещи теперь понимать, торопливо слушал Каверина, который заговорил афоризмами, как любил щеголять после первой бутылки вина:

– Ум пресвященный не может остановиться на старых понятиях, вот что прежде пойми, иначе с умом, а дурак дураком.

Эта вполне отвлеченная мысль ничего не прибавляла к запутанным его размышлениям, и Александр огрызнулся, сильно выдохнув дым:

— Ты меня этой избитостью не корми, не люблю!

Закинувши руку под голову, окутанный дымом, точно в тумане висел, Каверин рассуждал не спеша:

— Славный Руссо выразил весьма дельную мысль, что всякое государство не волей Божией держится, как нам с детства твердят, а общественным договором всех его граждан совместно, всех как один, вот оно как, понимаешь?

Он раздраженно вскочил, сам не зная зачем, отмахнувшись, вскричав:

— Экой дурак!

Каверин засмеялся глухо, сквозь дым:

— Это ты брось, Руссо не дурак.

Он нервно ходил, позабыв, что в руке у него разожженная трубка, рассыпая горящий табак:

— Ты дурак, полагая, что я до сей поры Руссо не читал, нынче сей автор сильно в моду вошел среди юношей, так давно бы пора, наши умники припозднились годков на пятнадцать, я тогда еще в пансионе торчал.

Каверин остановил благодушно:

— Не горячись, погоди, экий порох, наши юноши глупы, так пусть, дай мне свою мысль досказать.

Толкнув стул, из каких-то резонансов торчавший у него на пути, он бросил сквозь зубы, скривившись от боли, прострелившей колено:

— Изволь, доскажи, я не мешаю тебе.

Каверин с удовольствием затаился, прижмуря шальные глаза, и вдруг произнес:

— Славный держишь табак, люблю у тебя покурить. Где ты только на эти приятности деньги берешь?

Он ответил, переставляя к стене чёртов стул:

— Матушка присылает, а что?

Каверин сокрушенно вздохнул:

- А я вот долгами живу.

Он вдруг оскорбился без всякой причины и угрожающе протянул, с гневом взглянув на него:

- Доживешься, гляди.

Каверин затыкнулся опять и вовсе закрыл от блаженства глаза, мечтательно говоря и вздыхая:

- Право, славный табак, чёрт тебя побери, Александр, матушка сильно любит тебя.

Он был в нетерпении и резко сказал:

- Славный Руссо! Славный табак! Что ты за славный дурак!

Каверин приоткрыл один глаз и улыбнулся хитро:

- Позлись, позлись, я заметил, что ты мыслишь трезвее всего, когда ужасно сердит. Так вот, продолжаю. Согласно Руссо, истинная власть исполняет беспрекословно этот основанный на разуме договор и служит благу и процветанию нации, ложная власть общественный договор, по своей тупости, а по жадности чаще, нарушает и разоряет народ. Какие же выводы следуют из сего постулата? Из сего постулата логически следует, чёрт побери, что всякий гражданин ответствен перед властью лишь до тех пор, покуда соблюден общественный договор, то есть ежели нация процветает, а если нация бедствует, народ не вознагражден за труды свои на благо отечества, власть же не желает или не имеет способности поправить беду, служа только своим мелким прихотям, сооружая палаты себе и своим лизоблюдам, но не благоденствию вверенного ей государства, гражданин сам собой освобождается от ответственности перед такой властью, несостоятельной, быть может, преступной. Это всеобщий закон, и на этом законе держатся все отношения между гражданином и властью. Ум непросвещен-

ный сего закона не сознает и нарушает его, оставаясь ответственным перед властью даже тогда, когда власть давным давно и препакостно нарушила общественный договор. Ум просвещенный этот всеобщий закон сознает и тотчас с себя снимает ответственность перед властью, коль видит, сколь беззастенчиво нарушается общественный договор. Ну-с, эту истину я тебе доказал?

Размышляя о том, сколько непросвещенных, лишенных к тому же благородства души, с умилением, даже с чувством достоинства служат из мелких выгод недобросовестной власти, удивленный, что все эти истины издавна знал, да не думал так ясно об них, завлеченный в беспутную жизнь, тогда как Каверин, живший сто крат беспутней его, так определительно думал об этих вещах, он буркнул через плечо:

- Эту истину ты доказал, что докажешь еще?

Оставивши трубку, Каверин поднялся:

- Горло пересохло с тобой.

Подошел вразвалку к столу, наполнил полстакана вином и медленно, с удовольствием выпил, затем поглядел на него и как ни в чем не бывало сказал:

- Гляди, устроишь пожар.

Только тут он увидел летящие искры и ткнул трубку в угол, прикрикнув, раздраженный до крайности:

- Ты мне голову не морочь, дальше-то что?

Избоясь, засунув руки в карманы, светло улыбаясь, Каверин с искренним удивлением протянул:

- Невыносимый ты человек, Александр, за что я тебя так крепко люблю?

Понимая, что ведет себя глупо, но не пытаясь раздражение сдержать, бурлившее в нем, больно задетый мыслью о том, что его понимание благо-

родства и чести выходило с какой-то ошибкой и, может быть, было и ложно, намереваясь еще на досуге подумать об том, какие случаются последствия в жизни, ежели есть благородство и ум без трезвости здравого смысла, однако ж потом, время случится, теперь минуты не утерпеть, угадывая уже, куда столь искусно клонит Каверин, он его оборвал:

- Не люби, чёрт с тобой, но уж коли начал болтать, так изволь продолжай!

Каверин засмеялся, покачиваясь, привстав на носки:

- Ага! Пасынок здравого рассудка! Эх задел я тебя за живое! То ли будет, держись, еще перцу задам!

Это неподдельное добродушие само собой смягчало его раздражение, за добродушие он Каверина и любил и сносил его грубые шутки, и он потише уже пригрозил:

- Смотри, рассержусь.

Каверин беззлобно дразнил:

- Еще не сердит?

Вскинувши голову, он не сдавался, руки скрестив:

- Только начал еще, погоди.

Каверин сел и вытянул ноги, мешая ходить:

- Жаль, тогда не поймешь, однако попробую тебя убедить, что этот глупейший указ для нас с тобой не указ, каково? Ты, разумеется, помнишь, как многие помнят, "весну Александра", как в те поры высокопарно именовали ее? Правление Павла было уже слишком сурово. Правда, те, которые близко знали его, говорят, и я им несколько веры даю, что в характере Павла были черты, внушавшие уважение, что он не чужд был ни рыцарской честности, ни великодушия, ни понятия справедливости. Всё это вполне может быть, однако над всем этим

господствовал произвол беспредельный, минутная раздражительность, право, совершенно как у тебя, Александр, чуть не комплимент тебе говорю, так что и лучшие качества у него выражались в такой дикой форме, что внушали один только страх. Он ведь обнаруживал желание ввести справедливость, уничтожить злоупотребления власти и что-то еще, прости, в вещах этого рода я не силен, но всё это с помощью одного произвола и в форме самой суровой, чуть что, так в Сибирь. Самые мелочные формальности чинопочитания, субординации и фрунта распространились на все сферы государственной жизни в мгновение ока, точно всем по вкусу пришлись и заслонили важнейшие интересы государства и общества. Он сам всё хотел видеть, всё хотел знать, повсюду сам водворять добродетель, в раздражении налетал то туда, то сюда и всех сурово карал, кто попадался ему под горячую руку, не разбирая, кто прав, а кто виноват.

Александр помнил еще то давящее, преступное, беспокойное время, однако теперь его возмущало иное:

— Однако массе нашего общества самым неслучайным представлялось гонение круглых шляп и французских нарядов, да еще гонение лиц, не поспевших, встречая его на прогулке, остановиться и вовремя отдать ему должную почесть.

Каверин с удивлением взглянул на него:

— Слава Богу, ты, кажись, стал оживать и ты прав: общество наше было в ту эпоху разбоя мало приготовлено к осознанию своего отношения к власти, так очевидно нарушающей общественный договор, непросвещенность и темнота, ты припомни, чему и как и с какой охотой учились тогда.

Он остановил его, иронически бросив:

— Стало быть, по твоим рассуждениям наше общество нынче готово?

Каверин потянулся было к бутылке, но оставил ее:

- И нынче наше общество ни к чему не готово, полно умничать, Александр, ты фантазёр, где твоя трезвость ума? Однако же не помнить нельзя, что неправая власть сама готовит общество к пониманию, это, брат, азбука всей общественной жизни, от нее не уйдешь.

Он холодно рассмеялся:

- Что-то мало я вижу готовых! Не те ли, что только и помышляют о будущем чине? Не те ли, что самых дальних за уши вытянут, кто из родни, а всем прочим ставят палки в колеса, не вздумай пройти? Или же те, у которых один театр да театр на уме? Или те, что праздно болтают в самом тесном кружке из пяти человек о свободе да братстве, серьезно прежде ничему не учась?

Каверин, шутя, перебил:

- Или же те, которые беспрестанно злятся на общество, которое ни к чему разумному и благородному не готово? И ты опять прав, однако ж изволь дослушать меня до конца. В том обществе, времени Павла, все-таки жили идеи закона и справедливости. Вспомни, какой радостью была встречена весть, что Павла не стало: незнакомые люди обнимались на улицах, вот оно как!

Он едко вставил:

- И тотчас нарядились во французские фраки, идея закона и справедливости на том и почил.

Каверин продолжал, пропустив его замечание мимо ушей, с веселым блеском в красивых глазах:

- И ожидали, что правление переменится и на место насилия и произвола явятся законность, справедливость и уважение к личности гражданина. Эти ожидания подтвердились как будто первыми указами нового императора. Все отставленные по произволу возвращены были на службу, то

же с сосланными неправо в Сибирь или с заточенными в крепость, то же с восстановлением прежних достоинств, среди которых были Радищев и славный Ермолов. Беглецам, укрывшимся в европейских пределах, объявилась амнистия. Отъезд по личной надобности из пределов российских стал совершенно свободен. Полиции воспретилось выходить из уставов, что она прежде делывала на каждом шагу. У солдат были отрезаны немецкие пукли. Тайная экспедиция была уничтожена. Сенату повелевалось представить доклад об обязанностях своих, а также правах. Университеты были открыты для торжества просвещения истинно русского. Учение давало право на чин, чего прежде добивались низкопоклонством и лестью.

Александр иронически продолжал, в тон ему:

— Университеты, которым не находилось порядочных русских профессоров и в которые профессора приглашались из немцев, не знавших ни звука по-русски, так что их слушатели по этой причине понять не могли, а право на чин возмутило всех тех, кто чинов добивался низкопоклонством и лестью и кто в учении по этой причине видит хуже чем якобинство, сам ничему не желая учиться.

Каверин расхохотался, чуть не до слез:

— Эх забрало тебя! Да много ли их? Одни старики. Стоит ли об них толковать?

Он гневно воскликнул:

— Не одни старики! Случаются прытки из молодых! Не так уж и мало, да дело не в том!

— Помилуй, а в чем? Ты сердит, всё дело в том.

— Я, точно, ужасно сердит. Дело же в том, что и нынче неучи все наверху, у них власть, не у просвещенных людей, и по милости их все указы остаются у нас на бумаге, хоть плюнь, а к многим замыслам даже нельзя приступить.

— Э, да чёрт с ними, рано ли, поздно ли, место неучей заступят иные, с новым правом на чин.

И продолжал прежним тоном, в такт словам похлопывая себя по бедру:

- Объявилось намерение улучшить положение подневольных крестьян.

Он тотчас язвительно вставил:

- Которое не было поддержано ни обществом, довольным французскими фраками, ни этими вельможами прежних времен, которые отродясь ничему не учились, ни даже молодыми соратниками самого государя, которые учились кое-чему, ни, кажется, даже самими крестьянами.

Каверин только усмехнулся на его выходку, словно бы прощая неуместную эту горячность, когда вся беседа исключительно философски велась:

- Сперанский приглашен был для составления конституции.

Эта улыбка и эта настойчивость заблуждения бесили его, и он всё язвительней возражал, сверкая злобно глазами:

- И вскоре был сослан без следствия и суда по наветам прежних вельмож.

Каверин лукаво прищурился:

- Дух преобразований слышался в этих первых шагах молодого правителя, воспитанного республиканцем Лагарпом на книгах Руссо и Мабли.

Он ядовито отрезал:

- Свежо предание, да верится с трудом.

Каверин вдруг посерьезнел и подался вперед:

- Ага, забирает! В том и состоит моя мысль. Возбудив этот соблазнительный дух, правительство не провело никаких серьезных положительных преобразований, даже напротив, слишком скоро поворотило назад, точно перепугалось своих же собственных добрых намерений. О законности и справедливости было забыто. На место конституции нам дан Аракчеев с открытыми бланками, которые

может заполнять по своему произволу. Военные поселения ухудшили положение многих тысяч крестьян. В просветители даны нам Магницкий и Рунич. Русские командиры сплошь заменяются немцами.

Он недовольно поморщился:

— Воля твоя, всё это известно даже нашим студентам, которым ничего не известно, даже если их сечь.

Каверин вдруг рассердился, кажется неприговорно:

— Воля твоя, верно, пасмурная погода слишком тебя раздражает, возьми терпение дослушать меня.

Он почувствовал, как смешон со своим раздражением, и тотчас нахмурился, на сей раз приговорно, понимая улыбаясь одними глазами:

— Помилуй, я целый вечер терплю!

Каверин искоса взглянул на него, тоже улыбаясь одними глазами, точно давая понять, что понял его, и серьезно проговорил:

— Так вот, не являются ли все эти действия нарушением договора правительства с гражданами России? Вне всякого спора, являются, именно так. Стало быть, в недавние времена служить правительству с нашей стороны было честью, нынче чести более в том, чтобы решительно уклоняться от службы.

Он не удержался от шутливой насмешки:

— А я-то гадаю, отчего ты всё служишь?

Каверин ответил спокойно:

— Я не из чести, я из денег служу, а честь мою в том полагаю, чтобы жить независимо, как я хочу, а не как жить мне свыше велют.

Переставши смеяться, он склонил голову набок, словно бы извинялся всем своим видом за эту выходку против него:

— Прости, милый, у меня раз навсегда голова не

на месте. В речах твоих много смысла, над этим предметом надо вдосталь подумать, но каким образом сладишь ты с Якубовичем, который из денег не служит?

Каверин не задержался с ответом:

— С Якубовичем я уже говорил, он поклялся не называть ни тебя, ни меня.

Дивясь расторопности, немного задетый, что Каверин хлопотал за него, его не спросясь, однако сильно тронутый этим истинным проявлением дружбы, он, покусывая губы, спросил:

— Умно ли с твоей стороны полагаться на слово этого скомороха?

Каверин возразил без упрека, вставая:

— Ты мало знаешь его. Он, точно, богат и служит бог весть из чего, к тому же слишком позер и хвастун, однако в известных случаях его честь вне всяких сомнений, положиись на нее, впрочем, в известных случаях только. Так что?

Он прислонился к стене, спрашивая об этом себя, а вслух смог только сказать:

— Право, не знаю пока.

Каверин бросил через плечо, подходя к шкафу, забитому книгами, стоящему у противоположной стены:

— Уволь хоть меня.

Размышляя о том, что стало бы с ним, скажи он всю правду суду, на который его призовут, он заверил негромко, но твердо:

— Будь надежен. Да что тебе здесь? На Кавказе служить из денег даже сподручней.

Скрипнувши дверцей, выдернув толстый том из ряда других, Каверин сказал:

— В гвардии представления побыстрей. К тому же, здесь у нас заводится что-то, аль не слышал? Умы как-будто перестали дремать. Среди офицеров вместо карт да вина вдруг открылась новая страсть. Представь: принимают книги читать!

Об этом деле неслыханном он тоже кое-что слышал, много смеялся, привыкнув видеть русского офицера за картами и вдребезги пьяным, и, тотчас припомнив без всяких усилий все свои опыты с ними, без малейших усилий с усмешкой по-немецки сказал:

- Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Вот бы что им прежде надобно знать.

Каверин возразил, перелистывая взятую книгу, не поворачив к нему головы:

- Ты так говоришь потому, что страницы книг предавно тебе были открыты на пяти языках, когда прочие еще были юнцы и повесы, твой просвещен и приготовлен самостоятельно мыслить, а многим из нас еще самое время чужими мыслями позапасть.

И повернулся к нему, с добродушной улыбкой тыча пальцем в страницу:

- Вот, люблюсь, поля сплошь покрыты язвительными заметками, а ведь это, помилуй, трактат Цицерона, вволю разгулялся, гляжу, весьма и весьма пострадал от тебя Цицерон. Иным же, едва повзрослели, усы завели, в сладость и в пользу заемная мудрость из книг.

Он неодобрительно протянул, опуская глаза:

- Давно бы пора.

Каверин вспыхнул, слишком громко сказав:

- Оно в любом возрасте хорошо, коли от самого сердца идет. А ты вот послушай, как удачно открылось: "Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодородные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбища для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли. И не только на поверхности земли, но и во мраке ее недр скрывается много полезных вещей, которые

созданы на потребу человеку, и только люди их открывают". Стало быть, пусть себе открывают, когда в другое время не удосужились или не успели открыть. Я к ним иногда забегаю для отдыха. Жаль только, что между ними в большом ходу Бенжамен Констан. Мне всякий раз вспоминается прошлое. Славное времечко было! Отчего ты тогда остался в Москве? Тебе надо было со мной махнуть в Геттинген. Что ни толкуй, по части философической германцы выходят посильнее ветреных галлов. Куда твоему Вольтеру, уж ты на меня не сердись.

Он уже успокаивался и ничуть не сердился:

— Полно, мой милый, немца Гете давно принял я в число тех, кого всем сердцем люблю и даже ставлю выше Вольтера.

Каверин тем временем отвернулся, сунул трактат Цицерона на прежнее место, с интересом зашарил глазами по корешкам, негромко сказал: "Вот он, ага", выхватил книжечку и обернулся к нему:

— Ну, что, брат, давай наугад?

Развернул, как попало, и громко прочел:

— Милая, каешься ты, что сдалась так скоро? Не кайся:

*Помыслом дерзким, поверь, я не принижу тебя.*

*Стрелы любви по-разному бьют: оцарапает эта,*

*Еле задев, а яд сердце годами томит;*

*С мощным другая пером, с наконечником острым и*

*крепким,*

*Кость пронзает и мозг, кровь распалает огнем.*

*В век героев, когда богини и боги любили,*

*К страсти взгляд приводил, страсть к*

*наслажденью вела.*

— Каково?

Он тоже сказал, содрогаясь в душе:

— Кто с хлебом слез своих не ел,

*Кто в жизни целыми ночами*

*На ложе, плача, не сидел,*

*Тот незнаком с небесными властями.*

*Они нас в бытие манят -  
Заводят слабость в преступленье  
И после муками казнят:*

*Нет на земле проступка без отмщенья!*

Каверин изумился без шутовства, держа перед собой раскрытую книгу:

- Ого! Такого я от тебя еще не слышал!

У него едва не сорвалось с языка, что Каверин много чего от него не слышал, но удержался, может быть, по застенчивости или из гордости, этого он решить не успел и с живостью продолжал, торопясь перевести внимание от смысла стихов, нечаянно выдавших его состояние, на другое:

- Шекспира заслуга великая: он создал театр европейский, однако и только, хотя это "только" о Шекспире стыдно сказать, особенно же нам, пока ничего не создавшим, тогда как Гете воздействовал на самый дух своей нации, на просвещенные умы всей Европы, явиться к нему на поклон есть истинное счастье для молодого поэта или философа, писать к нему и получать от него письма завидно, счастливцев Уваров! Ты сам не заезжал ли ненароком в Веймар?

Каверин отозвался беспечно, вновь склонившись над книгой, которую тоже, должно быть, страстно любил:

- Об этом визите я тогда не подумал, однако многое нахожу у него превосходным. Вот, слушай далее: "Или, думаешь ты, томилась долго Киприда...", впрочем, об этом нынче, пожалуй, не надо тебе.

Он возмутился и горячо попрекнул:

- Как много ты потерял! Ты мог бы видеть великого человека! Лицеизречение великого человека дает могущество всем нашим помыслам! Великая драма нашего времени в том, что вокруг нас не сыщешь великих людей! Я не пожалел бы полжизни, лишь бы видеть воочию Гете или старца Воль-

тера! Кто прожил свой век с большим блеском? Чья жизнь протекла более громко, разнообразно и деятельно? Как решительно действовали они на умы современников, как вели их, куда хотели и куда полагали нужным вести!

Каверин поддакнул с иронией, тихо смеясь:

— Как удачно Вольтер спекулировал! Как низко подличал перед Фридрихом! Как Гете с презрением отказался стать во главе освободительного движения, когда эту высокую честь немцы сами предложили ему!

Он саркастически улыбнулся:

— Ты прав: как неровна судьба, так Вольтер и Гете тоже были неровны. Гляди хоть Вольтер! То светильник робкий, блудящий, то бичом сатиры ярко сверкнул реформатор, то гоним, то гонитель, то друг царей, то их враг! Целых три поколения сменились перед глазами великого человека. В виду их всю жизнь провел он в борьбе с невежеством, с суеверием политическим, богословским, школьным и светским и ратовал с обманом во всех его видах. И сколько сомнений всю жизнь! Не обманчива ли та цель, для которой он подвизался? Какое общее благо? Возможно ли? В чем оно состоит? Не колебание ли всё это умов, не твердых ни в чем? А Гете? Нынче вышел в отставку, однако ж Веймар остается светочем просвещения, точно он прежний министр!

Каверин задумчиво глядел в раскрытую книгу, но не читал, а с теплым чувством, с остановками говорил:

— Что поделать, покажусь перед тобой, не видел я ни Вольтера, ни Гете, но зато видел Шеллинга и ничуть не жалею об этом. Душа Шеллинга поэтична, а разум светел и тверд. Он толковал нам о свободе наших поступков в ее естественной связи с необходимым ходом вещей, вот бы послушать тебе! Он

спрашивал нас, людей молодых, не исключает ли понятие необходимости понятия свободы, явным образом ему противоположного? Мы были, конечно, убеждены, как и многие убеждены до сих пор, не просветивши довольно ума, что эти понятия решительно исключают друг друга. Он соглашался, что на первый взгляд это действительно так, однако же это кажется только тому, чей взгляд скользит по поверхности, не проникая внешней оболочки явлений, а в действительности этого пресловутого противоречия необходимости и свободы вовсе не существует.

Каверин вздохнул порывисто, глубоко, поднял глаза на него и заговорил горячей:

— Необходимость не только не исключает свободы наших поступков, но даже является ее предпосылкой и основанием для нее. Если бы не существовал необходимый порядок вещей, просто-напросто невозможна была бы свобода, ни личная, ни политическая, вот что необходимо всем нам понять. Я свободен только тогда, когда делаю то и так, что и как я хочу, но если при этом не считаюсь с необходимым, своим внутренним законам подчиненным порядком вещей, я не имею возможности рассчитать, как в ответ на мои действия поведут себя эти вещи и люди и необходимо оказываюсь в плену у случайности, то есть лишаюсь свободы. И напротив того, если необходимый порядок вещей мне известен, если я могу рассчитать противодействие или содействие тех, кто окружает меня, я поставлю перед собой лишь достижимые цели, отбросив без сожаления несбыточные мечты, и использую для достижения своих целей те средства, которые у меня под рукой. Только такой способ действий приводит к успеху, а не наши желания, каковы бы ни были они хороши. Свободен в философском смысле лишь тот, кто сознательно под-

чинился необходимой природе вещей. Кажется так, если я еще не забыл.

Он пожал плечами, однако смеяться не стал:

- Чтобы открыть эти истины, не стоило ездить в Германию, право. Приблизительно о тех же материях трактовал мне Буле.

Каверин искренне удивился:

- Да? Я об этом не знал.

И, сунувши книгу под мышку себе, потянувшись к бутылке, снова налил полный стакан:

- Однако с тех пор я хочу только того, что могу.

Он прищурился, слегка согнув правую ногу в колене, несколько избочась:

- Но позволь, чем же не угодил тебе в таком случае Бенжамен Констан?

Каверин прополоснул вином рот и сокрушенно вздохнул:

- Видишь ли, в детстве невинном я был пре- пылко влюблен в героев Плутарха, как, впрочем, и ты. Они воспитали во мне дух свободы, республики, героизма, народоправия, и вдруг мне хотят доказать, что в те времена личная независимость при- носилась в жертву общему благу, что свобода об- щего оборачивалась для отдельной личности дес- потизмом. С этим согласиться я никак не могу, хоть убей.

Думая о том, что в душе Каверина довольно и благородства, и трезвости, и ума, то есть того, что в совокупности составляет человека достойного, од- нако все-таки не хватает чего-то еще, чтобы Ка- верин возвыситься мог до величия, и вместе о том, как сложен, в сущности, человек и как труден, за- путан его краткий путь на земле, а также о том, что чем проще и подлей человек, с одной трезвостью, без сильного ума и без благородства души, тем легче, тем привольней живет посреди нашей подло- сти, он задумчиво возразил:

- С этим можешь не соглашаться, но Констан, кроме того, говорит, что свобода нового времени не может быть свободой древних республик, что нынче свобода личности требует системы гарантий, которые обеспечили бы безопасность, независимость от произвола властей, что гарантии эти заключены в свободе печати, поставленной вне всяких посягательств благодаря суду присяжных, в ответственности министров, в особенности младших чиновников перед тем же судом, это как?

Каверин бросил книгу на стол:

- Суд присяжных сам должен быть независим и неподкупен, а до такой благодати в России так далеко, что об этом даже не хочется думать, не только что толковать. Все подкупны, чёрт побери. Что у нас близко, вот в чем нынче важный вопрос?

Он слегка пошутил:

- Если я справедливо понял тебя, у нас близко одно: бесчестно вести себя в отношениях с правительством честно и честно обращаться с ним так же бесчестно, как оно обращается с нами.

Каверин, закинувши голову, громко захохотал, внезапно поднялся и крепко обнял его, говоря:

- Прощай, брат, мне пора.

Он опешил, безвольно подставляясь под поцелуи:

- Что вдруг? Ты куда?

Каверин уже был в сенях:

- Карета ждет, а так никуда.

Накинул плащ, нахлобучил фуражку и как появился внезапно, точно так же внезапно исчез.

Александр остался один. Мысль Каверина упорно не оставляла его. В самом деле, не сказаться ли в нетях? Благоразумно, что говорить! Умен не тот, кто голову положил под топор, истинно умен тот, у кого голова на плечах. И с философией в полном ладу, что приятно весьма, нельзя не признать.

Одна вот только беда: таким способом рассуждает также всякий подлец, впрочем, ни с какой

философией, ни с немецкой, ни с русской, не соглашая себя.

В подобном случае у подлеца одна недолга: спасти бы башку от топора, от петли, от солдатской шинели, а там хоть трава не расти.

В таком случае, порядочный человек чем же существенным разнится от подлеца? Одной философией? Не больше того?

Именно, именно...

Пожалуй, одно: на такого рода поступки должна иметься в наличии благородная цель... то есть не из страха топора да петли да солдатской шинели... а из...

Ох же и тонко, тонко-то как: чуть шагнешь без опаски, ан глядь – угодил в подлецы...

С какой стати не класть ему голову под топор?..

И эти детские голубые умоляющие глаза...

Куда же деваться от них? Каким силлогизмом им-то себя изъяснить?..

Нет сомнений, он кругом виноват и должен быть наказан за всё, наказан жестоко, лишь бы не видеть этих детских голубых умоляющих глаз: тогда-то они перестанут глядеть на него, перестанут...

Наказан, наказан, жестоко наказан...

Он вскинул голову: те-то накажут его не за то!

Истинная вина его единственно в том, что не удержал Шереметева, не растолковал буйному мальчику дурацкого дела и тем погубил, под пулю подвел, а те накажут его лишь за то, что на дуэли согласился быть секундантом и по уговору был должен стреляться вторым.

Разве это не глупо? Разве наказание, лишенное смысла, избавит его от этих умоляющих глаз?

Положим, что глупо, положим, что так...

Однако не слишком ли мало, чтобы себя самого не почитать подлецом?..

Такие вопросы он задавал себе даже во сне. Они

леденили его своей жутью. Что найдешь еще гаже того, чтобы видеть себя подлецом? Он пробуждался в жару и в испуге, пил воду, которую Сашка для него всегда ставил на ночь в графине, ворочался, сбивая в жгут простыню, и на место жутких вопросов о том, как ему поступить при допросе в офицерском суде, его леденили молчаливые, грустные, такие невинные молодые глаза.

Встал он вялый, с больной головой и никуда не пошел. В окна его кабинета хмуро сочился пасмурный день. Александр завернулся в теплый халат и приказал растопить пожарче камин.

Сашка долго возился, старательно дуя на неохотный робкий огонь, подкладывая кусочками бересту, которая тотчас сворачивалась трубой и отчего-то не желала гореть.

Заложив руки за спину, с опущенной головой, он беспокойно ходил, ожидая тепла. Серые стены теснили его. Хотелось уйти. Но выйти с тем, чтобы кого-нибудь повстречать? И что и о чем говорить?

И он оставался в этих серых стенах, однако наедине с собой тоже приходилось несладко, вопросы самого коварного свойства мутили и раздражали его.

Вот, если самую чистую правду сказать, что была вся его прежняя жизнь?

Почти ничего.

Вся его прежняя жизнь была крохотный тесный мирок, давивший и теснивший его, не позволяя сделать шагу по-своему, волей своей, куда там, живи, брат, как велено жить.

В детстве была клетка материнского дома, затем университет, затем полк.

И вечно он ощущал, как дом, университет и гусарство точно в трясику завлекали его, как искажали душу и ум, расслабляя характер, извращая самобытную мысль, как обминали и пере-

краивали его в кого-то другого, каким он быть никогда не хотел.

Характер и мысль он, пожалуй, сберег, а вот с честью как, с совестью, с благородством души?

Чем он жил? О чем он мечтал? Какими вздорами развлекал свою грешную скуку?

В детстве и юности, когда его мучили строгие наставления любящей матушки, он ускользал в свои книги, которых прочитал он, казалось, целые горы и которые насыщали его жаждущий ум, однако на что он готовил себя?

В полк он вступил добровольно, и тотчас отцы-командиры взялись из него изготовить ничтожество, впрочем, как и из всех остальных, так что он заболел и болел почти год, да всё ж воротился в свой эскадрон и тотчас превратился в ничтожество.

Господи, что было бы с ним, если бы не попал он в резервы к Андрею Семенычу? В резервах он жил, в резервах действовал бескорыстно, на общее дело и нисколько не был ничтожеством, хлопоча не об себе, а об скорейшей нашей победе.

И вот затесался в иной, тоже тесный, как прежде давивший мирок.

А любовь? Любовь-то во что превратила его?

Сашка вышел, так осторожно притворивши дверь за собой, что он это заметил, однако на эту повадку бездельного Сашки не стало смешно.

Он опустился в низкое кресло, вытянул ноги и безмолвно глядел на жадный огонь, сгрызавший поленья, и упорно думал о том, как его призовут в казенные стены, как холодно спросят, может быть, стороной уже доподлинно выведав всё скверное дело до нитки, и как он так же холодно должен будет там отвечать, не сбиваясь, обмирая в душе, как бы нечаянно не проговорились другие.

Честь и бесчестье мешались, сбивая его, заводя в тупики.

Он предвидел, естественно, самые каверзные во-

просы и находил самые убедительные ответы на них.

Да, спору не было, ответы звучали безукоризненно и логично, владеть собой он умел, когда надо было владеть, однако, чем старательней он готовился отвечать, чем дольше об ответах своих размышлял, тем больше сердился, сознавая отчетливо, что одной безукоризненной логикой в таком надувательском деле не обойтись.

Важнее логики было правдоподобие.

Сомнений быть не могло: невозможно и глупо решительно всё отрицать.

Знал ли он о предстоящей дуэли? Как же не знать! Знал ли он о причинах ее? Еще бы не знал! Звал ли Шереметев его в секунданты? Что вы, Бог с вами, ваше превосходительство, само собой разумеется, что звать не посмел!

Да, вот именно такими словами и должно там отвечать, чёрт их возьми, так оно сойдет хорошо, да ведь знали же все, что он был Шереметеву близкий приятель, если не друг!

Как же тогда?

Не лучше ли так: точно, звал, да я, сукин сын, отказался, не имея, скажем, довольно досуга?

Хитроумная эта игра занимала его до самого вечера, и всё это время он был противен себе. Смеркалось уже, когда Сашка доставил ему из трактира в разогретой кастрюльке обед. Он ел безо всякого аппетита, с брезгливостью глядя в тарелку, и вдруг очевидная мысль поразила его: ему следовало вести себя просто, как будто ни в чем не бывало!

Вот он весь день-то не подумал об чем, а ведь, если хорошенько размыслить, именно это и было важнее всего!

Он крикнул Сашке нести одеваться, выбрился чисто, до синевы, легко вошел в черный фрак и выставил у самого подбородка тугие воротнички.

Из темного зеркала угрюмо смотрел на него черноволосый, хорошего, должно быть, среднего или чуть повыше среднего роста молодой человек с длинным тонким стремительным носом, верный признак гениальных натур, как, впрочем, и короткий вздернутый сократовский нос, как он неизменно шутил сам с собой. Молодой человек был слишком худой, но зато выразительно стройный, с движениями отрывистыми, неровными, странными, однако изящными, как подобает, имея хорошее воспитание, с узким худым некрасивым, но выразительным, интересным, благородным лицом, с длинными тонкими и насмешливыми губами, с властными спокойными, тоже выразительными живыми глазами, смотревшими сквозь маленькие продолговатые сильные стекла очков.

Вполне мог бы нравиться хотя бы немногим, хотя бы самым избранным женщинам, так ведь нет, неспроста полагают, должно быть, что исчадия крикливого пола отдают свое капризное сердце лишь самым посредственным лицам, проще сказать, записным дуракам.

Вот беда, остроумная физиономия выдавала его, оттого исчадия крикливого пола не влюблялись в него. Впрочем, обыкновенно он улыбался приятно и скромно, однако веселой иронии скрывать никогда не умел, говорил негромко, но твердо, и этот неуступчивый пронзительный взгляд, и все чувства всегда были на лице.

Какой со всем этим мог быть у крикливого пола успех?

И, махнувши рукой, он отправился ближними улицами и явился, как являлся обыкновенно, в театр.

Диана МЫШАЛОВА

## **Реалист ли Бунин?**

*О поэтике цикла "Тёмные аллеи"*

Традиционно творчество И. А. Бунина считается реалистическим. Реалистом называл себя и сам Бунин. А, может быть, бунинские рассказы только делают вид, что подражают природе? Причем притворяются настолько искусно, что им удастся обмануть не только читателя, но и самого Бунина! А за маской реализма, под толстым слоем грима прячется лицо столь ненавистного Бунину модернизма...

Давайте посмотрим с этой точки зрения на знаменитый цикл рассказов "Тёмные аллеи".

Большинство рассказов этого цикла создано во время Второй мировой войны. Когда мир рушится, когда действительность непереносима – Бунин обращается к теме любви. И вместо действительности появляется миф. Любовь в "Тёмных аллеях" – это "другая" реальность, имеющая очень мало отношения к законам объективной действительности.

В центре этой реальности – женщина, и весь бунинский мир пронизан силовыми линиями тяготения к женщине.

Это мир, в котором не может быть войн, крови; мир, в котором может произойти только одно событие: соединение мужчины и женщины, мужчины вообще и женщины вообще, мужского и женского начала.

Причем соединение это выражается в физической близости, а тяготение (организующее начало бунинского мира) – это инстинктивное, первобытное тяготение; родовой, половой инстинкт.

Подобная устремленность к женщине – это, по Бунину, вечный источник жизни, сила, поддерживающая человека в мире, где миллионы людей убивают друг друга; сила, дающая возможность удержаться, когда земля под ногами дрожит, готовая взорваться в любую секунду. В силу этого мир "Тёмных аллей" противостоит окружающей действительности по двум основным принципам: Бунин противопоставляет смерти – жизнь; миру, который рушится на глазах, – нечто устойчивое, постоянное, вечное. Именно поэтому при всем внешнем разнообразии все рассказы цикла тяготеют к единой константе, повторяя друг друга в основных моментах.

Почему же рассказы Бунина воспринимаются как реалистические? Эта иллюзия создается в основном благодаря тому, что Бунин берет материал (именно материал!) для своих рассказов из реальной жизни, из окружающей действительности; он пишет о том, что видел, что помнит, что хорошо знает; о том, что в самом деле происходило или могло произойти.

Однако рассказы из цикла "Тёмные аллей" – это не отдельные сценки, зарисовки из реальной жизни, описывающие события, которые вполне могли произойти с таким-то человеком в такую-то историческую эпоху. Бунин создает совершенно особый мир, в котором действуют свои законы. По этим законам организуется весь художественный материал.

Нетрудно заметить, что большинство рассказов цикла построено по одной сюжетной схеме: встреча героев (мужчины и женщины), их постепенное сближение, собственно физическая близость, ре-

зультат (нравственный, философский, эмоциональный; какой след происшедшее событие оставило в жизни героев).

Это – "пра-ситуация". На протяжении всей человеческой истории мужчина и женщина встречались и соединялись в любовном акте.

И любой рассказ, который, на первый взгляд, представляется "куском жизни", оказывается лишь вариантом вечной ситуации, "пра-ситуации".

"Пра-ситуация" становится основой фабулы; каждая отдельная фабула организует в единство отдельный рассказ; фабулы всех рассказов, взятые вкуче, повторяя друг друга в основных моментах, организуют в единство весь цикл.

Обобщение разнообразных событий до "пра-ситуации" (и конкретных характеров до уровня человека вообще, о чем речь пойдет ниже) – это один из важнейших принципов модернизма (термин "модернизм" мы употребляем в широком смысле – в значении "постреализм"). Как же этот принцип проявляется собственно в текстах бунинских рассказов?

Надо сказать, сходство в фабулах само по себе еще не означает ВНУТРЕННЕЙ тождественности литературных произведений. История литературы знает множество случаев, когда разные писатели использовали одну и ту же сюжетную схему для создания своих произведений, и между этими произведениями не было ничего общего, кроме самой схемы.

Гораздо реже фабулы повторяются в рамках творчества ОДНОГО писателя.

Бунин же на основе одного и того же сюжета пишет 38 (!) рассказов, причем объединяет их в цикл! Как это сказывается на механизме читательского восприятия?

Представим себе каждый отдельный рассказ

как рисунок на прозрачном листе бумаги. Все рисунки отличаются один от другого, но неизменно повторяется одна и та же фигура, расположенная в одном и том же месте листа. Эта фигура, собственно, ничем не примечательна, и мы не обратили бы на нее особого внимания, если бы прочитали один-два рассказа. Однако рассказы организованы в цикл, то есть предполагается, что мы должны читать их подряд, один вслед за другим. В процессе чтения прозрачные листы с рисунками как бы накладываются друг на друга, образуя стопку; они просвечивают друг сквозь друга, картина постепенно усложняется. И после нескольких рассказов мы обнаруживаем, что повторяющаяся фигура, усиленная изображениями предыдущих листов, стала гораздо ярче других, четче очерчена. И она неминуемо начинает обращать на себя внимание.

Таким образом, однообразие (в определенном смысле) становится художественной задачей. Настойчивое повторение одних и тех же моментов сюжетной схемы призвано подчеркнуть огромную роль фабулы в рассказах бунинского цикла. Сюжет оказывается главным "зерном" "Тёмных аллей", в нем сосредоточен очень важный смысл. И главное в цикле – не нравственный пафос каждого отдельного рассказа, не создание галереи женских характеров, не глубокий психологизм. Главное – это утверждение вечности и неизменности очень важного начала в человеке – древнего родового, пологого инстинкта.

Миром, созданным в "Тёмных аллеях", управляет только одна сила – могущественная, непреодолимая, подчиняющая себе всё и вся. Именно эта сила – древний и великий инстинкт продолжения рода – она, а не войны, массовые убийства, и т. д. – она определяет главные законы мира. Все остальные желания, стремления, потребности человека

оказываются на периферии. Главное и, фактически, единственное, что может произойти – это события, в результате которых мужчина и женщина соединяются. И жизнь человека – как и тысячи лет назад – может быть изображена как вариация на тему "пра-ситуации": встреча, сближение, физическая близость, результат.

Пожалуй, самая распространенная (и, на наш взгляд, соответствующая истине) характеристика реалистического подхода к изображению действительности – это "изображение неповторимого характера в неповторимых обстоятельствах". Мы видим, что в "Тёмных аллеях" этот принцип не только не соблюдается, но утверждается прямо противоположный подход.

По сути, в разной обстановке, на фоне разнообразных декораций происходит одно и то же действие; и, что самое главное, играют в спектаклях одни и те же актеры.

Совершенно очевидно, что герой "Тёмных аллей" (мужчина) – это, собственно, один и тот же характер, переходящий из рассказа в рассказ. Иначе – героини; действительно, может сложиться впечатление, что Бунин создал "целую вереницу женских типов" ( Анна Саакянц).

В самом деле, героини бунинских рассказов отличаются друг от друга. Другой вопрос – чем отличаются?

Есть нечто константное, устойчивое, переходящее из рассказа в рассказ. И есть то, что отличает рассказы друг от друга, делает их 38-ю различными произведениями, а не одним и тем же текстом, переписанным 38 раз без изменений.

Что же меняется от рассказа к рассказу? Пожалуй, самое разнообразное (практически без повторений) – это чисто ВНЕШНИЕ характеристики: во-первых, пространства, внутри которого про-

исходит действие (деревенская изба, станция, усадьба, городская квартира, гостиница, купе поезда, пароход и т. д.) и, во-вторых, женщин (лицо, фигура, одежда). Назовем это условно декорациями и костюмами.

Действительно, Бунин создал галерею великолепных костюмов для своей единственной актрисы. Чего он не создал – так это неповторимых характеров.

Что существенно в изображении женщины, чему Бунин-художник уделяет самое большое внимание? Безусловно, внешности женщины. Наряду с лицом, фигурой, одеждой, описываются позы, в которых стоит или сидит героиня, ее жесты, манера держаться, голос, особенности речи; и всё это – лишь новые детали внешности.

Герой (и рассказчик) смотрит на женщину сейчас, в данную минуту, смотрит со стороны, соблюдая дистанцию – и описывает то, что он видит. И описывает великолепно! Всё остальное – например, попытки заглянуть в прошлое героини (описать ее судьбу), проникнуть в ее внутренний мир (описать ее характер, изобразить героиню как неповторимую индивидуальность) – Бунину удастся гораздо хуже. И если в рассказе такие попытки всё же совершаются, то, как правило, получаются не живые художественные образы, а сухая информация, которая выдается скороговоркой. При этом информация оказывается несущественной, она не связана с рассказом органически. Эти "детали" просто "отваливаются" от рассказа, как нечто инородное, чуждое.

Таким образом, при чтении "Тёмных аллей" в нашем восприятии возникает некий обобщенный образ женщины, женское начало, которое предстает в рассказах то в одном, то в другом облики. Меняются внешние характеристики (лицо, фигура,

одежда, особенности речи, манера поведения), но всё это – лишь маскарад, за маской – одно и то же лицо; суть не меняется.

Бунину важно одно и то же содержание выразить на разнообразном эмпирическом материале. Весь этот материал – лишь декорации; а встречаются просто Он и Она – по сути, вне времени, вне пространства; вне национальных, социальных различий, вне различий в культуре, образовании, возрасте; вне различий взглядов на жизнь (они испытывают одни и те же чувства!); вне всего, что было до и будет после, вне индивидуальных психологических черточек.

Таким образом, в цикле рассказов "Тёмные аллеи" Бунин не ставит перед собой задачи зеркального отражения действительности в ее неповторимом своеобразии. Он стремится выявить вечное, константное, неизменное, устойчивое; то, что проявляется, просвечивает за внешним разнообразием жизни. При этом важнейшая роль отводится в "Тёмных аллеях" фабулам, представляющим собою вариации на тему одной и той же ситуации. "Праситуация", повторяясь снова и снова, из рассказа в рассказ, становится нитью, связующей цикл рассказов в прочное единство, и точкой, концентрирующей в себе основной философский смысл цикла в целом.

## Роман-кентавр Анатолия Кима

В те времена, когда мир был еще совсем молод, в гористой и лесистой Фессалии, которая и мужиковатым беотийцам, и изнеженным афинянам, и драчливым спартамцам представлялась чуть ли не краем ойкумены, обитало дикое и буйное племя кентавров. Пожалуй, за исключением мудрого Хирона и гостеприимного Фола кентавры оставили по себе не очень добрую память. Они то затевали ссору на свадьбе царя своих соседей лапифов, то гурьбой нападали на странствующих героев, а один из них – Несс – покушался на честь жены самого Геракла. И всякий раз кентавры бывали жестоко наказаны за необузданность и неразумность. Как будто мрачный рок тяготел над этим незадачливым и незадавшимся народцем, пока, в конце концов, не свел его с лица земли.

Однако, древний миф о конечеловеке и по сей день обладает какой-то притягательной силой. Иначе как объяснить, что искусство с завидным постоянством возвращается к этому образу. Кентавры увековечены на фризах греческих храмов и на фресках Боттичелли, в гомеровском эпосе и в "Божественной комедии" Данте. Встречаются они и в прозе XX века. А вот в русском искусстве, не в пример западному, кентаврам повезло куда меньше. И не то чтобы о них забыли совсем, но упоминали всё как-то вскользь, мимоходом, как, например, Пушкин: "Покров, напитанный язви-

тельною кровью, кентавра мстящий дар..." И только.

Но вот Анатолий Ким взялся восполнить этот досадный пробел и в № 7 "Нового мира" за 1992 год опубликовал роман "Посёлок кентавров". Возможно, читатель, привыкнув за последние годы к чересчур вольному обращению с жанрами с одной стороны, а с другой – находясь в плену Бог весть откуда взявшегося предубеждения, что роман – это, прежде всего, "калибр", то есть художественный текст достаточно большого объема, отнесется к авторскому подзаголовку, предпосланному 52-м журнальным страничкам, как к некоторому "завышению". Но дело, конечно, не в одном объеме. "Посёлок кентавров" Анатолия Кима способен вызвать куда более серьезные недоумения.

Несомненно, роман – самый широкий, самый многообразный, а потому и не поддающийся строгому определению жанр. Но несомненно также, что широта эта – вовсе не безбрежность. И тут уместен вопрос, а допустимо ли называть романом произведение, "населенное" существами, стоящими во всех отношениях гораздо ниже человека, даже если этот человек занимает самую последнюю ступень развития. Правда, в XX веке написано множество произведений о кроликах, удавах, волках, свиньях и прочей живности. Но, во-первых, далеко не все претендуют на звание романа, а во-вторых, животные там по-басенному очеловечиваются. Анатолий же Ким расчеловечивает получеловека и легко обходится без характеров, без психологии, без "конфликта личности и общества". "Героем" его романа становится стадо, движимое самыми примитивными инстинктами.

Однако, в "Посёлке кентавров" лишь в более концентрированном виде проявилась одна из устойчивых тенденций в развитии современного

романа. В общих чертах она намечена еще Осипом Мандельштамом в его статье "Конец романа" (1922). Если в XIX веке "мерой романа" была "человеческая биография или система биографий", то в эпоху "могучих социальных движений" и "массовых организованных действий", когда "отдельной судьбы не существует", роман становится "историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше, чем распыления – катастрофической гибели биографии", – пишет Мандельштам. И действительно, рядом с "биографиями личностей" всё большую площадь занимают в литературе XX века "биографии масс": романы Барбюса, Пильняка, Серафимовича, Стейнбека. Но стоит лишь чуть продолжить "вектор Мандельштама", сделать всего один шаг, чтобы, пройдя "массы" и "множества", упереться в "стадо". Этот шаг и делает Анатолий Ким.

Эллины видели в самом появлении на свет племени кентавров некую шалость богов, подсунувших царю Иксиону вместо вожденной им Геры облако-призрак. Но, несмотря на определенный комизм ситуации, кентавры мифов далеко не однозначны. Они предстают то враждебными людям, то мудрыми и доброжелательными. Современный же "мифотворец" утрачивает присущую древним "детскую" непосредственность восприятия, зато привносит в античный сюжет ощутимый притчевый элемент. Кентаврами Анатолия Кима управляют лишь самые примитивные инстинкты: голод, похоть, чувство стада... "Беспечные конелюди" "не знают мнительного страха при виде умирающего ближнего". Не знают они также ни семьи, ни религии, ни законов. Их гипертрофированный животный "низ" многократно перевешивает человеческий "верх", поэтому и в жизни этого народца, и в романе о нем центральное место занимает непо-

мерно разросшийся и детально прописанный автором *елдорай*. В пессимистической трактовке Анатолия Кима кентавр становится символом даже не борьбы духа и плоти, а окончательной победы плоти над духом.

Созданный в "Посёлке кентавров" мир еще не отстоялся и не оформился. Всё в нем перемешано, окончательно не разделено, всё еще бродит, как в гигантской квашне. Лошадь там "по-человечески" дружит со своей хозяйкой-амазонкой, к кентаврам запросто забредает греческий купец, а пришельцы-инопланетяне открыто вмешиваются в земные дела. И эта пестрая "биомасса" жестоко сражается за выживание в юном, только еще выходящем из хаоса мире. Не находится в нем места только кентаврам. "Выделившись" из природы, они так и "не дотянули" до людей. Такая "промежуточность" превращает их историю в череду сплошных потерь и поражений. В каждой из пяти главок романа судьба наносит племени недо-людей новый неожиданный и сокрушительный удар. Их побеждают воинственные амазонки, обирают хитроумные купцы, пожирают хищные звери, избивают дикие лошади. Стадное чувство заставляет их вслед за обезумевшим собратом тысячами бросаться в пропасть. Беспечное беспамятство приводит к пожару кормящего их леса. Племя кентавров становится всё малочисленнее, пока, наконец, вовсе не исчезает с лица земли. Немногие же уцелевшие попадают в плен к амазонкам, где постепенно погружаются в животное состояние.

При желании из "Посёлка кентавров" можно без особого труда "извлечь" аллегорический смысл. Да и сам автор не только не скрывает аналогий, но всячески помогает обнаружить их, особенно в конце романа, когда речь заходит о тоталитарном государстве амазонок с его Высшим Советом Всадниц

(ВСВ), собаками — энкеведами и идеологической нетерпимостью, помноженной на сверх милитаризацию. Собственно говоря, Анатолий Ким "проводит" в "Посёлке кентавров" нехитрую и не новую мысль о том, что народ, лишившись традиций и исторической памяти, утрачивает инстинкт самосохранения, становится беззащитным и, в конце концов, перестает быть народом, превращается в стадо, обреченное на одичание, рассеяние, исчезновение.

Прочитанный под таким углом, "Посёлок кентавров" легко "накладывается" не только на отечественную, но и на мировую историю, поскольку человечество повсеместно утрачивает связи со своими корнями и истоками. "Переосмысленный" миф, благодаря прозрачным (чтобы не сказать — расхожим) параллелям (будь то история коллективного умопомешательства, пожара или огромных жертв, заплаченных кентаврами за вводимую военачальником Пуду дисциплину), приобретает черты остросовременной антиутопии, еще одной вариации оруэлловского "Скотного двора". Впрочем, апокалиптическая притчевость стала в романистике XX века скорее правилом, чем исключением, что, с одной стороны, позволяет считать роман "современной формой моральной пропаганды" (Г. Г. Шпет), а с другой — приводит к возникновению романа-кентавра, в котором "аллегорический" притчевый "верх" вырастает из "пластического" изобразительного "низа".

Но содержание "Посёлка кентавров", конечно, не сводится к притче. Не будем забывать, что Анатолий Ким как бы представляет в отечественной литературе мифологический роман. Поэтому совсем неудивительно, скорее даже закономерно, что после зоомифологизма "Белки" он обратился к архаико-атавистическим образам античности. Ли-

тературе вообще свойственно вновь и вновь возвращаться к мифу, постоянно его осмысливать и переосмысливать. Другое дело, что в каждую эпоху она извлекает из мифологии нечто иное, эпохе созвучное. Прошло время истолкования образов Эдипа, Диониса, Сизифа... Концу столетия ближе оказался кентавр.

Уже одно то, как писатель трансформирует миф, может рассказать о многом. Анатолий Ким берет на себя роль исследователя, "реконструктора", задача которого – слой за слоем снять позднейшие напластования вымыслов и домыслов, чтобы под ними обнаружить и скрупулезно восстановить подлинную историю племени кентавров. Есть соблазн расценить этот опыт как еще одну попытку мифологизации романа. Однако и "аналитический" метод, и пессимистическое мировоззрение писателя очень далеки от мифологического мышления. Поэтому, если и стоит рассматривать "Посёлок кентавров" в контексте мифологического романа, то только как своего рода анти-миф, в котором всё вывернуто наизнанку, а "мифологизм", в основном, ограничивается темой.

Начать хотя бы с того, что Анатолий Ким обращается к побочной, вспомогательной, несамостоятельной ветви мифологии. Для древнего грека кентавр просто не мог быть центральным героем. Его удел – мыкаться где-то на краю ойкумены в ожидании победителя-человека, очищающего землю от всевозможных гидр, горгон и циклопов. Поэтому, наверное, фантастических чудищ почти нет в "Илиаде", где действие разворачивается в Трое, ставшей на время войны как бы центром мира. И так много в "Одиссее" (хотя и более поздней), героя которой рок носит по его окраинам. Миф синтезирует и предельно обобщает человеческий опыт. Роман же аналитичен, тяготеет к частностям,

стремится по фрагменту воссоздать целое. Этот, куда более близкий к научному, способ мышления отчетливо проявляется в "Посёлке кентавров".

Любая оформившаяся мифология сравнима с деревом, корни которого – несколько прародителей-патриархов, а крона – цветущий народ, управляемый могучими и славными вождями. У Анатолия Кима – обратная перспектива. Благоденствие, довольство, сытость у кентавров в прошлом. Настоящее и, тем более, будущее не сулят им ничего, кроме страданий и смерти. Недаром единственное божество, которому поклоняются кентавры – это легкая смерть, *сермет лагай*. Только она способна избавить их от муки жизни. Последний из уцелевших кентавров, оскопленный Пассий, играет в романе роль некоего анти-Адама, не начинающего, а замыкающего собою цепь времен, что недвусмысленно символизирует его мужское бессилие. И насколько мифы самых разных народов подчеркивают совершенство прародителя, настолько Анатолий Ким выпячивает его уродство.

"На материале" древнего сказания Анатолий Ким создает не миф, а роман в духе времени – не о сотворении мира, а о конце света. Естественно, и законы такого романа прямо противоположны мифологическим. И кажется, перед нами не попытка мифологизации романа, а напротив – романизация мифа.

После интеллектуальной, иронической, условной, остранный и проч. литературных манер первые же строки "Посёлка кентавров" притягивают и завораживают, казалось бы, давно сданной в архив почти эпической простотой и безыскусностью повествования: "Шум был изрядный, когда звероловы Гнэс и Мата привели амазонку в поселок, держа ее с двух сторон за волосы. Она моталась меж ними, визжа от ярости и боли, охотники же

поддавали ей передними копытами под зад, дивясь и радуясь тому, как же мягка в этом месте их пленница. Прискакали, дробя галопом по твердым дорожкам, со всех сторон кентаврионы и кентаврицы, взрослые и детвора, стали шумной оравой ловить оседланную лошадь, которая прибежала вслед за пленной хозяйкой от самого леса”.

Анатолий Ким бросил свежий взгляд на ”свежий” мир, и вдруг стереоскопическая изобразительность, дотошная детализация, внимание к оттенкам и полутонам – всё то, что в другой ситуации могло бы сегодня показаться избыточным – сделалось не только оправданным, но просто необходимым. За объективностью, с какой повествователь регистрирует мельчайшие детали, скрыто любопытство чужестранца, рассматривающего удивительную неведомую страну, где ”совсем еще розовый кентавренок, белокурый, с глубокой ложбинкой на отроческой спине... приподняв грибом свой кудрявый хвостик, со смехом несется по дороге, далеко обгоняя пыльное облачко, поднятое его копытами и несомое вслед за ним попутным ветром”, а суровая солдатиха-амазонка, ”с толстыми, как бревна, волосатыми ногами, грузная, с напозавшими на края меховых штанишек складками сала на брюхе”, после битвы с кентаврами, ”приподняв свою левую грудь, вытирает ею лицо, покрытое бранным потом и слезами”. ”Поселок кентавров” как бы удовлетворяет глубоко спрятанную тоску по ”полновесному” ”прямому” слову. Ведь получается, что всеведающей и многомудрой, ”условной” и ”телеграфной” современной прозе со всеми ее подтекстами и аллюзиями всё-таки сильно недостает и этого удивленного любопытства, и якобы бесцельного наслаждения мелочами.

Но по мере продвижения к финалу повествование становится суше и как бы конспективнее. Кар-

тина бледнеет, уплощается, выглядит всё более условной. От "рубенсовской" сочности не остается и следа. Вместо обвала деталей и подробностей, вместо щедрых красок и развернутых характеристик — лишь самое необходимое: "И тут как из-под земли появились перед кентавром два неких человека... с четырьмя пальцами на руках, но в коротких рваных штанах и с рабыми бронзовыми обручами на шеях". Вот и всё, что Анатолий Ким счел нужным сообщить о двух новых персонажах. Им словно овладевает скудость человека, нерасчетливо растратившего на первых страницах весь запас отпущенных на роман "изобразительно-выразительных средств".

Зато в тексте стремительно нарастает иносказательный смысл. Происходит как бы столкновение изобразительной и притчевой стихий, заканчивающееся к концу романа полным уничтожением первой. Эта подводная борьба двух течений прежде всего, конечно, отражается на стилистике "Посёлка кентавров". В полном соответствии с романной теорией М. М. Бахтина Анатолий Ким создает "многогласное, разноголосое, разноречивое, даже разноязычное явление". Вернее — пытается создать, играя "разнородными стилистическими единствами", для чего вводит в ткань романа многочисленные отступления географического, исторического, статистического, этнографического и проч. характеров, обращается то к жанру экзотического путешествия, то к социальной сатире, так что текст местами "отдает" Обручевым, а местами — Оруэллом. Но и тут роман о кентаврах снова оборачивается романом-кентавром, ибо стили (опять же по Бахтину) слишком далеко разведены и не "сочетаются в стройную художественную систему", не "подчиняются высшему стилистическому единству целого".

И тем не менее, несмотря на "раздерганность", неровность, даже некоторую недоработанность текста, "Посёлок кентавров" представляет собой как бы "другое", изолированное от нашего, пространство, внутри которого – свой счет времени, свои законы. Стилистическая же "лоскутность", с одной стороны угрожающая единству романа, с другой – как это ни парадоксально – в какой-то степени конструирует это единство. Анатолий Ким поставил перед собой задачу уложить в полсотни страниц материал, "тянувший" на эпос, для чего ему просто необходимо сгущать и спрессовывать текст. При таком противоречии, конечно, невозможно никакое "саморазвивающееся движение повествования" (Мопассан) с подробными характеристиками героев, развернутой мотивацией поступков, сложными сюжетными построениями. Всё это в романе сведено к минимуму, вынесено за скобки – в многочисленные отступления, где необходимые сведения изложены конспективно и сухо, в жанре не то справочника, не то репортажа. Но и "разнотилье", и фрагментарность, коробя наше эстетическое чувство, вместе с тем дают автору необходимую свободу, позволяющую вступать в сложные отношения с романным временем, при которых решительно непонятно, день или год проходят между двумя соседними эпизодами.

Окаймление и герметизацию особого, существующего по своим законам мира кентавров завершает такой нечастый в русской литературе прием, как разноязычие. Сконструированный Анатолием Кимом язык кентавров, как это, наверное, и свойственно языку дикарей, крайне примитивен. В его словаре наберется едва ли сотня слов, обозначающих, в основном, физиологические процессы (*текусье, ккапи*), съедобные растения (*лачача, веруська, мрыч*), людей и животных (*томсло, итанопо*). Много в

нем эмоционально окрашенной, экспрессивной лексики (*ипари няло кокомла, мяфу-мяфу, хардон лемге*), выражающей сильные и грубые чувства кентавров.

Можно, конечно, воспринимать лингвистические упражнения Анатолия Кима как некоторую шалость, но, кажется, сам автор относится к ним очень серьезно. Разноязычие, а вернее – создание писателем в своих целях и для своих нужд собственного языка становится одной из характернейших черт новейшего романа. Едва ли не первую, весьма еще робкую попытку в этом направлении предпринял Дж. Оруэлл в своем "1984". У Оруэлла, правда, действующим лицом романа был еще не сам "новояз", а только лишь его описание, однако, с тех пор писатели продвинулись в своих лингвистических штудиях далеко вперед. Вымышленные миры всё чаще описываются при помощи вымышленных языков. Появились даже книги (например, Дж. Р. Р. Толкина), неудобочитаемые без словарей, которыми, впрочем, авторы охотно их оснащают.

С одной стороны, здесь, конечно, просматривается непреходящее стремление писателя через "переназвание" освободить понятие от "стершегося" слова, возвратить ему первоизданную чистоту. Но с другой – сконструированный язык становится тем порогом, переступив который, читатель обнаруживает себя как бы "на чужой территории". Он неожиданно осознает свою беспомощность, начинает нуждаться в авторе уже не только как в рассказчике, но и как в переводчике. Словом, он попался, очутившись "внутри" загадочного и притягательного мира.

В тесном пространстве своего маленького "Посёлка..." Анатолий Ким стремится совместить множество противоречивых (а подчас и противоположных), но в равной степени свойственных современному роману художественных стихий: эпиче-

ский материал с компактной формой, мифологическое мышление с романским приемом, "притчевость" с "органичностью", репортаж со словесной живописью... Из разнородных частей он пытается создать единый организм - и тем самым "кентавризует" свое детище. Но подобная ситуация характерна, наверное, не столько даже для "Посёлка кентавров", сколько для современного романа в целом. В сегодняшней литературе нет, пожалуй, другого, более "впитывающего" и "всеядного", менее оформившегося и заостенёвшего жанра. Роман "берет свое добро там, где его находит", и не сразу, конечно, "переваривает" взятое. В "Посёлке кентавров" это его свойство проявилось чуть ярче и рельефнее, чем где-либо. И уже в силу своего непрерывного и бурного становления и развития современный роман обречен быть романом-кентавром, что, впрочем, свидетельствует не об ущербности и уродстве, а о трудностях роста, связанных с "переходным" и "промежуточным" состоянием жанра.

## Поэзия Николая Моршена

### 1. Раковина

Николай Николаевич Моршен родился в роковом для России 1917 году. Жил в Киеве. Память о родине, навсегда потерянной во время войны, двойится в его стихах: силе притяжения –

Лучистая, вся в белоголубом,  
Над тёмною весеннею рекою...  
(“Андреевская церковь”)

– здесь противостоит сила отталкивания:

Как круги на воде, расплывается страх,  
Заползает и в щели, и в норы...

Но нет защиты от этих всепроникающих радиальных волн! Поэт мастерски передает динамику их расширения, завершая стихотворение такими строками:

Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг...  
Как терновый венец или Каина знак –  
Круг полярный, последний, девятый...

Память и влечет и отвращает. Ибо это память о дорогой сердцу стране, чьи прекрасные черты искажены несвободой.

Был воздух свеж, и небо сине,  
Смеялись люди, проходя.  
А в полутёмном магазине  
Жил бюстик гипсовый вождя.

Мрачная аура, создаваемая подобными бюстиками и их прототипом, гнетуще действовала на сознание поэта. Но тогда бежать было некуда. Оставалось одно: уход в себя – создание духовного убежища. Что лучше раковины подходит для этой цели? И поэт неоглядчиво уходит в нее:

За окнами клики, знамена, салюты,  
И толпы гудят, как самум.

За окнами прочно стоит пресловутый  
Шум времени – временный шум.

Но эта квартирка, клетушка, каморка,  
Которую не проймешь.

Четыре стены и дверь как створка –  
И всё. И не всякий вхож.

Здесь строки вскипают Венерой из пены,  
Идут напролом, наобум,  
Рождая вневременный, вне современный  
Самодовлеющий шум.

Замкнутое пространство раковины таит выход в бесконечность. Такова топология духа. Николай Моршен рано обрел внутреннюю свободу. Уходя в свою раковину, он слушал гул вечности, – и этот опыт многое предопределил в акустической организации его стиха.

С темой раковины в творчестве Н. Моршена связан образ тюленя, который пробивает отверстие в сплошных льдах, уходя от безвоздушного плена. Поэту нечем было дышать в подсоветской России – непроницаемый панцирь страха сковывал всю страну. Оставалось только одно: уподобившись тюленю, сделать тайную отдушину. Первая книга поэта так и называется: "Тюлень". Вышла она в издательстве "Посев" в 1959 г. Название построено на параллелизме. Этот прием, восходящий к фольклору, получит у Николая Моршена особую философскую нагрузку: природа и человек у него

пересекаются не во внешних реалиях, а на уровне глубинных архетипов, первосимволов.

Молодой Моршен прошел через школу Николая Гумилева. В ней он получил навыки конкретного и точного письма. Почти программно звучат следующие строки:

Если б жизнь ощущать всегда  
Так объемно, свежо и плотно...

Это акмеистическая установка. Однако поэт рано почувствовал, что за объемом и плотью брезжит нечто иное: бестелесное, духоносное. Порой это иное начинает сквозить в пейзаже:

Пароход, прозрачный от огней,  
Выплывает из-за поворота.

Вещество здесь уже как бы дематериализуется, не теряя однако своих определенных контуров. Подобное сквозжение, просвечивание иного как бы нарастает в стихах поэта от книги к книге.

Настоящая фамилия Моршена – Марченко. О том, при каких обстоятельствах возник необычный псевдоним, поэт говорит в письме к Е. Витковскому: "После войны, чтобы избежать репатриации, "я был румыном" (так называется этот период моей жизни – четыре года) – по документам, конечно. Фамилию я выбрал загадочную, по которой нельзя было определить национальность". Война резким разломом прошла через судьбу поэта. Он потерял родину, но обрел свободу. Раковина стала ненужной, ледяная преграда растаяла. Однако счастье, которое принесла свобода, оказалось противоречивым. Оно никак не походило на блаженство – в нем возникли новые экзистенциальные напряжения. Такова трагическая диалектика свободы. Об это прекрасно сказано в стихотворении "Исход":

Покинув всё, пойдем со мной  
По пыльным тропам, дорогая,

На самый дальний край земной,  
Забыв, что нет такого края.

Тема края, предела – то есть, некоего экстремума в судьбе человека – перекликается с темой "пограничной ситуации" в философии К. Ясперса. Многие стихи поэта написаны как бы на порубежье бытия и небытия, жизни и смерти. Отсюда присущая им внутренняя двойственность, антиномичность. Традиции русской философской лирики Николай Моршен поднимает на новый уровень.

## *2. Двойное бытие*

После первого сборника у поэта вышли еще две книги: "Двоеточие" (1967) и "Эхо и зеркало" (1979). Между этими названиями есть тайное смысловое созвучье: как эхо и зеркало дwoят, повторяют мир, так и двоеточие есть своеобразная редупликация точки – преодоление ее "одинокости". И снятие содержащегося в ней указания на конец.

Пожалуй, не только в русской, но и в мировой поэзии есть лишь одно стихотворение, завершающееся, вопреки всем законам пунктуации, двоеточием:

Пусть нить, пусть тень, пусть отраженье,  
Но чтобы – двое!  
Я не хочу, чтобы движенье –  
Само – собою!

Я не желаю в одиночку  
Ни днем, ни ночью!  
Я смерть толкую не как точку –  
Как двоеточье:

В этих стихах поэт говорит о своей тени. Тут возникает естественная ассоциация с миром романтической повести Шамиссо. Однако поэт имеет в виду не столько физическую, сколько метафизиче-

скую тень – как бы своего внутреннего двойника, некое alter ego. Каждый из нас находится в таинственном симбиозе с таким двойником. Не будь этого двойника – и смерть была бы точкой: обрывом в нульмерное ничто, в пустоту. Однако в конце жизненного пути поэт надеется найти не точку, а двоеточие, за которым следует новый смысловой ряд, сегодня ускользающий от нашего уразумения.

Тема двойственности намечается еще в "Тюлене". Точный пейзажный образ –

Словно ласточкин хвост, за кормою

Разделяется надвое след –

получает своеобразное сюрреалистическое развитие: поэт чувствует, как раздваивается, множится его "я" – и как в нем возникают всё новые и новые двойники. Это и бухгалтер-графоман в колхозе; и учитель, лгуший ученикам; и палач, превращающийся в казнимого. Для многих стихов Моршенина недействителен закон тождества: "я" здесь не равно "я" – оно содержит в себе другого, других.

Круг обитающих внутри нашего "я" непрестанно ширится. Об этом говорит стихотворение "В пятом измерении", – поэт здесь оказывается вместилищем целого города, даже нации:

И каждое я – это мы,

И каждая былинка – это поле,

И каждое дерево – это лес,

И каждая особь – это вид.

Диалектика "я" и "мы" глубоко раскрыта в социальной философии С. Л. Франка, – можно предполагать, что ее влияние сказалось в процитированных выше стихах. Но они вызывают ассоциации с еще одним именем. Это М. М. Бахтин, выявивший принципиальную диалогичность слова: оно изначально предполагает адресата – оно мертво без собеседника. И если такового не находится вовне,

то "я" порождает его из себя: делится на две половины, создавая основу для внутреннего диалога.

Можно сказать, что подобное деление промоделировано Н. Моршеном графически или строфически – в стихотворении "Раздвойники" мы видим, как второе четверостишие неожиданно раскалывается – и от него уходят две цепочки укороченных четверостиший: левая и правая.

Удивительная бифуркация! Благодаря ей стихотворение зримо обретает структуру кантовской антиномии: строфы-тезисы противостоят строфам-антитезисам. Если первые строятся на точных и полных рифмах, то вторые связаны зыбкими консонансами – так через ткань стиха передается колебание судьбы между удачей и неудачей, надеждой и безнадёжностью.

И у бытия, и у стиха "ткань двойная" – в одноименном стихотворении поэт пишет:

Что без читателя поэт?  
Он монолог (вне разговора),  
Он охромевший Архимед,  
Лишенный подлинной опоры.

[...]

Что делать – так устроен свет,  
Не нам менять порядки эти:  
И пол, и полюс, и поэт  
Равно нуждаются в ответе.

Будучи явлением культуры, диалог имеет глубокие онтологические корни: он вырастает из глубинных дихотомий бытия – он опирается на бинарный код, принятый всей природой.

У каждой из частиц  
Есть собственная анти...

Возможность диалога заложена в самом фунда-

менте мироздания. Чуткое слово поэта вторит исходным диадам бытия, воспроизводит в своих структурах присущую ему биполярность. Об этом ярко свидетельствует стихотворение "Диалексика природы". Здесь не опечатка: именно диалексика – не диалектика. Хотя нет сомнений, что в оригинальном неологизме сращены два понятия: лексика и диалектика. Играя морфемами и фонемами, поэт высвечивает анатомию слова. Это – философическая игра. Благодаря ей наглядно выявляется: слово – диалектично.

К словам я присмотрюсь,  
Прислушаюсь, придвинусь –  
То вижу минус-плюс,  
То слышу плюс и минус.

[...]

В небытии есть быть,  
А в глухоте есть ухо...

Как рождается эта антитетика-смыслов, заложенная непосредственно в строении слова? Поэта интересует не описательная, а скорее эволюционная морфология корней, приставок, окончаний, формирующих семантику. Биологическая эволюция опирается на генетические механизмы. Интересно, что аналог этих механизмов действует и в движении самовитого слова, – о том с поразительной зримостью свидетельствуют стихи Николая Моршена.

### **3. Генетика стиха**

Во многих стихах Николай Моршен выступает как поэт-экспериментатор. Особенно это чувствуется в книге "Эхо и зеркало". Учебка у наших поэтов-будетлян тут очевидна. Но это была творческая учебка очень и очень самостоятельного уче-

ника. Во-первых, он весьма избирательно подошел к опыту русского футуризма, заимствовав у него повышенный интерес к биологии слова, которое способно расти, мутировать, скрещиваться с другими словами. Во-вторых, этот опыт он поверил разнообразными достижениями XX века: чувствуется, что поэт усвоил эстетику архитектурного конструктивизма; что ему близки аналитизм и парадоксализм новейшей науки; что он знает современную генетику. Так, он пишет о молекулах:

Они ликуя в пенный бьют там-там,  
Двойной спиралью генной завиваются...

Поэт очарован красотой этой спирали. Свою осведомленность о ней он обнаруживает на стр. 85 книги "Эхо и зеркало". Но задолго до того, как читатель приблизится к этой странице, он не раз поймает себя на мысли: смещения и комбинации слов у поэта напоминают некоторые генетические процессы.

Это случайная ассоциация?

Наверяд ли.

Ведь между явлениями жизни и явлениями слова наверняка имеется системная аналогия. Поэт обнаруживает эти скрытые от поверхностного взора параллели. Поэтому да не покажется парадоксальным наше утверждение: некоторые технические приемы поэта можно описывать в терминах генетики.

Огромное значение для эволюции имеет кроссинговер: перехлест сдвоенных генных нитей — и обмен участками в точках разрыва. Вот своеобразная поэтическая иллюстрация кроссинговера — строки Николая Моршена:

Ветвятся плети, струя змеится,  
Плетутся ветви, змея струится.

Если буквы в этом двустиишии заменить гене-

тическими символами, то мы получим нечто очень похожее на схему кроссинговера.

На пространстве всего стихотворения "Белым по белому" действует лексический кроссинговер. Слова перекрещиваются, рождая новые звуки и краски:

Сугробовая тишина.

Снеграфика. Снеготика.

В случае транслокации одна часть хромосомы присоединяется к другой. Но и в поэтической строфе возможны такие перекомбинации:

Заслышав трели реполова

И козодоя стон глухой,

Он их смешает с полуслова:

Тут – козолов, там – репо-дой.

При передаче генетической информации возможна делеция: выпадение целых блоков из генойной цепочки. На тонких эффектах делеции строится стихотворение Н. Моршена "Лириды. Девятая звезда":

Первая – алмазы в ней, но...

...рая – горстью серебра...

...тья – со всей прямолинейно...

...вертая – дугообра...

Или еще:

Но терпишь ряд усекновений,

Когда застигнет ночь врасплох:

От светотени – только... тени,

От вдохновенья – только вдох...

Смысл генетической записи может существенно меняться благодаря вставкам. Один лишний знак – и перед нами мутант. В детских и взрослых играх со словом встречается аналогичный прием. Вот интересное выражение Н. Моршена:

## Догматы религиозные.

Оно взято из стихотворения, имеющего характерное название "Поэтический мутант".

Огромную роль в процессах изменчивости играет инверсия: переворачивание слева направо – то есть зеркальное обращение – группы кодонов. Инверсия встречается на разных уровнях бытия. Ее художественные возможности давно выявлены и освоены культурой. Именно на инверсии строится палиндром, – интересные опыты в этом плане есть и у Николая Моршена. Замечательно, что переверт-ни изобрела совсем не поэзия, а природа – ведь генетическая инверсия в чисто структурном отношении ничем не отличается от палиндрома. Великим мастером поэтической инверсии был Велимир Хлебников. Николай Моршен выявляет новые возможности этого приема, обогащая и усложняя его элементами асимметрии. В стихотворении "О сходстве крайностей (Инверсированный спор)" игра со словом вновь ведется по правилам д и а л е к с и к и:

Где ты не видишь разницы,  
Там вижу я зарницы.  
Ты ищешь повод крыситься,  
А я б хотел искриться.

На тонких эффектах инверсии строится стихотворение "В поисках счастья":

Где Я выходит на первый план,  
Там только скука, туман, обман:  
рождение – Яйцеклетка  
жизнь – Ярмо  
любовь – Яд  
смерть – Ящик

А там, где я на заднем плане,  
Есть или счастье, иль обещанье:

Рождение – воля  
Жизнь – стихия

Любовь            - семья  
Смерть            - вселенная

От инверсии положения, занимаемого одной буквой, здесь радикально меняются ценностные смыслы. Будучи самоцельной, игра со словом оказывается сопряженной с весьма глубокими проблемами этики, аксиологии. А вот пример, когда через инверсию поэту удается передать горестный опыт своей судьбы:

... И видел, осознать не смея,  
Как превращалось в дабль-ю  
Былое М Кассиопеи.

Прокомментируем эти строки для тех, кто не знает астрономии. Созвездие Кассиопеи читается на русских небесах как гигантская буква М. Но живущие на Западе люди воспринимают ее инверсированно. Для них она - дабль-ю. Казалось бы, эти психологические тонкости незначительны, - однако, в контексте судьбы поэта они приобретают глубокий драматический смысл.

"В Начале было Слово" - говорит Евангелие от Иоанна. Да не покажется наше утверждение парадоксальным, но нельзя лучше выразить эстетическое кредо наших будетлян. Они внове ощутили первозданность Слова - и внове открыли его космическую энергию. В стихотворении "Недоумь - слово - заумь (Тристих)" Моршеном прекрасно выражен замысел русского футуризма, его идея:

До всех эонов, эр, эпох  
Весь мир был в Слове - тот и этот,  
И Слово означало - Бог:  
Начало, замысел и метод.  
Но по законам естества  
Тяжелой плотью стало Слово,  
И ты явился в мир, чтоб снова  
Перековать его в слова.

Миры рождаются из игры – свободно, спонтанно. Но нет сомнений, что в алгоритмы этой игры заложена диалектика, – благодаря ее творческим импульсам раздваивается единое; возникают противоположности; рождается гармония. Законы сохранения, основанные на симметрии; двойная нить ДНК; структура диалога, – на совершенно различных уровнях бытия мы видим осуществление одних и тех же диалектических начал. Отсюда изоморфизм этих уровней; таинственные параллели, переклички между ними.

Диалектика космоса повторяется в диалектике слова. Разумеется, это не механическое, а творческое повторение. И тем не менее, через микроскоп слова, его эволюцию мы можем постигнуть сущностные законы миротворения. Футуристический эксперимент со словом обнажает, делает понятными эти законы. Пусть перед нами формальная игра. Но пора осознать, что "игра" и "форма" – отнюдь не второстепенные, а ключевые понятия: без них невозможно осмыслить рождение и развитие нашего мира.

Показательна эволюция Н. Моршена: от акмеистических установок он движется в сторону футуризма. Точнее, неофутуризма. Исходные принципы тут получают более глубокое и четкое философское осмысление. Можно сказать так: неофутуризм Н. Моршена философичен. Поставленные им опыты со словом – разнообразные сдвиги, раскладки, смещения, совмещения – несут в себе большой смысл. Этот смысл не навязан извне – он имманентно заложен в самом слове – чтобы обнаружить его, надо привести слово в движение, что и делает поэт. Игра есть форма и способ такого движения. В ней слово как бы возвращается к своим истокам, сбрасывает накипь времени, рождается заново. И мы видим: в его новооткрытой глубине – как в не-

коем оптическом фокусе – просиял первосуший смысл.

Этот смысл хочет быть понятым – потому он активно пробивается к адресату.

Так возникает – или возобновляется – диалог: слово заряжено им изначально. Слово мертво без диалога.

Поэзии Николая Моршена присущ подлинный диалогизм. И диалектичность одновременно, – ведь диалог предполагает встречное течение тез и антитез, устремленное к синтезу. Одно из обретений XX века – в его триедином открытии:

Истина диалогична (М. Бахтин).

Истина антиномична (о. П. Флоренский).

Истина комплементарна (Н. Бор).

Именно такая истина содержится в Слове-Логосе. Николай Моршен посвящает ему прекрасные строки:

Среди орбит, среди лучей,  
Среди отсутствия вещей,  
Среди космической глуши,  
Среди кладбищенской тиши,  
Среди молчанья мирового,  
Ни с кем страданья не деля,  
Летит, кружит, поет Земля,  
Окутанная дымкой Слова.

#### 4. Философия параллелизма

Мы уже упомянули о том, что Николай Моршен охотно пользуется приемом параллелизма. В таких стихах, как "Русская сирень" или "Повисла ива у обрыва" аналогизирование природного и человеческого проявляется со всей очевидностью. Поэт говорит:

Есть объяснения несложные –  
Антроположно-биоложные.

Всегда ли несложные? Стихотворение "Волчья верность", содержащее в себе неявную параллель между зверем и человеком, кажется нам бездонным по смыслу. Это одновременно параллель-аналогия и параллель-антитеза: оценочные минусы (негативное отношение к волку нам внушено культурой) здесь постоянно трансформируются в плюсы (аллегорический подтекст заставляет уважительно думать о волке).

Ковылял с холодеющей кровью,  
С волчьим паспортом, волчьей тропой  
Из неволи в такое безмолвье,  
Что хоть волком в отчаяньи вой.

Первые две строфы лишь намекают на возможный параллелизм, уподобление. Но вот эта, третья, резко переключает движение смыслов: мы понимаем, что речь тут идет о характерах и судьбах, запечатленных в самых трагических страницах русской поэзии XX века ("Мне на плечи бросается век-волкодав..." – О. Мандельштам; "Обложили меня, обложили..." – В. Высоцкий).

Классический параллелизм всегда условен, аллегоричен, – поэтому в нем сохраняется определенная дистанция между природным и человеческим. Читая "Волчью верность", мы видим, как эта дистанция неуклонно сокращается, сходит на нет – и вот две параллели пересекаются, переплетаются, образуя сложный контрапункт. Происходит их своеобразное взаимоотождествление и сращение. Параллели перестали быть параллелями – как если бы они вышли за пределы эвклидова пространства.

Стройность вольных пары елей,  
Стройно-ствольных параллелей.

Это строки из стихотворения Н. Моршана "Ли-

нии. Геометрия природы”\*. Здесь поэт любуется четкой красотой земных вертикалей. Но вот эти вертикали он продолжает в космос – и мы видим, как утрачивается их параллельность:

Аквамариновые шпили  
Шли параллельно в эмпирей  
И в бесконечности сходились  
В равнобесцельности своей.

О сходящихся параллелях интересно рассуждают герои Ф. М. Достоевского в его романе “Братья Карамазовы”. Писатель предостудил: неизбежна новая – неэвклидова – модель мира. Переход к этой модели будет иметь весьма глубокие философские, этические и эстетические последствия.

И я вижу, что начала и концы  
В псевдозвклидовом пространстве –  
Это лишь мнимые координаты  
На времениподобной оси.

Сейчас мы процитировали стихотворение Моршенина “В пятом измерении”. Поэт знаком с теорией относительности, из которой следует волнующий вывод: пространство Вселенной должно быть неэвклидовым (=псевдозвклидовым). Правильнее будет говорить не просто о знакомстве поэта с неэвклидовым космосом, а скорее о глубокой адаптации к нему. Он освоил необычное пространство – в стихах его своеобразно моделируется геометрия этого пространства.

Что такое неэвклидово мышление?

Хотя данное выражение является метафориче-

---

\* Далее все литературные реминисценции автора статьи, связанные с теорией относительности и неэвклидовой геометрией редакция оставляет на совести автора, поскольку здесь не место обсуждать, насколько корректны здесь сами аналогии. – *Ред.*

ским, но оно точно схватывает главное: умение сближать, сталкивать в парадоксе явления, которые для обыденного восприятия являются своего рода параллелями – нигде и никогда не сходятся.

Поэзия Н. Моршена изобилует парадоксальными сближениями. О ней можно сказать так: она вся – разветвленный оксюморон. И в этом ее новизна.

Как будто время в ту минуту  
Внезапно повернуло вспять  
И, подгоняемое темью,  
Переходило в антивремя,  
Где все начала и концы  
Сближались, словно Близнецы,  
Где я, глазам своим не веря,  
Узрел в пространстве надо мной  
Под кровлей хижины одной  
И дядю Тома, и Лукерью.

Это строки из стихотворения "Семь часов без сна". В неявной форме они содержат код к поэтике Н. Моршена, – так сказать, его творческий манифест или программу.

Как показал В. И. Вернадский, пространство жизни имеет риманов характер, – то есть отклоняется от евклидовой геометрии. Уже цитированное нами стихотворение "Линии. Геометрия природы" открывается такими строчками:

Стала четырехмерность – объемностью синее  
И доступной трехмерному зрению вся.  
Прорезают ее перекрестные линии,  
Пере-пле-пере-та-пере-ю-щиеся.

Это сказано одновременно и о космосе, и о биосфере: их сопряжение тоже было открыто и изучено В. И. Вернадским.

Параллельное в неевклидовом пространстве становится перекрестным. Поэтому кроссинговер –

в его расширенном понимании – является законом жизни. Будь нити ДНК всегда параллельными одна другой – и эволюция была бы невозможной: она зиждется на перехлесте, перевиве, перекручивании параллелей. Какой топологически сложный узел вырисовывается в ее пространстве!

Поэзия Н. Моршена похожа на такой живой, пульсирующий узел. Она несет в себе мощный заряд витальности, – ей свойственна глубокая органичность, биологичность.

### **5. Жизненный прорыв**

Конструктивность является важнейшей чертой моршеновского стиха. Но это живая, а не механическая конструктивность – стих у поэта растет по законам живого роста.

В. Ф. Марков в предисловии к "Тюленю", прогнозируя будущее поэта, высказывал предположение, что Н. Моршена может увлечь "научная поэзия" (напомним, что понятие это введено в оборот Рене Гилем и подхвачено В. Брюсовым). Внешний антураж "научной поэзии" в поздних стихах Моршена налицо. Но в них нет и тени ее рассудочности, аналитичности, торжественной псевдосерьезности.

"Научные поэты" любят щегольнуть знанием физических формул. Н. Моршен тоже вводит в свои стихи формулы, – но делает это, как мастер игры: не для того, чтобы отяжелить стих ложной солидностью, а ради раскрытия той неисчерпаемой способности к метаморфозам, которая заложена в словах и буквах. Вот, например, как заканчивается "Недоумь – слово – заумь":

В начале было Слово там:  
СЕЗАМ

Крутой замес бродил в сезаме,  
Змеясь, жило в нем словопламя,  
Формировался звукоряд,  
И проявлялись буквосвойства.

СЕЗАМ

АЗ ЕСМь

АЗ Е = МС<sup>2</sup>

Сезаумь, откройся!

Угадываете знаменитую эйнштейновскую формулу, инкрустированную в стихи? Как органично она здесь мимикрирует под будетлянскую заумь! "Научная поэзия" тут непричем. Перед нами поэзия игры. И хотя у игры есть свои правила, но она не сводится к ним: в ней очень важен момент спонтанности, непредсказуемости, непреднамеренности.

Программа – и спонтанность...

Алгоритм – и нечаянность...

В диалектическом кроссинговере этих противоположностей – ключ к пониманию великой тайны жизни. И тайны игры: ведь два эти понятия пересекаются, перекрываются.

Кто в стихи глядит, как в воду,

Открывает, окрылен,

В них случайность и закон,

Подчиненье и свободу,

Тяжкий труд и легкий звон,

Смерти смех и жизни стон,

Словом, открывает он

(Словом открывает он!)

В них явление природы.

Хочется добавить: явление прежде всего живой природы. Мы процитировали "Открытие стиха" Николая Моршена. Оно и о диалектике, и диалексике одновременно.

Анри Бергсон ярко писал о "жизненном порыве". Это благодаря его таинственному импульсу

органическое отрывается от косного. Николай Моршен — поэт-виталист. Энергию стиха он черпает в "жизненном порыве".

Так и льется в жилы им  
Зелено вино,  
Зельем хлорофиловым  
Всё пьяным-пьяно.

Это можно отнести и к жилам-строкам стихотворения "Зеленый ренессанс". Оно растет посреди книги, как трепетное деревце. Поэту вняты напряжения жизни:

А лес — это схватка,  
Ходынка и хаос;  
И слабым несладко  
Там жить, задыхаясь.

Но дальше поэт как бы наводит лесной хаос на резкость, — и в нем постепенно, план за планом, начинает проступать стройность. Сложная, незвклидова стройность!

Бутон зелено-матовый  
Был взорван дивной силой,  
Не темной, внутриатомной,  
А зрячей, легкокрылой.

Так начинается стихотворение Н. Моршена "Урок ботаники". Цветок у поэта рождается из взрыва? Но здесь микрокосм вторит макрокосму: вспомним, что начало нашей цветущей Вселенной — в Большом Взрыве.

Это совместимо: взрывчатая энергия — и застывшая в себе гармония, бурлящее брожение хаоса — и размеренное вращение космоса; беспоконная асимметрия — и умиротворенная симметрия; темнота иррационального и ясность рационального. Одно здесь повергает другое, является его условием. И вот все эти противоположные моменты,

тенденции переплетаются в стихах Н. Моршена как лианы, сообщая им удивительную жизненность, биологичность.

В ранних стихах Н. Моршена "Последний лист" есть такая строфа:

Кувыркаются облака,  
Опрокинулось поднебесье,  
И такая во всем тоска  
Об утраченном равновесье.

Когда-бы это равновесье могло быть вечным! Жизнь вся соткана из неравновесных состояний и процессов. Возможно, эта ее фундаментальная особенность дает повод для экзистенциалистских настроений, — но ведь мы знаем и другое: жизнь умеет противостоять росту хаоса. Умеет благодаря своей неравновесности, асимметричности! Это ли не основа для мажорных чувств?

Хочу, чтоб создавало творчество  
Из бунта храмы, а не храмики,  
Чтоб побеждало смертоборчество  
Второй закон термодинамики.

И еще строчки из "Двоеточия":

Мы тоже можем грезить демоном,  
Но забываем то и дело,  
Что задается эта тема нам  
Не Лермонтовым, а Максвеллом.

Напомним: "демон" Максвелла вносит порядок в хаос. Синергетика показала нам, как природа это делает без всякого демона. По-новому осмыслив значение хаоса, современная наука адаптирует нас к неравновесной и асимметричной Вселенной. Разве в ней нет своей красоты? Для ее постижения необходима неэвклидова эстетика. Красота классическая, с присущей ей культом симметрии и равновесия, будет здесь частным случаем.

Некоторые стихи Николая Моршена как бы предвосхищают новую, рождающуюся на наших глазах, синергетическую картину мира. Вот начало его стихотворения "Рождение информации":

Ветер позёмкою поднял песок,  
Свистнул в расселину наискосок,  
Чайки заахали наперебой,  
Грохнул о берег трехрядный прибой.  
Умыслом? случаем? Самое лучшее  
Создано было из шума – трезвучие.

Понятие хаоса и шума во многом эквивалентны одно другому. Хаос – и космос; шум – и смысл: сама ткань многих стихов Н. Моршена рождается из взаимодействия этих начал.

...Пока  
Мы цепенеем над учебником,  
Природа ходит ходуном,  
Беременная словолшебником,  
Каким-то логиколдуном.

Слова надвинулись друг на друга – и полюса неисповедимо совместились. Настоящий поэт – именно логиколдун. Через сцепление слов здесь выразило себя сущностное двуединство творчества.

Как соединить противоположности?  
По завету жизни: в свободной игре.  
Затем в бессрочное владение  
Нам и дано воображение,  
Чтоб приходило всё в брожение,  
Чтоб всё играло, чёрт возьми!

Еще об игре:

Он сохраняет постоянство,  
Он не пропал, он вечно пан,  
Он вхож и в высший, в райский план,  
И в многомерные пространства,  
И в отвлеченные миры  
Для продолжения игры.

Это сказано о ямбе: его "двухсложный код иль ход" символизирует победу ритма над энтропией – в нем звучит пульс самой жизни.

Двухсложный, двухтактный пульс...

Вот что рождается в хаосе: этот пульс – бинарный код бытия. Стих действует как стетоскоп – помогает услышать сердце мира. Да будет ровным его биенье!

Нет, поэт не отрицает классической симметрии, – стихотворение "Двоичное исчисление" является данью ее красоте:

Слова сближаются, дыша  
Простой и сложной симметрией:  
Как R и Я, как т и ш,  
Или как Марфа и Мария.

Крест-накрест спаяны в стихе  
Четыре строчки и два эха,  
Как в золотистой шелухе  
Ядро волошского ореха.

Двоичное исчисление универсально. Оно – в двузначной логике нашего мира; оно – в генетическом языке природы; оно – в прекрасной парности полов. Это им задается и определяется гармония античного космоса.

Но поэт знает: этот хрупкий космос окружен хаосом! Именно на их границе рождается жизнь. И начинается творчество, невозможное без игры.

И, в хаосе почуя связь,  
Я в космосе нащупал ось.  
И с той поры живу смеясь,  
А следовательно, всерьез.

Н. Моршен говорит о поэзии:

Она и хаос претворяет в Слово.

Преображение хаоса! Жизнь в этой миссии

предшествует поэзии. Взгляните на ядро волошского ореха, воспетое поэтом: это сразу – и модель космоса, и аналог стиха. Изоморфизм тут становится возможным, благодаря универсальности двоичного исчисления. Вот его самое прекрасное, самое жизненное выражение – ритмика вдоха и выдоха:

То, ветер слушая, пишу,  
То – реполова-краснобая,  
То просто рифмами дышу,  
Их выдыхая и вдыхая,  
Как на душу положит Бог,  
И забывая об Эвклидах.  
Где рифма покороче – вдох,  
А там, где подлиннее – выдох.

Слово у Н. Моршена дышит. Оно живет. Но вот как завершается диалог Поэта и Художника:

**ХУДОЖНИК:**

Не знают смены поколений  
Оттенки линии, объемы,  
А слову угрожает тленье.

**ПОЭТ:**

Конечно: как всему живому\*.

Тема жизни неотрывна от темы смерти. В диалексическом словаре Н. Моршена есть прекрасное слово: с м е р т о б о р ч е с т в о. Как точно выразилось в нем космическое назначение жизни!

Линия жизни – длинная-длинная,  
С-а-м-о-п-о-д-д-е-р-ж-и-в-а-ю-щ-а-я-с-я...

И всё же на уровне индивидуальной судьбы эта линия однажды прерывается.

Или уходит в другие измерения?

---

\* Курсив Н. Моршена. – Ю. Л.

Проблема смерти знает свои противоречия, свои антиномии.

## **6. Аспекты смерти**

Вечная загадка смерти не получает у поэта однозначного разрешения. В сборнике "Двоеочие" мы находим самые разные – порой взаимоисключающие – подходы к ней. Смерть многолика. Как и жизнь.

Судя по стихотворению "Душа", поэт допускает возможность перевоплощения:

Мне гибнуть здесь, как гибнут сплошь  
Идущие путем творимым,  
А ты одна теперь пойдешь  
Назад за новым пилигримом.

Здесь бессмертна только душа, меняющая свои телесные оболочки. Однако через две страницы мы находим стихотворение, где описывается бесконечная жизнь во плоти. Но как тягостна эта бесконечность! Она несет с собой абсолютное одиночество и полноту забвения.

На следующей странице тема получает новое развитие, – после мучительных метаний поэт приходит к четкому и краткому выводу:

Но тщетно смертная рука  
Сжимает крест или ланцет:  
Отмены смерти нет, пока  
Замены нет.

В соседнем стихотворении снимается сам вопрос об отмене смерти, – ничто в нашем бытии недостойно продления или воскрешения:

К чему ж бессмертия прибой  
Потомку человечьему?

Живи, и жизнь твоя с тобой,  
Но воскресать в ней – нечему.

Перевернув страницу, мы находим стихи, оспаривающие этот пессимизм: в вечности воскреснет не только сам поэт, но и все его пращурь – даже древние рептилии.

Проявятся из серой мглы,  
Вещественны и непреложны,  
Все, как бы ни были малы  
И как бы ни были ничтожны.

Такой подход к проблеме воскрешения можно назвать максималистским.

Книга "Эхо и зеркало" кончается знаменитым "Nevermore" Эдгара По.

Никогда или всегда?

Не будем уличать поэта в противоречиях. Они есть. Но в них отразилась многоаспектность смерти.

Думается, что частичным разрешением этих противоречий является стихотворение-посвящение: "Аббату, завещавшему свои глаза слепому мальчику". Вот его мажорный финал:

Мы смертны все: аббат или поэт.  
Но как шумит бессмертие над нами,  
Когда, прозрев, слепой увидит свет,  
И мир, и небо нашими глазами!

Операция по пересадке радужной оболочки тут не причем, – хочется эти стихи прочесть как гимн духовному зрению. Подключаясь к нему через искусство, мы обретаем если не само бессмертие, то его великолепную иллюзию.

## **7. Колдовство и мастерство**

*Озаренье, точка зренья,  
колдовство и мастерство.*

*Николай Моршен*

Настоящее мастерство всегда производит впечатление чуда. Это для ремесленника: техника стиха. Это для художника: органика стиха. Техническое претворяется мастером в органическое. Поэтому стих у него обладает качеством цельности: не видно никаких швов, никаких заклепок. Всё слажено как в организме. Всё совершенно.

Стихотворение Н. Моршенина "Последняя ласточка" несет на себе печать высокого мастерства:

На ней, как на искомой точке,  
Подобно трем прожекторам,  
Скрестили огненные строчки  
Державин, Фет и Мандельштам.

Сложная метафора выстроена с изумительной точностью. Создается ощущение, что строфа родилась вся сразу – целиком, в законченном виде. Это отсутствие следов работы, шлифовки и есть первый признак мастерства.

Николаю Моршенину введена магия слов. Колдовство идет из подсознания – ему чужда всякая рассудочность.

Но за сверкающею гранью  
Течет прозрачна и черна,  
Таинственнее подсознания  
Медлительная глубина.

Многие образы поэта укоренены в подсознании. Но у них имеются и другие источники:

Есть подсознание. В эту тьму  
Во сне спускаемся мы просто.  
Есть надсознание. Самому  
К нему нащупать можно доступ.  
Но только млечный свет с небес,  
Упав на голое страдание,  
Ведет не в под-, не в над-, не в без-,  
Но в область вне- и сверхсознания.

Такова поэтическая метафизика Николая Моршена. Заметим, что это ёмкое стихотворение строится на варьировании приставок – перед нами предстает весь их широчайший семантический спектр. Скромные морфемы получают у поэта колоссальную смысловую нагрузку.

Итак, область сверхсознания...

Почему путь к ней идет через "голое страдание"? Н. Бердяев дал такую редакцию знаменитой декартовской фразе: "Страдаю – следовательно, существую". Корректива сделана в духе экзистенциализма, – эта философия века созвучна и Николаю Моршену.

Забывать, что зори пахнут кровью,  
Что ночи прячутся в груди,  
Что мы живем в межледниковье –  
Льды сзади, холод впереди.

Таковы координаты нашего существования. Мы в ледяных тисках тоски. Но игра раздвигает их! В этом заключается одно из призваний искусства.

Чудить способен только ум –  
Рифмую, ergo существую.

Это еще один вариант формулы Рене Декарта.

Интересно сравнить первое стихотворение в первой книге поэта – и последнее в последней: между ними и большой жизненный путь, и длительная эволюция стиля.

"Тюлень" открывается стихами, звучащими как эпитафия:

Он прожил мало: только сорок лет.  
В таких словах ни слова правды нет.  
Он прожил две войны, переворот,  
Три голода, четыре смены власти,  
Шесть государств, две настоящих страсти,  
Считать на годы – будет лет пятьсот.

Какая уплотненность событий! И какое сжатое, концентрированное письмо. Уроки акмеизма тут дополнены и опытом "парижской ноты", с которой впоследствии поэт будет полемизировать. Однако по динамизму и лаконичности письма процитированные строки вполне соответствуют критериям Г. Адамовича.

Но вот строфа из финального стихотворения в книге "Эхо и зеркало":

Между небом и землей  
Стала тропка та – судьбой,  
Где, свободой дыша,  
Пишет в пустоте душа.

Произошло своеобразное разрешение стиховой материи. Вместо густоты – пустота, вакуум. Конечно, пустота относительная, вакуум неполный: вещный мир не исчезает из стихов поэта. Но он преобразуется, становясь духоносным, невесомым. А где-то у предельной черты этого процесса и вовсе растворяется, сходит на нет.

И облаков белоперых стая,  
Перелетая... летая... тая.  
Земля остается далеко внизу:  
Лишь с родинкой на памятке лечу  
В чужбинушку свободного пространства.

Тема преодоления мира, с его плотностью и тяжестью, намечается уже в "Тюлене" – поэт устремляется туда,

Где прекращается земля,  
Стремглав обрушиваясь в бездну.

Сращенность с миром – и порыв к иному, за-предельному: эта коллизия тоже характерна для поэта. В чью пользу она разрешается? Скорее всего, что ни в чью: колебания тезы и антитезы, перепады между ними питают энергию творчества.

Поэт несомненно эволюционирует по направлению от мастерства к волшебству. То есть от внешней, чисто материальной культуры стиха к его глубокому одухотворению, высветлению. Это очень своеобразная эволюция, далекая от прямолинейности. Тут возможны круги, петли. Н. Моршен вовсе не отказывается от акмеистической установки на мастерство. Однако мы помним, что акмеисты старались остаться в рамках физического бытия, — тогда как Н. Моршен знает искус трансфизического, метафизического. Но и в этих измерениях он не отказывается от конкретного письма. Ибо знает: абстрактность губительна для поэзии. Как же выразить невыразимое, сказать о несказанном? Преображенному слову посильно решение этих задач. Чувя близость иного мира, поэт пишет:

В зрачках зверей, в закатном пламени,  
В сплетеньях трав, в наклонах гор  
Мне стали радостные знамения  
Являться с некоторых пор:  
Исчезновение зияния,  
Возникновение сияния,  
Преображения печать —  
С какими ениями, аниями,  
Звукословосочетаниями  
Попытаться их сличать?

Тут предощущается какой-то новый язык. Он снился нашим будетлянам. Дабы угадать его музыку, поэт слушает птиц, — ведь они ближе всех других существ к стихии неба. Как в музыке Мессиана, в стихах Н. Моршена постоянно раздаются птичьи ноты — они вплетаются в стих, становятся его органической частью. И здесь тоже есть колдовство.

То так, то ток,  
Таков мой такт —

Мастак, знаток  
Таких токкат\*.

Это передается музыка дятла. Но любимая птица поэта – "многоголосый пересмешник". Ему посвящены два одноименных стихотворения – они открывают и закрывают книгу "Эхо и зеркало". Случайно ли такое своеобразное обрамление?

Он так поет не ради смеха,  
А в силу свойства своего,  
И есть у зеркала и эха  
С ним ипостасное родство.

Поэзии Н. Моршена свойственно многоголосие, – поэтому его трудно уложить в привычные рамки. Это поэт-плюралист. Он верит в множественность вселенных, – ему чужда всякая унификация. Поэзия Н. Моршена полифонична. Не случайно он так любит центыны – заимствованные строки, вводимые в стих. Заметьте: они никогда не выглядят просто цитатой – им дается новая жизнь.

Поэтов можно и должно оценивать по коэффициенту присущего им внутреннего разнообразия. Возможно, здесь Николай Моршен занимает одно из первых мест в русской поэзии – созданная им Словселенная многозначна, многопланова и многомерна.

---

\* Курсив Н. Моршена. – Ю. Л.

**Михаил КОРНИЛОВ<sup>1</sup>**

## **Откуда и как я оказался на земле финнов\***

Родился я в Бордонском роду Абагинского наслега Олекминского улуса Якутской области. В 1888 году, в 11-м месяце. Я бы красочно и разнообразно описал жизнь якутов, живущих в Якутске, если б не моя недостаточная образованность. Так что не обессудьте, если язык мой найдете корявым, а рукопись написанной с ошибками.

В Олекминском улусе шесть наслегов, а живет в них 16000 душ. Живут люди, занимаясь животноводством, хлебопашеством, извозом грузов в места добычи золота. Олекминский улус тесно примыкает к Ленскому золотоносному краю. Поэтому все грузы, идущие из Якутского округа, Вилюйского улуса в золотые места, скапливаются в Олекме. Таким образом, уроженцы Олекмы зарабатывают на извозе грузов. Так что, почти все жители Олекмы живут в достатке, и те, кто не проматывает и не пропивает деньги, имеют состояние среднего размера.

Земля Олекмы состоит из пашен и сенокосных лугов, а люди строят чистые и большие усадьбы на русский лад, стараются расширить свои угодья... Те, кто проживает в тайге и в верховьях лесных рек, живут за счет охоты, продают добычу, а также держат скотину. В тайге и в поймах лесных рек луга не выкашиваются. В засушли-

---

\* В этой публикации полностью сохранена стилистика подлинника. — Ред.

вые годы, когда трава не родится, туда приезжают из центральных улусов, чтобы заготовить сено, а зимой пригоняют и кормят скот. Так что, хоть в какой неурожайный год кормов для скота бывает довольно. И хлеб растет всегда хорошо. Весь Вилюйский улус покупает его и кормится.

Что касается образования, то все школы русские, самая лучшая и большая школа имеет четыре класса, и еще есть двух- и одноклассные школы. Так что обучают исключительно на русском языке. Когда я учился, ребятам, разговаривавшим по-якутски, делали замечания. В городе Якутске есть высшая школа, Реальное училище о восьми классах, учительско-духовная Семинария. Таким образом, за последние годы среди якутов появлялось всё больше людей со средним и начальным образованием. Якутов с высшим образованием было немного.

Когда во втором месяце 1917 года царь был свергнут и произошла революция, якутский народ, люди образованные и те, кто не имел образования, испытали огромную радость и говорили, что наконец-то настала свободная жизнь, что раньше нас угнетал царь и русские господа, что теперь будем распоряжаться собой сами, заживем хорошо, свободно.

Взамен самодержавному государству пришло Временное правительство. Потом 10 октября того же года услышали, что в Москве власть перешла к большевикам. Той же зимой и в первом месяце 1918 года ушлые бэсилчики<sup>2</sup>, русские, организовали собрание и пытались изменить власть, хотели подчиниться Москве, считая, что власть должна принадлежать большевикам. Якутские интеллигенты посовещались и не сдали своих позиций, остались верными прежнему Временному правительству. Потом пошел слух, что в центре установилась большевистская власть. На это образованные якуты говорили, что власть большевиков недопустима, что в таком случае власть будет представлять интересы черни, неученых разбойников и обманщиков, что нужна победа власти

меньшевиков. Поэтому в Якутске собрали якутское войско, возглавил его русский офицер Бандалетов. Этот Бандалетов начал выступать и хвастаться, что о сдаче красным войскам не может быть и речи, что его люди не сдадутся, даже если явится большевистская армия, а будут сражаться. Затем избрали в Якутске власть под названием Областное Правление, смешанное из русских и якутов.

Затем он (Бандалетов. - *Ред.*) организовал войска из якутской интеллигенции, куда вошли молодые парни, поверившие рассказам Бандалетова, они сочли, что он может в одиночку победить целое войско красных.

Потом в мае месяце 1918 года стало известно, что в центре вся власть стала красной, что то же самое случилось и в Бодайбо. Потом явились войска красных. Чтобы завоевать Якутск. После чего услышали, что Бандалетов готовит свои войска. Затем в конце мая месяца с юга, с верховья реки на двух пароходах приплыли красные войска и захватили Олекминск, установили там красную, большевистскую власть, а в Олекминске войск не было, поэтому никто не сопротивлялся. Этим красным войском командовал некто Рыдзинский, а вошли в него сплошь пьяницы, выпивохи, разбойники, проживающие в Бодайбо, на золотых приисках. Увидев и услышав это, якуты решили, что действительно ничего хорошего из этого не получится. А этот самый Рыдзинский, захватив Олекминск, двинулся к Якутску, всего в его отряде было около ста пятидесяти человек. Олекминцы подумали, что храбрец Бандалетов не сдастся. Тем не менее вскоре пришло сообщение, что красный отряд Рыдзинского взял Якутск, также установил там красную власть, что Бандалетов без боя сбежал в тайгу, бросив войска. В перестрелку вступили около тридцати солдат из якутов, стоявших на карауле, но красный отряд, убив их, захватил город. Таким образом вся Якутская область оказалась под властью большевиков.

Спустя два месяца в Сибири большевистская власть

была свергнута и установилась власть Колчака. После чего в декабре 1919 года власть опять перешла к большевикам. Ну вот... мелких, неизвестных людей сделали начальниками, их приняли в партию большевиков, чтобы они громили богачей, недалеких людей пригнали и сказали: самых лучших и видных людей, которые стояли над вами и предводительствовали, унижьте и, творя произвол над ними, раздавите. Собрали и притащили наемных работников, одетых в драные дохи, и сделали комиссарами.

И вот, установив большевистскую власть, начали грабить богатых, денежных, имеющих много скота, отнимая у них имущество и скот. Тех, кто спрятал свое богатство, деньги, золото, били железными шомполами и отнимали спрятанное. А тех, кто не признался под шомполами, лишили жизни. Образованных и благородных якутов, не присоединившихся к большевистской партии, схватили за инакомыслие, посадили в тюрьму и завалили черной землей.

Когда всё это случилось, лучшая, высокообразованная часть якутского народа, все заметные молодые люди настроились против власти большевиков.

Чекисты города Якутска, увидев, что якутская интеллигенция не примкнула к коммунистической партии, и в нее стали ступать какие-то мелкие, незначительные, полуграмотные людишки, стали относиться к якутской интеллигенции враждебно, кого хотели арестовать - арестовывали, кого желали расстрелять - расстреливали.

Поэтому якутская интеллигенция в 1921 году подняла на ноги всех якутов и начала войну против власти большевиков и коммунистов, два года сражались почти что голыми руками, вооруженные старинными кремневыми ружьями, и только в последний год победили красных и полностью вооружились. Создали в Таттинском улусе якутскую автономию во главе с так называемым Областным Управлением. Летом 1923 года для их подавления из Москвы направили большой отряд, который с множеством пушек воевал и разогнал якутские войска в разные

стороны. Но они не сдались и сражались то там, то здесь. И тогда коммунистическая власть применила политику обмана и выпустила манифест. Дескать, всех, кто добровольно сдался, судить не будут, снабдят деньгами и продовольствием и отправят жить на родину. Дескать, теперь новая политика, провозглашена свобода жизни и торговли, и если кто виноват, того не судить, и мол то же относится к тем, кто был на войне, убивал красных, имел богатство, был скот, те имеют право распоряжаться своей собственностью. Якобы советская власть объявила широкую амнистию, создала условия для свободной жизни, будто преступники суду не подлежат, кто совершал ошибки - прощаются, на всей земле наступила справедливость.

Поверив этому, якуты сложили оружие, отреклись от враждебных мыслей, подумали, что и вправду те пришли к хорошему решению, начали жить мирно, заниматься торговлей.

Когда это произошло, долго ли, коротко ли прожили они, большевистская власть, люди из Чека начали истреблять образованных, самых выдающихся молодых людей якутского народа, принялись оказывать давление и уничтожать наилучших людей среди богатых.

И тогда в 1926 году якутская молодежь с образованием, хорошим происхождением и воспитанием, решив, что такая жизнь не годится им, прикинула, чем всё это грозит в будущем, и составила тайное общество против власти русских большевиков.

Первая идея была такая. Якутский народ должен получить самоопределение, стать отдельной республикой, иметь собственный суд и закон, русские власти из центра не должны вмешиваться в дела якутского правительства, вся якутская земля, ее полезные ископаемые, всё, что на ней производится и произрастает, все ценности, скот, леса и угодья должны принадлежать якутам. Это общество втайне действовало больше года. Организовали и руководили обществом образованные якуты: Василий Васильевич Никифоров, Павел Васильевич Ксенофонтов, Сергеев и

другие образованные люди, которые все раньше сражались против власти большевиков.

На 15 августа 1927 года назначили восстание против власти большевиков... В июне приехал в Олекму Сергеев, здесь он также собрал людей, к которым примкнул и я. Меня уполномочили собирать людей в Вилюйских улусах. Потом наступил июль. В городе началась ярмарка. И тут Сергеева внезапно арестовали и посадили в ГПУ, а также Артинова, Габышева Л. Л., потом стало известно, что в Якутске начали арестовывать всех образованных; нас, других примкнувших в Олекме, не арестовали, видимо, не успели узнать. Из наших сбежал Сокоуротов.

Оказывается, когда в Якутске начались повальные аресты среди образованных людей, участвовавших в прежнем восстании, некоторые из них скрылись; сбежав, они объединились, чтобы восстать против власти коммунистов и большевиков. Возглавляли их Ксенофонов П. В., Артемьев, Михайлов и другие образованные люди. Направившись в якутские улусы, собрали войско, вооружились оружием, спрятанным во время прежнего восстания, и объединили вокруг себя около пятисот-шестисот повстанцев. Затем, захватив два улуса, провозгласили отдельную Якутскую Автономную Республику. После чего, решившись вступить в войну с большевистскими войсками, находящимися в Якутске, потребовали отдать власть якутам. На что большевистская власть выслала против них войска. От страха те, конечно же, не воевали, а выжидали, только не подпускали к Якутску. Потом направили делегатов, чтобы договориться о мире, мол, так будет лучше. Дескать, если согласны на мир, то никто осужден не будет, потом, если у якутов есть обиды и жалобы, ЦИК из Москвы обещает улучшить жизнь якутов, что народу якутскому не стоит проливать кровь, кто сдастся - тому выдадут деньги, одежду, продукты, засим всем предлагается сложить оружие и разойтись по домам, жить на местах своей жизнью.

На что якутский народ, как всегда из-за доверчивости

и наивности, решил, что они и по правде решили прекратить убивать и грабить якутов, сложил оружие, разошелся по домам. После чего, спустя семь-восемь дней, ГПУ-шники переарестовали людей, участвовавших в восстании, включая и тех, кто не участвовал, но был заподозрен во враждебных настроениях. Затем из Москвы прибыла комиссия во главе с представителем ЦИКа Полуяном. Люди, услышав о приезде московского начальства, воспряли духом, надеясь, что произвол коммунистов и ГПУ-шников Якутска будет выведен на чистую воду.

По приезде этой комиссии, через два дня людей стали выводить из тюрьмы и без суда и следствия расстреливать, также сажали в тюрьму тех, кто вел себя тихомирно, исключительно якутов, по всей Якутской области.

У нас в Олекме тоже начались аресты, арестованных отправляли в тюрьму города Якутска. Меня арестовали сразу после моего прибытия с Алданских приисков.

Теперь о том, как меня арестовали, как я ехал, как оказался в Соловецком лагере и сбежал в страну финнов.

На вторые сутки после прибытия из Алдана, 8 марта 1928 года, примерно в шесть часов утра я еще лежал в полусне, когда в мой чулан с ружьями наизготовку ворвались трое русских. Они сказали: "Вставай, одевайся, мы пришли делать обыск". После чего перевернули наизнанку весь дом и амбар, однако ничего не нашли. Затем мне заявили: "Теперь ты арестован, мы везем тебя в город". Заставили меня запрячь моего рысистого жеребца, после чего повезли меня, оторвав от родины, семейного дома, родственников, детей и жены.

Привезя в город, посадили меня одного в одиночную камеру. Семь суток я лежал один. Затем меня перевели к другим заключенным. Всего нас в камере было девять человек. На всех завели дело, однако никому не сказали, кто в чем обвиняется. Потом спустя две недели стало известно, что в Якутске расстреляли множество людей. Нас, арестованных, охватили тревожные мысли, оказы-

вается, незадолго до нашего ареста одного бывшего повстанца, расстрелявшего коммунистов, арестовали и изрубили шашками. А потом составили дело, будто расстреляли его при попытке к бегству. Ну, мы, лежа в заключении, подумали, что под разными предложениями задумано уничтожить якутский народ. Спустя почти месяц всех стали поодиночке водить на допрос, а меня допрашивали о следующем.

Вызвав из камеры, ввели в тюремную канцелярию. Когда привели, там сидел русский парень, положив наган на стол. Как только я вошел, он вскинул на меня глаза и спросил: "Это ты Корнилов М. Ф.?" "Я", - отвечаю на это. "Что ты знаешь о восстании?" - спросил он. "А что мне знать", - говорю. На что он сказал: "Может быть, ты примкнул к восставшим потому, что был богат и разделял их мысли?". На что я ответил: "Олекминский улус лежит в 500 верстах от места восстания, так что для меня бессмысленно ехать в такую даль, чтобы примкнуть". А он после этого сказал: "У вас было тайное собрание в доме Худаевых, говорят, что там вы собирались устроить засаду, перестрелять войска, едущие с юга, забрать их оружие и свергнуть в Олекме советскую власть. Признавайся, что у вас существовал такой заговор. Если даже не захочешь признаться, у нас есть свидетели, так что будет лучше, если признаешься".

"Что ж они раньше-то не свидетельствовали, если знали о таком страшном заговоре? Так что, если свидетельствуют, то дают лживые свидетельства. Я считаю, что их показания, данные спустя четыре-пять месяцев, учтены быть не могут. Мои недоброжелатели могут свидетельствовать о чем угодно. Может быть, вы устроите мне с этими свидетелями очную ставку?". Он сказал: "Очную ставку не дадим. Признайся без всяких, тебе же будет лучше". Я ответил: "Не хочу давать ложные показания против себя. Можете судить, если сочтете, что мое непризнание - заведомая ложь. Я не в силах противостоять этому". Только тогда он сказал: "Допрос окончен", - и меня снова отвели в тюрьму.

Всех, кто здесь сидел со мной, обвиняли в одном и том же. Вскоре услышали новость. Оказывается, заключенных Якутской тюрьмы, которых не успели расстрелять, отправляют на юг в ссылку, в том числе и нас.

11 июня 1928 года, около девяти часов утра дверь камеры распахнулась. У выхода возник начальник тюрьмы с бумагой в руках и сказал: "Корнилов, Андрианов, Шараборин, Туралысов, Джегустуров. Вас пятерых отправляют. На пароходе, который прибудет сегодня в полдень. Так что собирайте одежду и вещи". Услышав это, мы собрали свои пожитки, простились с сокамерниками и приготовились к отъезду. Около двенадцати явился конвой и вывел нас за ворота. Поклажу погрузили на телегу. Затем пятнадцать или шестнадцать вооруженных солдат окружили нас и погнали по улице. На улице собралось множество народу, поджидавшие нас родные и жены шли за нами следом. Когда нас пригнали на речной берег, мы увидели там пароход с одной баржей. Загнали нас туда. Только оказавшись там, мы увидели, что берег запружен толпой людей. Их сдерживают, не допуская вперед, красные солдаты. Затем нас как следует обыскали и спустили в люк баржи. Спустившись вниз, мы обнаружили там якутов. И знакомые, и известные, и не известные нам, а также четверо уроженцев Олекмы: Кулаев Г., Худаев К., Алас и Сергей (поп). Тут нам пятерым выделили места рядом с нашими людьми. Никаких расспросов не было, все мы были братья по несчастью, так что сидели, как в воду опущенные.

А затем, спустя полчаса, нас вызвали наверх, сказали, чтобы мы вышли на свидание с родными. Когда мы вышли на палубу парохода, там стояли наши близкие и несчастные жены. Разговор с родственниками толком не получился, жены только и знали, что рыдали, один час свидания пролетел как одна минута. Потом нас разъединили и отконвоировали обратно. А бедные наши родные с плачем и воем вышли вон.

Затем около трех часов вечера пароход наш наконец

тронулся в путь. Несчастные наши жены, родственники проводили нас воплями, стонами, рыданиями, криками. Оторвав от родины, от домашнего очага, родственников, дорогих детей, любимых подруг, нас увезли вдаль. Просторный и драгоценный наш зеленый луг остался позади, зеленея. Наш драгоценный Кысыл Быраан остался позади, краснея. Вверх по реке Лене, мимо нашего улуса, прямо через наш наслег увезли нас.

В нашем отсеке всего ехало около восьмидесяти заключенных, на другой стороне столько же, так в целом на пароходе везли около ста шестидесяти человек. Здесь были и образованные, и неграмотные якуты, а еще шестеро русских офицеров. Также были дряхлые старики, которым минуло восемьдесят лет, были и больные, умирающие от чахотки люди. В нашем отсеке очень душно, днем жаримся, как в парилке бани, а отхожее место здесь же, поэтому стоит невыносимая вонь. На второй день нас вызвали наверх и зачитали приговор. Оказывается, нам присудили отбывать наказание в Соловецком монастыре сроком от пяти до десяти лет. Почти все, кто ехал на пароходе, были приговорены на это. Только несколько человек ехали просто так, без приговора. Когда миновали город Витим, днем пароход остановили на дровяной пристани, где нас вывели на берег, дали проветриться в окружении солдат ГПУ, вооруженных ружьями и пулеметами.

На пятнадцатые сутки мы прибыли на станцию Жигалово у верховья реки, где нас выгнали из парохода. Отвели в пустующий амбар и замкнули в нем. Там мы ночевали. Наутро нас опять выгнали из амбара, построили на дороге в пять рядов, после чего начальник конвоя сказал: "Дальше пойдете пешком до города Иркутска. Если кто попытается сойти с дороги и убежать, того конвой расстреляет без предупреждения. Так что шагайте туда, куда вас направит конвой. Никуда не уклоняясь". После этого нас погнали. Постельные принадлежности наши везли на конных телегах. В тот день стояла не-

возможная жара, а мы поначалу взяли довольно быстрый шаг. Однако около полудня, когда приближались к какой-то станции, два старика, одна старуха и один русский офицер, упали в обморок. Их привели в себя, облив головы холодной водой. Там же дали передохнуть. Потом опять погнали. Под вечер мы остановились у второй станции. Здесь стали устраиваться на ночлег. Загнали нас в один двор. Там завели в какой-то хлев и заперли. Внутри было очень много навоза. В одном углу лежала куча соломы, мы взяли и расстелили ее прямо на навозе и устроили постель. Лежали тесно, бок о бок. После чего втащили нам одну бочку и сказали, чтобы мы в нее испражнялись. Запах скотского навоза и наших испражнений был так отвратителен, что нас тошнило.

А питание было такое: мы должны были на свои деньги покупать на станции молоко и хлеб. Другой пищи не было. Да и эта доставалась с трудом.

Путешествовали следующим образом: через каждые пять рядов, на два шага позади шел солдат с ружьем наизготовку. Снаружи стояли конные конвоиры. Позади колонны двигались пятьдесят солдат с ружьями на плече. На конной телеге ехали солдаты с пулеметами и подгоняли нас. Тех, кто отставал и плелся позади, били прикладами ружей и заставляли догонять. Тут больше всего побоев досталось старым людям, также одной старухе и двум девушкам. Когда они пожаловались об этом начальнику, их перестали погонять с пристрастием и позволили идти чуть помедленнее. Вот таким пешим ходом за семь дней мы пришли в город Качуг, что в верховье реки.

Здесь мы отдыхали одни сутки. Здесь было довольно свободно с едой, мы накупали ее и наелись. Тогда начальник конвоя сказал: "Если согласны платить половину прогона, я найму телеги. Тогда до Иркутска доедете сидя. Все люди обрадовались. На следующий день приготовили телеги, мы покинули Качуг и поехали по земле бурятов. Тут нас на ночлег стали оставлять в довольно-таки пристойных помещениях. В старом хлебном амбаре, в пу-

стой школе. На местах ночлега из любопытства к нам хотели подойти буряты, но конвоиры ГПУ не подпускали. На телегах ехать было несколько удобней. На шестой день такой езды мы прибыли в Иркутск.

В городе Иркутске задерживать нас не стали, согнали с телег и через весь Иркутск повели на железнодорожную станцию. На железнодорожной станции нас разделили на группы. Тех, кто направлялся в Соловки, собрали отдельно, группой около ста сорока человек. Была группа примерно из тридцати человек без приговора, направляемых в Новосибирск, а также было около двадцати человек, едущих в ссылку в Нарымский край. После чего под вечер нам позволили закупить на свои деньги продуктов сколько хотелось.

Мы покинули Иркутск в тот же вечер. Нигде не останавливаясь, прибыли в Новосибирск. Там нас выгнали из вагонов. Людей, остающихся в Новосибирске и едущих в ссылку, отогнали. Нас, направляемых на Соловки, вывели в поле и держали весь день под охраной. Под вечер подогнали вагон и посадили нас в него. Затем ночью мы поехали. Ехали через разные города. Когда мы стояли в городе Перми, к нашему вагону подогнали заключенных, человек шестьдесят киргизов, среди которых было несколько русских. Рядом истошно рыдали женщины и старики, видимо, то были близкие этих людей. Кажется, начальник нашего конвоя отказался принять этих людей. Их опять построили около нашего вагона и погнали. Так что мы поехали. На девятый день пути из Иркутска мы приехали в Ленинград. Там нас выгнали из вагона и посадили в другой вагон. Здесь нас принял другой конвой, из Ленинграда. В тот же вечер мы тронулись в путь.

На второй день прибыли в место, называемое остров Кемь-Попов. Там, на берегу моря, было несколько домов, и нас там остановили. Выгнав из вагона, построили. Здесь нас поджидали совсем другие вооруженные люди, одетые в короткие серые шинели с черными нашивками на рукавах, внешне похожие на смесь тюрков и русских. Они

приняли нас из рук доставившего конвоя. После чего построили по пять человек, затем один похожий на кавказца толстоватый мужчина, видимо, их начальник, сказал речь: "Слушайте внимательно", - сказал он. - "Теперь вы приняты в Соловецкий лагерь особого назначения. Поэтому пойдете туда, куда мы вас погоним. Тех, кто в пути сделает шаг в сторону, конвой расстреляет без предупреждения, так что шагайте смирно". После чего конвою отдали команду, и те, наставив ружья на нас, заставили нас взвалить вещи на спину и погнали.

Примерно через два километра увидели мы большие деревянные бараки, нас остановили и загнали в один барак с проволочным ограждением. Снаружи стояли вооруженные солдаты. Заведя во двор, нас заставили сложить вещи в одну кучу. После чего построили в пять шеренг. Затем один человек с блестящими черными глазами, с черной нашивкой на рукаве, нарочно огрубляя голос, сказал: "Здесь, на Соловецком острове, находится трудовой лагерь ГПУ. Поэтому все, кто прибыл в Соловецкий лагерь, обязаны полностью исполнять все порученные работы и задания. Непокорных тут достаточно быстро учат быть покорными. Сейчас выйдет господин начальник, посмотреть на вас, вы должны встретить его так. Как только он воскликнет: "Здра, рабочая рота", - вы обязаны крикнуть: "Здра", - кричать как один человек". После чего он поорал сам, обучая нас. Мы кричали целый час. Он упрекал, что мы не умеем кричать, и заставлял кричать раз за разом. Потом построил нас и вошел в дом.

Тут мы стояли около трех часов. Потом учитель по крику выбежал и сказал: "Господин командир уже выходит". Строевым шагом вышел довольно высокий русский парень с выпяченной грудью. Он встал против нас и заорал: "Здра, рабочая рота". Мы все крикнули: "Здра". Крик не был похож на вопль одного человека, кричали нестройно. И тогда он приказал нашему учителю по крику: "Научи их кричать "здра" как следует".

Опять больше часа прежний крикун учил нас кричать

"здра". После этого нас загнали в барак. Когда вошли, ощутили ужасный запах, приглядевшись, увидели, что стены были облеплены клопами, как замазкой. Тут нам сказали: "Вы все ползайте под нары, сегодня из Москвы прибывает большая партия заключенных, так что вам там будет очень удобно". Что делать, разве поспоришь здесь, мы начали вместе с пожитками лезть под нары и устраиваться на ночлег. Как только улеглись, вошел парень-уборщик, не то русский, не то хохол, полез под нары и пинками тесно уплотнил нас. Таким образом всех якутов, около ста сорока человек, запихали под нары. А нас, стоило нам лечь, сплошь облепили клопы, не оставив на одежде и теле ни одного свободного места, и нам показалось, что лежим в огне.

И вот, лежа здесь, под нарами, мы, якуты, сникли духом, безумно отчаялись, решили, что они привезли нас в этот край, чтобы заживо замучить и погубить.

Затем около полуночи привели множество народу и построили во дворе. С полуночи до восхода солнца их заставляли кричать "здра". После чего вогнали к нам в барак, всего около двухсот пятидесяти человек. Когда они зашли, в бараке было негде стоять и сидеть. Действительно, мы, лежавшие под нарами, устроились весьма удобно. Около шести утра всех нас, около четырехсот человек, выгнали во двор. Затем построили в несколько рядов, вышел начальник и раза два-три заставил прокричать "здра". После чего появилось около десятка парней с сумками под мышками. Каждый из них брал по сорок-пятьдесят человек и уводил с собой. Нас, якутов, погнали два десятника, к каждому из которых был придан конвой из трех вооруженных солдат. Наш десятник, построив нас на берегу моря, недалеко от барака, под охраной трех конвоиров, сказал так: "Вы находитесь в Соловецком лагере особого назначения ГПУ. Здесь вы не сыщете ни суда, ни закона, ни ответа на жалобы, всё зависит лишь от начальства Соловецкого лагеря. Поэтому в лагере вы должны беспрекословно делать и выполнять всё, что

прикажут младшие и старшие по чину начальники. Кто будет прекословить, того устрасит солдат с ружьем, а кто будет упрямиться, того исправят битьем железными полыми трубами, а кто полезет на рожон, того похороним в море. Так что без лишних разговоров надо послушно работать, чтобы не обречь себя на муки". После чего он заставил нас выволакивать на сушу бревна, прибитые морем к берегу. И вот мы все вместе, и сильные и слабые, начали, барахтаясь в грязи и воде, вытаскивать бревна. Около полудня нас пригнали в барак и дали кипятку и по триста грамм хлеба. Дав перекусить, погнали обратно на работу, отчего люди - и русские, и якуты - к вечеру совершенно обессилели. Два еврея упали в обморок, их привели в чувство и отогнали обратно в барак, а один русский тоже упал, и когда подошли к нему, то увидели, что он уже умер; перекинув через палку, его унесли прочь.

Вот тут мы с полудня до полуночи трудились без глотка воды. Почти все от усталости еле волочили ноги. Совсем изнемогших людей в полночь пригнали обратно в барак.

Придя в барак, мы, якуты, залезли под нары и уснули мертвецким сном, совершенно не чувствуя укусов клопов и блох. Лица и тела наши покрылись кровью из-за того, что мы руками давили напившихся крови клопов.

Вот в таких мучениях мы работали семь суток, а питание было следующее: утром кипяток и 100 гр. хлеба, а днем - около полудня - 200 гр. хлеба, вот и всё.

И вот тут за семь дней накопилось много людей разных национальностей. Тех, кто отказывался выходить на работу, били прикладами и заставляли идти, а кто прекословил, того били по лицу.

Здесь были всякие люди: бесшабашные головы, жулики, воры - все они не давали свободно дышать никому. За семь дней такого труда мы, люди другой национальности, дошли до того, что еле стояли на ногах.

На восьмой день, наконец, людей начали увозить. Нас,

якутов, отправили: тридцать человек в Ухту на строительство дороги, двадцать - в город Кемь, семьдесят - на Соловецкий остров в монастырь, нас десятиерых оставшихся препроводили в место, называемое Чупа. Вот так нас, якутов, раскидали кого куда.

Когда мы прибыли в Чупу, оказалось, там было около ста пятидесяти заключенных. Работа, которую нас заставляли делать, была такая: вытаскивать из воды морского залива прибитые к берегу небольшие короткие бревна, взвалив на плечи, относить их метров на сто, пересекая железнодорожное полотно. Каждый человек должен выполнить свой дневной урок: сложить штабель длиной в шесть, высотой в полтора метра. Людей, способных выполнять такой урок, бродя по грязи и жиже, немного. Тех, кто не справился с уроком, в барак не пускают и здесь же под присмотром заставляют доделать. Тех, кто не смог управиться за ночь, отводят в карцер и запирают. Тех, кто после этого пререкается и ведет себя непокорно, бьют палками...

Режим работы следующий: в пять часов утра подъем, на завтрак дают горячую воду и некое подобие каши. Она черная и имеет столь отвратительный вкус, что еле проходит в глотку даже умирающего от голода человека. В шесть часов всех выгоняют на развод, где сперва кричим "Здра", потом, после проверки, приходятдесятники и под конвоем уводят на работу. Около полудня пригоняют обратно на обед, дают по 400 гр. хлеба и что-то вроде жидкого супа без мяса, а также немного каши из крупы сечки. Покормив так, опять гонят на работу.

В первый день мы, якуты, не справились с уроком, поэтому нас заставили трудиться до двух часов ночи. Потом, через день или два, мы научились заканчивать работу при свете дня. Тех, кто сделал свой урок, гонят в барак. Если ты успел справиться рано, можешь отдохнуть и получаешь восемьсот граммов хлеба. Никакой одежды нам не выдали, одежда, которая была на нас, износилась и обтрепалась от пребывания в грязи и воде, обувь порва-

лась, и ноги выглядывали наружу. Проработав так три месяца, я превратился в скелет, обтянутый кожей. Тем временем, мы, якуты, получили денежный перевод, так что заимели возможность покупать продукты в лавке УСЛОНа<sup>3</sup> и кушать.

Еще через три месяца меня взяли в канцелярию писарем, так что жизнь моя стала несколько лучше. Всех людских страданий мне не описать, даже если опишу, как их мучили, никто не поверит; а так, если сказать коротко, лагеря УСЛОНа были местом, предназначенным для медленного и мучительного истребления людей; пусть кто хочет - поверит в это, а кто не хочет - не поверит. Потом, в будущем, ученые изучат, опишут и опубликуют историю Соловецких лагерей и расскажут правду о том, как здесь проливали слезы и кровь, раздирали кожу людей разных национальностей, как от имени всей советской власти уничтожали людей, в том числе и якутов.

Нас в командировке Чупы было около десяти якутов, ценой самоотверженного труда мы справлялись с дневным заданием и поэтому прослыли работящим народом. К зиме всех якутов выпроводили из командировки Чупы, и я остался один.

Всю зиму я работал в канцелярии. Весной 1929 года меня назначили в каптерку командировки Рыбпрома в той же Чупе раздатчиком продуктов и одежды. Здесь моя жизнь пошла еще несколько лучше, я получил свободу передвижения, питание тоже улучшилось. В лагере Чупы я был каптером один год, после чего меня направили в место под названием Черная Речка завхозом командировки того же Рыбпрома. Прибыв сюда, увидел, что здесь очень мало работников и рыбоприемщиков. Тут моя жизнь стала совсем вольготной. Начальником командировки был совсем молодой, добродушный человек, который не запрещал нам отлучаться. Неподалеку от командировки была карельская деревня, и мы свободно ходили туда и обратно. На сей Черной Речке я провел один год.

Потом, на второй год, начальника командировки

сменили, прибыл некто Бупала<sup>4</sup>, хромоногий русский, в прошлом являвшийся чекистским начальником. Прибыв в командировку, этот человек заставил всех ходить по одной половине, без спросу никто не мог никуда отлучиться. Ко мне же он придрался, будто я не дал ему хозяйственного мыла. С помощью разных скверных доносчиков он шпионил за мной, чтобы найти во мне изъян, но так и не смог обнаружить порока. Тогда я попросил старшего завхоза Чупы перевести меня обратно на командировку Чупа. Мою просьбу уважили и перевели обратно в Чупу. Вместо меня завхозом назначили другого человека.

В командировке Чупы я стал экспедитором, то есть принимал и отправлял грузы. Здесь я встретил якута Семена Старостина<sup>5</sup>, который работал на тяжелой работе - на лесной командировке. Я попросил знакомого начальника перевести этого Старостина в командировку Рыбпрома. Его долго не отпускали, но потом все-таки перевели.

Потом Семена назначили в командировку Еловый Наволок, недалеко от Черной Речки, подразделение той же командировки Рыбпрома.

Когда я проработал в Чупе экспедитором всего пять месяцев, произошло следующее.

В 1930 году, в один из майских дней, стало известно, что из Кандалакши прибывает самый большой начальник лагерей. На следующий день после этого слуха, рано утром, Паизра<sup>6</sup>, начальника по труду и продовольствию Рыбпрома, вызвали в Чупскую лесную командировку к большому начальнику. Он пошел туда, потом через небольшое время прибежал очень возбужденный и объявил: "Сегодня вся командировка за пять часов должна свернуться и выехать отсюда". Сказал, что сборы должны быть повоенному короткими, а причины столь спешного отъезда никто не знал; мне он приказал: "Ты, Корнилов, езжай на станцию и в течение трех часов доставь сюда тридцать пустых вагонов".

Я на лошади поскакал на железнодорожную станцию, за полтора часа добыл тридцать пустых вагонов и пригнал на Чупскую пристань. И вот в них погрузили заключенных трудового лагеря. За три часа командировка свернулась и выехала. Командировку Рыбпрома погрузили на моторную шхуну и отправили на командировку "Керат". Меня вместе с завхозом оставили, чтобы мы отправили остатки грузов и стесали топором начертанные на стенах и дверях домов и кладовых надписи "УСЛОН", одежду УСЛОНа с нас сняли и велели облачиться в собственную.

Мы начали гадать между собой, что, должно быть, возникла опасность войны или, видимо, в Соловецкие лагеря должна прибыть иностранная комиссия.

В таком положении мы целую неделю жили в Чупе, и всё это время не было никаких известий. Только был слух, что перевели все командировки, что всех рабочих лесоповала выселяют и отправляют неизвестно куда. Дней через десять все, кто был в командировке, вернулись обратно, стали работать, как работали раньше. Только потом мы поняли, что это были маневры, чтобы выявить и перестрелять бунтовщиков.

С тех пор, как мы прибыли туда, было проведено довольно много тревог, в результате которых перестреляли много невинных людей. Главный начальник лагерей отдавал приказ. Если кто-то при этом совершал промахи, мелких начальников, неправильно понявших приказ, расстреливали, ежели те были в прошлом купцами или офицерами. Главный чекистский начальник, устроивший всё это, в результате оставался невинноватым.

Кроме того начальники лагеря ежемесячно пускали слух, что ожидают из Москвы манифеста об амнистии, сокращении сроков наказания для заключенных. Все люди верили и ждали. И действительно, попавшимся на воровстве уменьшали сроки, и их отправляли домой; а осужденным по политическим мотивам об уменьшении срока и речи не было, тем, кто отбыл срок до конца, прибавляли по три года ссылки и отправляли в совсем неожиданное ме-

сто. Так что я по-простому, по-якутски подумал, что Соловецкие лагеря придумали для того, чтобы укоротить век противников советской власти, умертвить тех, кто восстал против нее.

В январе 1931 года меня снова перевели из Чупы в командировку Черная Речка завхозом. Прибыв туда, я принял материальные ценности и продовольственные запасы командировки. Вскоре после этого выпросил к себе в командировку хлебопеком Семена Старостина, работавшего в командировке Еловый Наволок.

Когда он прибыл и наступило лето, мы стали меж собой советоваться, что надо бы нам убежать в Финляндию. Мы слышали, что граница Финляндии проходит недалеко, в трехстах километрах от нас.

А весной, в апреле месяце, с другой командировки вместе с рабочими прибыл Егор Старостин<sup>7</sup>. Совсем заболевший, измученный. Обратившись к начальникам, управлявшим работами, добились, чтобы его не отправляли на тяжелую работу и назначили к нам в каптерку. И вот втроем мы стали совещаться о том, что во что бы то ни стало надо бежать в Финляндию, мол, если окажемся в стране высокой культуры, не пропадем. Дорожные припасы загодя спрятали в лесу.

Наконец, 25 июня мы втроем взяли увольнительное письмо под видом, что надо идти на железнодорожную станцию отправлять грузы. После чего пошли в лес, взвалили на спины продукты и направились прямо на запад, предполагая, что Финляндия лежит именно там.

В первый день шли, не жалея сил, хотя идти по болотам, грязи, кочкарникам было тяжело; в тот день, как нам показалось, покрыли довольно большое расстояние. В тот же день после полудня мы вышли на быструю горную речку. На ее берегу стояла кривая сосна, которую мы повалили и сделали мостик. Оба Старостина перебрались на тот берег, а я, шагая по стволу, ухватился за ветку, которая вдруг сломалась, и я рухнул в воду, однако, ногами до дна не достал, падая, успел вцепиться в ствол,

подтягиваясь на руках, смог выбраться на берег. Когда я отжал мокрую одежду, мы опять пошли вперед. Мне казалось, что тело мое отяжелело, мокрая одежда облепила меня и идти мне было как-то неудобно. Однако, когда солнце закатилось за верхушки деревьев, мы достигли одного озера и увидели, что далеко на том берегу еле заметной синей дымкой вырисовывается лес, а северный залив озера лежит близко. Мы пошли, чтобы обогнуть его, и встретили оленя, кажется, домашнего, ибо нас он совсем не боялся, но и не подпускал к себе. Посему сделали вывод, что неподалеку живут лопари.

Обогнув этот залив озера, опять пошли прямо на запад. К ночи мы пришли к горному ущелью, нашли небольшую речку, где устроились на ночлег. Ночуя там, подумали, что за день прошли около шести-семи десятков километров.

Утром на восходе солнца мы встали и, попив чаю, собрались и пошли. Поднявшись на гору, по самому ее хребту мы зашагали вперед, примерно выбрав западное направление. На третий день такого пути пришли к одному озеру, северный и западный концы которого голубели очень далеко, а западный берег казался довольно близким. Тут мы срубили девять сухих толстых елей, сделали плот, весла, погрузили пожитки и, сев на плот сами, начали грести. Когда проплыли более версты, на северном конце берега показался дым. Мы заволновались и, гребя изо всех сил, пристали к западному берегу, бросили плот, взяли вещи и пошли дальше. Шли-шли и обнаружили, что попали на остров, снова сделали плот, переправились, однако, и этот второй берег тоже оказался островом. Тут мы промучились два дня, переправившись через девять островов и сделав девять плотов. Через два дня на третий мы увидели наконец противоположный берег с высокими горами, смастерили плот и начали переправляться, когда неподалеку раздался звук моторной лодки, услышав который, мы встревожились, заработали веслами изо всей мочи, пристали к берегу, схватили

поклажу и побежали в лес. Там была высокая гора, и мы поднялись на нее. На вершине стоял геодезический маяк. Здесь мы примерно прикинули западное направление и опять двинулись дальше. Потом перешли одну широкую просеку и подумали, что это была граница. После чего мы всё время пересекали горные перевалы и переходили реки.

На шестые сутки, переночевав на берегу одного озера, вышли на тропинку. На тропинке увидели следы пешего человека с оленем. Мы отправились по ним, прошли довольно долго, пока на противоположной стороне озера не увидели поселение, пять-шесть домов. Донеслись крики людей. Встав напротив поселка, мы увидели лодку с людьми, которая плыла к поселку. Мы сделали привал и, поговорив, решили, что там находится иностранная земля. Столб был с надписью на русском языке. Решив, что отсюда начинается русская земля, мы пошли по тропинке вдоль озера в обратном направлении. Однако озеро уткнулось в ущелье, а мы, оказывается, пришли к водопаду, откуда сплавляли лес. Связав из бревен плот, мы переправились через порог. На той стороне стояла очень крутая гора, и мы взобрались на нее. Там нашли однобокий шалаш из елового лапника и отдохнули в нем. Полил проливной дождь. К западу от этого места виднелась очень высокая скала с голой вершиной. А мы тем временем запутались и не знали, где запад, где север, поэтому посоветовались. Решили взобраться на этот высокий утес и, осмотрев все окрестности с вершины, в точности определить север и запад.

С великим усилием мы одолели эту скалу. Залезли и увидели, что совсем близко голубеет озеро, через которое мы девятикратно переправлялись на плотках. Мы сказали друг другу, что заблудились и вернулись обратно, поэтому, выбрав западное направление, решили пойти туда. Тогда только поняли мы, что солнце кружилось по всем четырём сторонам света, и поэтому мы ходили вокруг горы. Сообразив это, мы наметили расположенные на западе реки и озера и направились в их сторону.

На ночь зашли в одну пазуху, защищенную от ветра. На восходе солнца, рано утром, мы опять встали и пошли. Весь этот день мы шли, поднимаясь и опускаясь, через высокие горы. Потом пришли к одному озеру и поначалу шли вдоль его берега. Затем, идя берегом, мы оказались на вдающемся в озеро полуострове. Поэтому вышли обратно и, сделав плот, переправились на западный берег. Идя по западному берегу озера, пересекли линию телеграфных столбов и опять пошли берегом озера. Когда в одном месте мы пили чай, мимо нас прошла важенка с олененком. После озера мы вышли на берег одного ручья и, идя против течения, наткнулись на широкую и длинную просеку. Немного пройдя поперек ее, сели отдохнуть.

Оба Старостина решили обследовать просеку и прямо по ней направились к видневшемуся холму. Я остался на месте. Немного погодя, парни мои, перепрыгивая через коряги, прибежали обратно с круглыми от страха глазами и сказали: "Быстро хватай вещи и бежим". Мы взяли вещи и побежали. На бегу они сообщили, что видели человека с ружьем. Когда пробежали около двух верст, дорогу нам преградила одна речка. Берег оказался сенокосным угодьем, и еще там мы увидели амбары для сушки сена. Зайдя в них, обнаружили на стенах надписи на иностранном языке, нашли спичечный коробок, также с иностранной печатью. Вот мы и догадались, что оказались в чужой стране.

Из сеносушильных перекладин амбаров смастерили плот и переплыли речку. Выйдя на противоположный берег, вскипятили воду, после чего, решив, что где-то непременно должна быть дорога, по которой зимой возят сено, отправились искать ее. Найдя дорогу для перевозки сена, пошли по ней. Затем, шагая так, увидели летнюю тропинку и перешли на нее. Тропинка вывела нас к одной небольшой речушке. Оказывается, там было коровье пастбище. Остановившись тут, в полночь попили чаю, потом опять пошли и спустя какое-то время увидели селение. Подошли поближе и убедились, что люди здесь

ведут хозяйство не по-русски. Вот тут-то мы посоветовались и решили, что предпочтительней зайти и постучаться в самый лучший и богатый дом. Зашли в один двор с большим домом, долго стучали, но нам никто не открыл, казалось, что дом пуст. Вышли и постучались в еще один дом, и снова никто не открыл, и тогда мы постучали в дверь третьего дома, но и этот казался пустым, никто не открывал. Что бы это могло значить, недоумевали мы, направляясь к четвертому дому, когда из окна другого дома с криком выпрыгнул вооруженный человек и, прицелившись в нас, побежал нам навстречу. Ну мы подняли руки вверх и замерли на месте.

Человек этот, наставив ружье на нас, лопотал что-то на незнакомом нам языке. Мы попробовали изъясниться с ним по-русски, но он непонятливо мотал головой, наконец, указав в одну сторону, произнес: "Казарма". Опомнившись, пошли в указанную им сторону. Он шел за нами следом, держа ружье наизготовку. Наконец, он ввел нас в просторный двор одного большого дома и, остановив нас, постучал в окно. На что вышел мужчина в военной форме. Форма на русскую не походила и наружность тоже. Кивком поздоровавшись с нами, он открыл дверь и жестом показал внутрь дома, кажется, пригласил нас войти. Когда мы зашли, увидели, что в нем висели боевые винтовки. Он разбудил одного спящего. Оказалось, этот человек немножко говорил по-русски. Он побеседовал с нами и спросил, откуда идем, кто мы по народности и какой страны граждане. Мы рассказали всё как есть. Однако, прежде чем рассказать, спросили, в какую страну пришли. Они сказали: "Вы находитесь в Финляндии". Мы искренне обрадовались. Вот здесь-то нас накормили до отвала. После чего принесли постельные принадлежности и постелили нам на полу. Мы, не спавшие толком восемь суток, уснули как убитые. После полудня, когда мы проснулись и привели себя в порядок, нас опять покормили.

Наше путешествие всего длилось восемь суток и

кончилось на девятый день; тронувшись в путь двадцать пятого июня, в Финляндию мы пришли пятого июля.

На следующий день запрягли в телегу лошадь и под охраной двух вооруженных людей отправили нас в большой штаб, расположенный в пятидесяти километрах.

В пути этой езды на конной телеге сделали остановку в одном многонаселенном пункте, завели в чей-то дом и угостили нас кофе. Чтобы поглазеть на нас, собралось много людей. Нам хотелось поговорить с людьми, но никто не понимал, поэтому мы просто переглядывались.

Потом поехали и прибыли в большой штаб, ближе к вечеру. Ввели нас в большой дом, где жили солдаты, завели в пустую комнату и заперли. Тут были железные кровати с постелями. Опять принесли еду и покормили. Когда мы здесь переночевали, утром нас по одному вызывали на допрос и допрашивали, какой мы народности, откуда пришли и где наша родина. Мы рассказали, откуда пришли и что знали.

Потом нас на авто отправили в Раваниема<sup>8</sup>, где был маленький город. Там мы провели семь суток в военном штабе. Здесь записали, какой мы народности, где наша родина, откуда пришли, сколько лет сидели в Соловецком лагере и какая обстановка в Соловецком лагере.

Из Раваниема нас отправили на седьмой день на поезде по железной дороге, посадив в заколоченный вагон. Проехав так, прибыли в город Котка, где был лагерь в местности Кёмелин. Здесь, когда мы прибыли утром, нас не приняли, и только вечером прибыл из Хельсинки человек и отвез нас в город Хельсинки. Здесь он опять посадил нас в тюрьму. Тут мы провели семь дней. Затем пришли люди из полиции и опять записали наши показания. После чего сказали: "Тут есть русский комитет, там примут о вас решение, найдут для вас работу. Так что завтра-послезавтра выйдете в город на свободу".

Через пять дней пришел очень старый русский человек и сказал: "Я - председатель Комитета русских эмигрантов здесь в Финляндии. Найти вам здесь работу невозможно.

Тут нет работы даже для самих финнов. И жить вам будет нигде. Здесь в одном месте есть лагерь, пошлем вас туда, там хорошо, и вы немного поработаете. Там вас будут кормить, одевать, там живут четырнадцать русских, таких же беглецов, как и вы. Будете с ними жить там". А с нами из Раваниема прибыл один русский парень, тоже беглец, про которого он сказал: "Этого человека я беру с собой". Добавил: "Тут у одного человека есть место, он будет жить у него". Таким образом он увез его с собой. Нам сказал: "Вас отправят завтра".

В этом лагере мы работали пять месяцев. За это время мы написали письма и нашли своих людей в Китае. Люди эти прислали нам немного денег, так что к концу пятого месяца мы приехали в город Хельсинки и зажили на воле.

Потом о нас узнал высокообразованный финский профессор Рамстедт, который заинтересовался якутским народом, вызвал нас, поговорил, познакомил с другими высокообразованными людьми, благодаря чему мы, познакомившись с людьми, народом, начали работать и содержать себя, живем без больших забот, имеем достаточно средств на пропитание и одежду.

У нас, якутов, была пословица, которая гласила, что Бог не лично творит добро, а через посредство доброго человека.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Корнилов Михаил Федорович (1888-1942), якут. Имел четырехклассное образование. На родине остались жена и четверо девочек. Две из них живут в г. Якутске. Старшая дочь - в Олекминском районе Республики Саха, младшая умерла рано. В Финляндии женился на дочери профессора. Имеет дочку Аарнио Каритта Мария Варвара. Воевал против Красной армии. Погиб в Лапландии в поселке Ивало.

2. Искаженное русское слово "посельщик" - поселенец, ссыльно-поселенец. См. "Словарь якутского языка" Э. К. Пекарского.

3. УСЛОН - Управление Соловецких ЛагереЙ Особого Назначения.

4. Фамилия дана так, как произносил на якутский лад сам автор. Может быть, Бупало или Вупало?

5. Старостин Семен Константинович (1900-1975). Родился в Чагыре Ожулунского наслега нынешнего Чурапчинского района. При аресте остались его 18-летняя жена и 70-летняя мать. В деле записано, что имел он дом, десять коров и одну лошадь. Был неграмотным. Протоколы допросов подписывал отпечатком большого пальца. От него осталась одна дочь, которая проживает в селе Туора Кюель Таттинского района, имеет двух взрослых детей - сына и дочь. Семен Константинович работал садоводом два-три года на даче профессора Рамстедта в Киле. Потом устроился в татарском пушном магазине г. Хельсинки. Еще короткое время работал в магазине Алдара, сына Рамстедта. После переезда в Швецию работал информатором у профессора Бьорна Коллиндерга. В 1938 году женился на Тью Марии.

6. Снова фамилия дана в авторском произношении. Возможно, на самом деле этого человека звали Пауэр, Бауэр или Пайер.

7. Старостин Егор Егорович (1898-1944). Родился во Втором Нерюктяе бывшего Восточно-Кангаласского улуса. Имел начальное образование. На родине знают как сына известного головы Урдуса. В Финляндии работал курьером. Женился на жительнице г. Турку Гудрун Ингеборг Присвертини. Участвовал в двух войнах против Красной армии. Капрал. В 1940 года вступил в отряд добровольных иностранных волонтеров. В 1943 году был ранен, награжден медалью "Свобода" второй степени. Пропал без вести в 1944 году в местечке Валксасаари.

8. Раваниема - на карте г. Рованиеми.

**Н. А. ЯКОВЛЕВА**

## **Февральская революция и сибирское земство**

### **1. Сибирское земство по реформе 17 июня 1917 г.**

Февральская революция принесла народам нашей страны надежды на обретение многих политических свобод, о которой мечтали целые поколения, и на улучшение экономического состояния страны, измотанной войной. Усилилось и стремление к реформированию земских органов. Временное правительство столкнулось с тем, что по инициативе революционного народа на местах почти повсеместно устранились от власти губернаторы и создавались новые образования такие, как временные революционные комитеты, комитеты общественного спасения и т. п., в которые входили представители различных партий и общественных организаций, в том числе городских и земских управ, бравшие на себя полноту власти.

Поэтому Временное правительство 5 марта отправляет распоряжение на места о повсеместной замене полиции милицией, организуемой общественными самоуправлениями, и губернаторов - губернскими комиссарами Временного правительства, на должность которых временно назначался председатель губернской земской управы.

Одновременно шла подготовка к реформированию земских органов власти. По замыслу правительства эти

обновленные органы должны были сочетать в себе одновременно функции органов бывшей правительственной администрации самоуправления, и в соответствии с этим новая система местного управления должна была складываться из трех основных частей:

1) органов самоуправления, наделенных функциями правительственной власти (губернских, уездных, волостных и городских) и мелких самоуправляющихся единиц (поселковых - в сельской местности и участковых - в городах), не располагающих полнотой власти;

2) органов правительственной администрации, "несущих функции общего надзора и контроля" (правительственные комиссары и их аппараты и, в некоторой мере, милиция) и специальных органов правительственной администрации, выполняющих отдельные задачи управления (казенные и контрольные палаты и др.);

3) органов административной юстиции в губернских и уездных центрах<sup>1</sup>.

"Существо всей реформы можно подразделить на несколько крупных узловых вопросов: 1) изменение избирательного закона; 2) введение мелкой земской и городской единицы; 3) введение земских учреждений на окраинах России; 4) некоторое совмещение функций органов бывшей правительственной власти на местах с функциями местных самоуправлений; 5) создание собственных, буржуазных органов насилия и 6) создание органов правительственного контроля и надзора"<sup>2</sup>.

15 апреля и 21 мая 1917 г. были опубликованы постановления, устанавливающие новый, демократический порядок выборов - равное, прямое, тайное голосование с участием всего населения, достигшего 20-летнего возраста, а также было введено волостное земство<sup>3</sup>.

Одновременно шла разработка земского положения для Сибири. Во главе этих работ стал Б. Б. Веселовский - известный знаток земского дела в России, кадет. В работе возглавляемой им комиссии принимали участие представители сибирского населения как русского, так и бурят-

ского, и якутского. Что касается русских сибиряков, то это были члены областнического союза. 5 марта 1917 г. сибиряки-областники, проживавшие в Петрограде, создали инициативную группу. Они попытались объединить все существующие в Петрограде общественные организации сибиряков: Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, Общество помощи больным и раненым, Сибирское бюро при Совете торговли и сельского хозяйства и др. В начале апреля ими был организован митинг сибиряков, собравший до 500 человек. От каждой организации по 3 человека вошли в созданный комитет Союза, но общей программы выработать не удалось, и он распался. Однако его члены участвовали в работе по составлению земского Положения для Сибири. Но, по мнению областников, "участие это оказалось бесплодным, и долгожданное земство вышло совершенно несоответствующим хозяйственному укладу и особенностям городов Сибири"<sup>4</sup>.

Областников, конечно, не устроило то, что их идея областного земства (единого общесибирского земского органа) не нашла воплощения в проекте.

17 июня 1917 г. был опубликован Закон Временного правительства о введении земских учреждений в губерниях Архангельской и в губерниях и областях Сибири. По этому Закону земство вводилось на всей территории Сибири - уездное, волостное и губернское (за исключением некоторых районов, населенных нерусскими народами). Избирательное право получили все граждане обоего пола с 20-летнего возраста, проживающие в соответствующем городском поселении или волости.

Значительно расширился круг ведомства земских учреждений, хотя все они по-прежнему касались только хозяйственной деятельности. По Закону Временного правительства, в компетенцию земств вошли такие мероприятия, как заведование земскими повинностями и имуществами, продовольственным делом, устройство и сооружение дорог и т. п., земских почт, телефонов, пароходных и других путей сообщения, организация врачебной помо-

щи населению, ветеринарного дела, противопожарных мероприятий, развитие народного образования, осуществление мероприятий, способствующих охране памятников старины, создание музеев. Земства могли заниматься книгоиздательством, вести мелиоративные работы, оказывать помощь сельскому хозяйству и промышленности.

Кроме этого, в заведование земских учреждений передавались милиция, оказание юридической помощи населению, статистические работы, мероприятия по охране труда и организация бирж труда, устройство переселенческих пунктов.

По Закону Временного правительства, председателя земского собрания не назначали, а выбирали; гласным должны были выплачивать жалование в период работы собрания (это открывало реальную возможность принять участие в деятельности земств менее зажиточным слоям населения), для контроля над деятельностью земских управ образовывали ревизионные комиссии. Губернским и уездным земским собраниям предоставлялось право принимать и издавать обязательные постановления, но все они касались (как это было оговорено) узко хозяйственного круга вопросов.

Судя по содержанию Закона, Временное правительство так же, как и царское, собиралось поставить земские учреждения под контроль со стороны властей. Надзор за законностью губернских и уездных земских учреждений был возложен на губернских комиссаров Временного правительства (к этому времени это были уже официально назначенные центром чиновники), волостных - на уездных комиссаров. Все постановления земских собраний должны были предоставляться им. Комиссар в двухнедельный срок мог опротестовать решение собрания и передать дело в административный суд, имел право ревизовать земские учреждения и по результатам ревизии также направить протест окружному суду. Министр внутренних дел обладал теми же правами.

Временное правительство уклало требования золотопро-

мышленников, и крупные золотопромышленные системы - Витимская и Олекминская - приравнивались к земскому уезду, другие прииски Восточной Сибири - к волости.

Временное правительство предоставило определенные преимущества интеллигенции. Так, оно оговорило право земским собраниям избирать особые комиссии, которые помогали бы им в практической деятельности. В эти комиссии должны были быть призваны специалисты по различным отраслям хозяйственной жизни, то есть интеллигенты. Кроме того, в Законе было подчеркнуто, что на земские должности могут выбираться не только земские гласные, что также способствовало привлечению в работу земств интеллигенции.

В результате проведения этого Закона в Сибири должно было появиться 10 губернских земств и 44 уездных. Б. Б. Веселовский, готовивший эту реформу, писал по окончании работы: "С помощью земского и городского самоуправления Россия должна вступить в ряды культурных стран, должна прочно закрепить добытую революцией свободу и помочь населению оправиться от разрушений и бедствий, причиненных народному благосостоянию мировой войной"<sup>5</sup>.

Итак, земское управление по реформе 1917 г. было построено на демократических принципах, позволяющих принять участие в работе земских органов самым широким слоям населения. Наибольший энтузиазм в деле введения земских учреждений проявила интеллигенция. Крестьянство более сдержанно встретило введение новых органов. Это объяснялось рядом причин. Во-первых, крестьянство уже имело самоуправление и решало свои вопросы давно самостоятельно. Во-вторых, содержание земств ложилось на плечи налогоплательщиков, что также настораживало крестьян. Тем не менее, Закон 17 июня 1917 года явился итогом более чем пятидесятилетней борьбы сибирской общественности за земство.

## Земство на Алтае (1917-1919 гг.)

Сибиряки, много лет боровшиеся за введение земства, уже в марте-апреле 1917 г., еще до указов Временного правительства, приступили к формированию органов, по существу являвшихся земскими учреждениями.

Под давлением общественных настроений Томский губернский Комитет общественного порядка, не дожидаясь указаний правительства, выработал "Общее положение о народных собраниях и исполнительных комитетах губернии", на основе которого в начале апреля 1917 года он предложил всем местным "комитетам порядка" провести выборы в волостные, уездные, городские и губернские народные собрания, а также избрать исполнительные комитеты. Выборы предлагалось провести на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании, но по мажоритарной системе. На выборах в волостные и уездные народные собрания по всей губернии (Алтай входил тогда в состав Томской губернии), как правило, проходили списки кандидатов, предложенные эсерами. В городах губернии в органы самоуправления прошли депутаты так называемого "демократического блока", включавшего все "социалистические партии".

В Барнауле голосование шло по двум спискам, один - от блока социал-демократов и эсеров, другой - от народных социалистов. Первые получили большинство голосов.

К июню 1917 г. на территории Алтая повсеместно начали действовать уездные народные собрания и их исполнительные органы - уездные исполнительные комитеты, которые фактически выполняли роль уездных земств. В городах по тому же принципу были организованы городские собрания и их комитеты. В июне 1917 г. Алтай выделился из Томской губернии, образовав самостоятельную административную единицу - Алтайскую губернию. И началась подготовка к выборам в земства в соответствии с Законом 17 июня 1917 г. Временного правительства. Прове-

дение выборов в новые местные органы самоуправления. Временное правительство возложило на старые цензовые городские думы. Контроль за выборами осуществляли губернские и уездные комиссары и специально созданные правительством административные суды. Председателям окружных избирательных комиссий было дано право регистрировать и публиковать списки кандидатов в гласные, принимать и рассматривать жалобы избирателей на неправильные действия городских и земских управ, окружных и участковых избирательных комиссий.

В целом выборы в земские органы проходили в июне-сентябре 1917 года. В городах, где прослойка интеллигенции, горячих сторонников земства, была больше, они закончились ранее. В сельской же местности выборы затянулись до осени, так как там было меньше интеллигенции, а само крестьянство было довольно равнодушно к идее земства, поскольку его устраивала традиционная система крестьянского самоуправления.

Стремление Временного правительства создать на территории всей страны однообразные, подчиненные центральной власти органы самоуправления - земства и городские думы в определенной степени совпадало с эсеровской идеей государственного устройства. Поэтому эсеры развернули широкую агитационную кампанию, выпустили большое количество избирательной литературы, приняли участие в работе избирательных комиссий по введению земства, выставили своих кандидатов в гласные всех уездных (а местами и волостных) земских собраний.

22 июня 1917 г. был созван в Барнауле съезд депутатов всех городских и уездных исполнительных органов губернии, который постановил "образовать губернский земский орган на основаниях представительства по одному от каждого уезда и от Алтайской Горной Думы" (национальное движение алтайцев привело к созданию этого органа власти в Горном Алтае). Алтайский губернский исполнительный комитет избирался временно, впредь до созыва Земского собрания и до избрания им полномочной Губернской

Земской Управы. Здесь же, на заседании, был избран комиссар Алтайской губернии Окорочков, кадет, а его заместителем - народный социалист Плотников<sup>6</sup>.

Официально избранный Алтайский Губернский Исполнительный Комитет (Губернская Земская Управа) 10 августа 1917 года приступил к исполнению своих обязанностей в следующем составе: председатель - Юхнев; представители от уездных земств - Титаренко, Новиков, Морозов, Борисов; секретарь - Шишкин<sup>7</sup>. В связи с разделением Томской и Алтайской губерний между ними произошел раздел имущества, по которому Алтайской губернии отошел 1.370.529 рублей страхового капитала, а также по нотариальному капиталу, кредитам на агрономическую помощь - еще 467.637 рублей<sup>8</sup>. В ведение алтайского земства перешли сорок лечебниц, расположенных на территории Алтая, а также ветеринарные пункты.

В соответствии с компетенцией земств в них были созданы и отделы, ведавшие различными сторонами хозяйственно-практической жизни. Сразу же выделили экономический, страховой, земельный, финансовый отделы.

У каждого отдела Управы были свои цели и задачи. Так, например, основными задачами экономического отдела являлись "обложение земскими сборами всего того, что подлежит законом", страхового отдела - быстрая выдача денежных компенсаций в случаях несчастий<sup>9</sup>.

В октябре 1917 года был созван общегубернский съезд врачей и фельдшеров, на котором был создан временный врачебно-санитарный отдел Алтайского губернского земства. Главная задача отдела заключалась в снабжении лечебниц медикаментами, устройство центрального губернского аптекарского склада и организация губернского эпидемического отряда<sup>10</sup>.

Одновременно в губернии создавались Советы как классовые органы (крестьянские, рабочие, солдатские) самоуправления. Кроме этого организовывались и земельные комитеты. Параллельное существование всех этих форм организации власти приводило к соперничеству

между ними и вносило немалую путаницу в повседневную жизнь. Шла борьба за власть.

Октябрьская революция и последовавшие за ней события на местах (на Алтае ноябрь-декабрь) внесли новые акценты в их взаимоотношения. Усилилось влияние Советов при одновременном существовании земств.

Декретом 19 декабря 1917 г. в Петрограде был образован комиссариат по местному самоуправлению для объединения деятельности всех городских и земских учреждений. Во главе его стал левый эсер Трутовский. Но если большевики считали, что в дальнейшем земства и городские думы должны раствориться в Советах, то иную точку зрения высказал на этот вопрос новый нарком. Он доказывал, что органы земско-муниципального самоуправления "должны постепенно стать хозяйственной организацией советской власти", доказывал необходимость "сохранить достаточно нежный и тонкий аппарат земств и городов" на правах одного из отделов исполкомов<sup>11</sup>.

Но на местах с первых же дней обострилась борьба. Например, проходившее в Барнауле в декабре 1917 г. Совещание представителей земств и городов Алтайской губернии в специально принятой декларации заявило об отрицательном отношении ко II Всероссийскому съезду Советов, о непризнании Совнаркома, потребовало передать власть Учредительному собранию.

В своих действиях земство ориентировалось на формировавшееся сибирское правительство - Сибирскую думу, видя в ней реальную власть, игнорируя Советы.

Относительно функций земства и работы его отделов в Совете существовало два течения: одно предполагало оставить земство в том составе отделов и с теми же хозяйственными функциями так, как оно существовало и до советской власти, заменить только управу комиссией из членов Совета и служащих; второе - стремилось покончить с земством окончательно и все функции и отделы передать в другие отделы Совета. Второе течение получило преобладание, и с первых же дней советской власти у

земства были отобраны следующие отделы: народного образования, медицинский, ветеринарный, а впоследствии и дорожно-строительный отдел<sup>12</sup>.

В январе 1918 г. последовало решение губернского исполнительного комитета об упразднении губернского и уездных земств. Губернская земская управа, руководимая эсерами, в ответ назначила 19 февраля 1918 года чрезвычайное губернское земское собрание, чтобы решить вопрос о власти в пользу земств.

Собрание готовила губернская земская управа. Почти по всем уездам были избраны губернские земские гласные. Лишь от Каменского уезда, где уездное земство к этому времени было упразднено Советом, на губернское собрание было послано два делегата от Совета.

Собрание было распущено 25 февраля 1918 года. "Решение исполнительного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, - заявил назначенный зав. отделом сельского хозяйства (в Совете) М. К. Казанцев, - об упразднении Алтайского губернского земства, как и вообще земства, бесповоротно и изменению не подлежит. Земское собрание ни в коем случае допущено не будет, земская управа должна прекратить свои действия и сдать дела тому, кому будет поручено Советом"<sup>13</sup>.

В ночь с 25 на 26 мая 1918 года вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса военнопленных, носивший антибольшевистский характер. Правозсеровский Западно-Сибирский комиссариат 28 мая объявил о восстановлении органов земств. Но нужно отметить, что их и не удалось повсеместно уничтожить. Многие их управ при советской власти просто сменили вывеску (так, например, было в Горном Алтае) и существовали, прибавляя к своему названию "советская" в том же составе, с той же структурой. Поэтому процесс восстановления был стремительным.

15 июня 1918 года чехи и белые заняли Барнаул. Отряды Красной гвардии во главе с членами Алтайского губкома и губисполкома, погрузившись в эшелоны, отступили на ст. Алтайская.

Единственный находившийся в Барнауле член Земской управы П. Б. Кленце на основании вышеуказанного распоряжения объявил о восстановлении Губернской земской управы<sup>14</sup>. И уже с 19 июня 1918 года Алтайская губернская земская управа начала свою работу.

Алтайское земство вообще было одним из наиболее организованных. С 5 по 11 июля Земству удалось организовать проведение губернского собрания, на котором был избран комиссар губернии - Плотников (в других губерниях комиссара не избирали, а назначали).

В первый месяц после переворота на территории Западной Сибири высшей местной властью "до окончательного освобождения всей территории" стал Западно-Сибирский Комиссариат, состоявший из уполномоченных временного Сибирского правительства, эсеров, членов Всероссийского Учредительного собрания (И. Михайлов, Б. Марков, М. Линдберг и председатель Томской уездной земской управы В. Сидоров)<sup>15</sup>.

Это правительство особо рассчитывало на земства как на основу своей власти на местах, поэтому оно уделило пристальное внимание восстановлению земств (на основе выбранных в августе - ноябре 1917 г.).

30 июня 1918 г. политическая власть в Сибири перешла от Комиссариата к Временному правительству, которое также действовало с позиции укрепления земств. Его программа включала следующее: в декларации "О государственной самостоятельности Сибири" от 4 июля 1918 года Временное Сибирское правительство заявило, что "созыв Всесибирского Учредительного собрания, которому оно передаст свою власть является его непреклонным намерением, к скорейшему осуществлению которого оно будет стремиться всеми силами", так же, как и к созыву Всероссийского Учредительного собрания "для воссоздания российской государственности". В то же время поддержка и укрепление земств объявлялось "одной из основных задач правительства"<sup>16</sup>, поскольку они являлись опорой всей государственной жизни страны.

Губернские земские управы создавали отряды инструкторов, которые посылали в волости для восстановления и создания там заново органов "новой" власти - волостных земских управ. Работа инструкторов по введению земства является важной и ответственной деятельностью. Ее нельзя ставить в условия меняющихся настроений и взглядов как самих инструкторов, так и органов земского управления"<sup>17</sup>.

Алтайское земство стремилось распространить свое влияние на все сферы жизни губернии.

Особое внимание было уделено земельному вопросу. Постановление правительства от 6 июля 1918 г. восстанавливало права крупных землевладельцев: "Все имения, принадлежащие как отдельным лицам, так равно и товариществам, обществам и учреждениям, лежащим на землях, арендованных и собственных, возвращаются их владельцам со всем инвентарем живым и мертвым, принадлежащим хозяевам"<sup>18</sup>.

Для проведения в жизнь этого постановления Алтайская губернская управа постановила образовать пять комиссий и предложить управам уездов наметить в состав этих комиссий представителей от земств. Осенью 1918 г. это было сделано во всех уездах, за исключением Славгородского.

Одновременно были образованы специальные земельные отделы"<sup>19</sup>.

Земли, полученные крестьянами при советской власти, оставались у них на условиях аренды только в том случае, если они засеивались. Важным вопросом, связанным с землей, стал вопрос наделения ею безземельных. А таких, по данным губернской земской управы, на Алтае насчитывалось до 150 тыс. душ мужского пола<sup>20</sup>. Но правительство выделило из бывших кабинетских земель под заселение всего на 10 тыс. человек. А земли приберегались для других общественных надобностей, безземельные же крестьяне объявлялись "кандидатами в арендаторы". Как характеризовала ситуацию сама Алтайская земская упра-

ва, ее внимание было сосредоточено на двух направлениях:

"1) на обеспечении земель проживающих в губернии безземельных и 2) на предоставлении населению через посредство земских учреждений во временное пользование свободных земель на праве аренды"<sup>21</sup>.

Но кардинальное решение вопросов связывалось с центральным правительством (Сибирским и Всероссийским Учредительным собранием). Так, в резолюции Алтайского губернского земского собрания по вопросу о безземельных отмечалось: "Уполномочить Губернскую управу от имени собрания обратиться к центральному правительству с вопросом о том, предполагает ли оно принять меры и какие именно для прочного земельного устройства проживающих в Алтайской губернии безземельных"<sup>22</sup>.

Одновременно шло восстановление основных отделов. Губернское земское собрание, призвав все "живые силы народа сплотиться в единую семью для строительства земства", подчеркивало, что в первую очередь нужно "планмерно и настойчиво поднимать в народе грамотность путем расширения школьной сети, устройства лекций для взрослых, повсеместное открытие лечебниц, поднятие производительности в сельском хозяйстве, улучшение жилищных условий, предоставление населению приобретать материалы по доступным ценам"<sup>23</sup>. Особое внимание обращалось на работу с беженцами. Беженцев селили в общежитиях; лечение и призрение беженцев в больницах, богадельнях и приютах обязаны были принять на себя городские и земские самоуправления.

В июле 1918 г. на заседании третьего чрезвычайного Алтайского губернского земского собрания было принято постановление о вступлении Алтайского губернского земства во Всесибирский Союз земств и городов. Алтайское земство ассигновало, по смете 1918 года, членский взнос Всесибирскому союзу земств и городов один процент сметы 1918 года в сумме 73.450 рублей<sup>24</sup>.

2 сентября 1918 года в Томске начал свою работу 2-ой

Всесибирский съезд земств и городов; на нем были представлены шесть губернских земств, в том числе и Алтайское.

Необходимость созыва съезда устроители его объясняли тем, что молодое сибирское земство с первых же моментов своего существования встретилося с громадными затруднениями, мешающими ему развить деятельность. Затруднения эти были как организационно-хозяйственного, так и политического характера. Причем особую озабоченность вызывало тяжелое финансовое положение земств. Население отказывалось платить земские подати и выполнять повинности.

18 ноября 1918 года произошел военный переворот, в результате которого к власти в Сибири пришел адмирал Колчак, объявивший себя верховным правителем Сибири.

Колчаковское правительство мало доверяло земским органам с их идеями "народовластия". Земцы утверждали, что "земство - это ячейка, на которой строится и держится государство", что "земство - это собрание выборных от людей, живущих в пределах известной территории, ведающих местными делами"<sup>25</sup>. Это мало вписывалось в идею диктатуры. Поэтому нередко были обыски в управах, аресты их сотрудников.

Тем не менее работа продолжалась. Были сформированы и приступили к работе отделы народного образования, здравоохранения, стрелковый, дорожный, финансовый и др.

Отдел народного образования состоял из заведующего отделом, его помощника и шести инструкторов школьного дела, одного инструктора внешкольного образования, трех районных заведующих по внешкольному образованию, одного инструктора дошкольного воспитания, двух инструкторов театрального дела<sup>26</sup>. Документы 1918 года рисуют картину очень плохого состояния школ. Земствам по закону 1907 года были переданы все начальные школы (в том числе и церковно-приходские). У земских органов существовали большие

проекты развития начального, среднего и профессионально-технического обучения<sup>27</sup>, но не было средств и кадров для их воплощения. Так, в Каракарум-Алтайском уезде (Горный Алтай) лишь 20 школьных зданий оказались удовлетворительными, до половины школ помещались в наемных зданиях, отсутствовали наглядные и учебные пособия. Состав педагогического персонала характеризовался преобладанием лиц, окончивших церковно-приходские училища. Со стороны колчаковцев особой помощи ожидать не приходилось, так как уже в первых запросах при сборе сведений о необходимых кредитах по ремонту и наему школьных помещений представители новой власти тут же уточняли, что кредиты могут быть отпущены "в самых скромных размерах". Сами земские деятели, исходя из ситуации, делали вывод: "Если мы будем так медленно продвигаться к всеобщему обучению, то осуществим его лет через 50-60, хотя по школьной сети в планах 1918 года оно должно быть введено в 1938 году, то есть через двадцать лет". И потому ближайшей задачей в этой области было постановлено "собрание материалов и другие подготовительные работы"<sup>28</sup>.

Но земство вело активную работу с учительством, несколько раз проводились учительские съезды. Так в сентябре 1918 г. в Чемале было проведено совместное совещание представителей национального алтайского комитета, отдела народного образования, Алтайской колонии художников и писателей. Было решено наладить совместное издание книг. Особенно подчеркивалась необходимость в печатании детских книг. Была создана специальная комиссия для ведения подготовки к изданию литературы на алтайском языке. В нее вошли, кроме прочих, известные алтайские художники Г. И. Гуркин и П. Г. Туников. Через год материалы к печатанию были подготовлены, но отсутствие необходимых средств, специального шрифта и бумаги показали, что надежды на издание своего органа и книг были необоснованы.

Что касается внешкольного отдела, то его задачей

была просветительская работа среди взрослого населения через вечерние начальные школы для взрослых, сельские библиотеки и читальни, периодические лекции. В Горном Алтае, например, планировалось открыть в 11 селах специальные учреждения внешкольного образования, руководить которыми должны были особые инструкторы. Предполагалось также строительство народных домов - своеобразных центров культурно-просветительской работы. На народный дом в Онгудее земство выделило небольшую сумму, предполагая оставшуюся часть собрать с населения. Но завершить это не успели. Кроме того, была создана общеземская библиотека и несколько небольших библиотек для внешкольных пунктов. В июне-октябре 1919 г. была организована экспедиция на Телецкое озеро.

Нужно подчеркнуть немалое значение земства в области народного образования в том плане, что в тяжелый период гражданской войны оно попыталось хоть как-то поддержать школы и учительство (земство взяло на себя выдачу жалованья учителям, старалось обеспечить школы учебниками, тетрадями и т. п.). В 1919 г. в Чемале была открыта учительская семинария, которую возглавил Б. Ф. Добрынин, приват-доцент Московского университета. Но в условиях разрухи реальные результаты были невелики. Это критически отмечали сами земцы: "Если по статистическим данным алтайской губернской земской управы в Алтайской губернии вне школы остается 76,5% детей школьного возраста, причем оканчивает из них лишь 7,9%, и расход на одного учащегося выражается в 3 рубля 34 копейки, то в Каракарумском уезде, глухом и отдаленном от центров, заброшенном в горах /.../ положение дела народного образования еще печальнее и безотраднее. С введением земства дело почти не улучшилось"<sup>29</sup>.

В земствах был сформирован медико-санитарный Совет, в состав которого входили помимо врачей представители земства и член управы. В начале октября 1918 года в Барнауле была открыта амбулатория для проходящих

больных; в с. Сорокино открыт заразный барак ; были произведены ремонты в Тальменской и Сростинской больницах.

Деятельность в области агрономии также была ненормально эффективнее, чем в других отделах. В губернской земской управе этим отделом заведовал участковый агроном Бийского уезда Малков<sup>30</sup>. Работа по этому отделу сводилась к следующему: выписка специальных журналов, аренда помещений, организация агрономических участков, семенного и земского склада, обследование земельных участков.

Дорожный отдел управы не мог работать из-за отсутствия средств. Содержание Чуйского тракта взяло на себя Алтайское губернское земство, но и ему это оказалось не под силу в связи с катастрофическим состоянием финансов земства. Не имея реальной возможности осуществлять планируемую работу, земцы начали строить весьма интересные, хотя и малореальные, проекты. В феврале 1919 года председатель Губернского земского собрания вошел в колчаковское министерство с докладной запиской по вопросу о замене земской гоньбы автомобильным движением в надежде, что последнее будет дешевле<sup>31</sup>.

Важнейшим направлением работы земских учреждений стал сбор повинностей и налогов. Как отмечали сами земцы, "...самый важный вопрос - вопрос о денежном обложении. Вся тяжесть обложения ложится на крестьян. По смете 1915-1917 гг. с крестьянских земель взималось 79,1% всей сметы, а с торгово-промышленных помещений 7,9%; по смете, проектированной Губернской земской управой (1918-1919 гг.), будет взыскано соответственно 97,3% и 0,8%.

Неравномерность обложения становится еще более видной, если посмотреть на степень повышения различных ставок. Так, ставка с крестьянских земель повысилась в 27 раз по сравнению с прежней за 1915-1917 гг., с казенных земель - в 2 раза и с прочих движимостей - в 2,5 раза<sup>32</sup>.

Сборы с населения производились с помощью мили-

ции, но несмотря на это из 669.099 рублей оклада (обложения) 1918 года удалось собрать только 465.024 рубля. Оклад же 1919 года собирали с еще большими трудностями: к осени 1919 года поступило только 10 процентов всей суммы. Крестьянские хозяйства, истощенные неурожайными годами, разоренные военными действиями, не могли обеспечить исправное поступление налогов. Раскладка и способ взимания податей практически ничем не отличались от дореволюционных, что вызывало протест крестьян. Заведующий окладным отделом Штаден, отметив слабые поступления земских сборов, среди причин этого называл и недовольство населения в отношении обложения.

В результате, к концу 1919 года Алтайское земство оказалось на грани финансового краха.

Земцы подчеркивали, что единственно справедливое обложение - прогрессивно-подходящее, но статистических данных по доходам населения не было, и поэтому предлагалось обложить таким образом только те объекты, о которых были сведения. Признавалось правильным взимать:

1) сборы с земель, лесов городских и принадлежащих сельскому населению;

2) сборы с казенных (бывших кабинетских) лесов;

3) сборы с недвижимых имуществ вне сельских местностей;

4) сборы с промысловых свидетельств на торговые и промышленные предприятия;

5) сборы с фабричных и торгово-промышленных поместий и других сооружений в уездах.

Вместе с тем подчеркивалось, что "обложение земли не обязательно, и сбор в пределах поволостного оклада волостными и сельскими Советами может взиматься со скота, сооружений, хлебных запасов и других предметов, обложение которых будет признано наиболее справедливым, причем раскладка сбора между отдельными членами должна производиться уравнительно. Окладной сбор должен вноситься в два срока по полугодиям"<sup>33</sup>.

18 декабря 1919 года прошло последнее заседание Алтайского земства. Красная армия, тесня колчаковцев из городов Алтая, ликвидировала земства. Главный штаб партизанской Красной армии Алтайской губернии издает приказ о роспуске земств и укреплении Советов, в котором говорится: "...принимая во внимание, что при выборах гласных в земство проходили по большей части цензовые элементы - деревенские кулаки и богатеи, направляющие работу земства во вред трудящимся массам крестьянства, считает недопустимым существование земств и что вся власть как политическая, так и хозяйственная должны принадлежать Советам рабочих и крестьянских депутатов"<sup>34</sup>...

\* \* \*

Итак, история земства в Сибири включает два этапа.

Первый - многолетняя борьба сибирской общественности за земство, вызванная упорным нежеланием правительства вплотную заняться разработкой вопроса о введении земства в регионе и стремлением формирующейся сибирской буржуазии, рупором которой являлась сибирская интеллигенция, самостоятельно решать вопросы местной хозяйственной жизни. Введение в Сибири земства, несомненно, ускорило бы там темпы развития капитализма.

Второй этап связан с коротким, но драматическим периодом существования и деятельности земств в 1917-1919 гг. В эти годы вокруг земств сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, они получили широкий круг прав, демократический порядок выборов, относительную самостоятельность, с другой, - трагический водоворот событий в нашей стране, связанный с жестокой борьбой за власть, не дал развернуться новому земству в полную силу. Крестьянство в массе своей не поддержало его. Сказалось то, что сибирский крестьянин связывал земство

прежде всего с новыми налогами, мало представлял реальное значение земских органов. А хозяйственная разруха привела земство к финансовому краху.

В заключение хотелось бы привести слова одного из общественных деятелей тех лет: "Полгода революции по существу показало, как мало мы подготовлены к восприятию ее. Опасность завоеваниям революции коренится не в явных или тайных монархистах и иных контрреволюционерах, не в "немце", а в нас самих, в несознательности масс, в их неумении жить общественно организованно, в их действии под влиянием настроения, демагогических лозунгов и посулов. И в этом смысле те "культурники"-областники, над которыми издевались сибирские с.-д. типа Н. А. Рожкова<sup>35</sup> и обвиняли их чуть ли не в реакционности и в склонности к кадетству, были правы, выдвигая на очередь мирную кропотливую культурную работу и олицетворяя ее в земских учреждениях..."<sup>36</sup>. Жизнь подтвердила правоту этих слов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бибикова Е. Н. Буржуазные органы власти и самоуправления Западной Сибири и их ликвидация в 1917-1918 гг. Дисс. канд. ист. наук. - Томск, 1970. С. 159.

2. Там же, с. 161.

3. Вестник Временного правительства, 1917, 16 апреля, 22 мая.

4. "Вольная Сибирь", 1918, 30 марта.

5. Веселовский Б. Б. Земство и земская реформа. Пг. 1918. С. 48.

6. ГААК (Государственный архив Алтайского края), ф. (фонд) 233, оп. (опись) 1, д. (дело) № 1, л. (лист) 7.

7. Там же.
8. Там же, л. 8-8 об.
9. ГААК, ф. 233, оп. 1, д. № 1, л. 6.
10. Там же, д. № 38, л. 12.
11. Энциклопедия местного самоуправления и хозяйства. Пг., 1925, с. 27.
12. ГААК, ф. 233, оп. 2, д. № 4, л. 28 об.
13. Борьба за власть Советов на Алтае (под ред. Д. К. Шелестова). М., 1969, с. 62.
14. ГААК, ф. 233, оп. № 3, д. № 4, л. 28.
15. Там же, оп. 2, д. № 54, л. 10.
16. Временная сибирская областная дума. Стенографический отчет. Томск. 1918, с. 15.
17. ГААК, ф. № 233, оп. № 3, д. № 78, л. 74 об.
18. Там же, д. № 182, л. 15.
19. ГААК, ф. 233, оп. № 3, д. № 66, л. 188.
20. Там же, л. 133.
21. Там же, д. № 183, л. 11.
22. Там же, д. № 39, л. 30.
23. ГААК, ф. 233, оп. 2, д. 79, л. 12.
24. Там же.
25. ГААК, ф. 233, оп. 1, д. 7, л. 17.
26. ГААК, ф. 233, оп. 2, д. 94, л. 10.

27. См. Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Вып. 1. Новониколаевск, 1923, с. 239.

28. ГААК6 ф. 239, оп. 1, д. 14, л. 62 об.; д. 1, л. 12 об.

29. ГААК, ф. 239, оп. 1, д. 22, л. 7.

30. ГААК, ф. 233, оп. 2, д. 70, л. 10.

31. Там же, д. 74, л. 8 об.

32. ГААК, ф. 233, оп. 2, д. 90, л. 37 об.

33. ГААК, ф. 239, оп. 1, д. 37 "а", л. 61 об.

34. Борьба трудящихся за установление Советской власти на Алтае (1917-1920). Сборник документов. Барнаул. 1957, с. 175.

35. Социал-демократ, опубликовавший ряд статей, в которых остро критиковал земскую деятельность сибирских интеллигентов.

36. Юрцовский Н. С. Земство в Сибири. Тобольск. 1917, с. 44.

**Александр ОРЛОВ**

## **Мертвые сраму не имут...\***

**\* \* \***

9 мая 1945 года весь советский народ отмечал день победы над гитлеровской Германией. Кровопролитнейшая в истории человечества бойня завершилась. Отгремели победные салюты, отплакали вдовы и наступил мир...

Советские газеты призывали людей к скорейшему восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, городов и сел, но ни в одной из этих газет ни тогда, ни спустя годы не появился призыв: "Граждане и гражданки Советского Союза! Достоин похороните солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны!"

Повсюду, где шли бои, оставались лежать сотни тысяч, миллионы трупов, и в большинстве своем это не были трупы презренных врагов - это были трупы своих! Тех самых, кого красиво называли "павшими за Родину". Большинство из этих погибших были объявлены пропавшими без вести, но никуда не пропадали они, а лежали на своей родной земле, постепенно превращаясь в скелеты, а сегодня уже и почти в прах...

И сегодня всё еще лежат тысячи и тысячи. Без погребения, без поминания.

В середине шестидесятых, на волне подготовки к двадцатилетию Победы как-то вспомнили, что где-то там - в лесах, полях, болотах кого-то забыли, и без особого

---

\* Из готовящейся книги очерков.

шума разрешили отдельным энтузиастам кое-кого похоронить. Похоронили сотни... Гремели литавры: "Никто не забыт!". Трубили фанфары: "Ничто не забыто!".

В середине восьмидесятых прогрессивная тогда "Советская Россия" оповестила своих читателей, что под Мурманском не похоронены целых две дивизии! И опять возник небольшой шум, и опять кое-кого похоронили. Но тысячи и тысячи остались. Их не похоронят никогда! Перестройка давно перешла в перестрелку, и уже новых трупов полно...

"Война не кончается до тех пор, пока не похоронен последний погибший на ней солдат", - так или почти так говорил А. В. Суворов. Так что Великая Отечественная война советского народа всё еще не закончилась, хотя и советского народа уже нет...

На этих страницах рассказывается о первых годах после победного мая сорок пятого, рассказывается о человеке, который, может быть, первым увидел и, увидев, поразился: "Почему? Почему они не похоронены?" Всю свою недолгую жизнь он посвятил тому, чтобы хоронить и найти ответ на мучивший его вопрос. Ответ так и не был найден. Человек, которого звали Орлов Николай Иванович, умер на пятьдесят четвертом году жизни. Всё, о чем я написал, рассказал мне он, почти всё, что он мне рассказал, я видел своими глазами - потом, позднее. Многое можно увидеть и сейчас.

Место действия: деревня Мясной Бор в Новгородском районе на Северо-Западе Новгородской области, на Северо-Западе России. Здесь в сорок втором попала в окружение и почти полностью погибла 2-я ударная армия Волховского фронта. Ее командующим был генерал Андрей Андреевич Власов. Отсюда, из Мясного Бора, начался его путь к другой жизни...

\* \* \*

Пожалуй, нигде так не сказалось пренебрежение Сталина к жизни русских людей, как на практике 2-й ударной армии. Управление этой армией было централизовано и сосредоточено в руках Главного Штаба. О ее действительном положении никто не знал и им не интересовался. Один приказ противоречил другому. Армия была обречена на верную гибель.

А. А. Власов

С чего начать? Может быть, с того времени, когда меня еще не было?

Конец лета сорок шестого года. Маленькая станция километрах в тридцати от Новгорода со странным названием Мясной Бор. Недавно окончившаяся война напоминает о себе на каждом шагу. Стоит только сойти с наскорою руку восстановленного железнодорожного полотна, собранного из рельсов, которые совсем недавно служили перекрытиями блиндажей, как лес покажет свое страшное нутро. Впрочем, лес - это красиво сказано. Только обладая большой фантазией можно назвать лесом то, что называлось так в Мясном Бору сорок шестого года. Охотников ходить туда много не было, хотя и росли там грибы да ягоды, что в послевоенной голодной жизни было немалым подспорьем, но не меньше, чем грибов и ягод, таилось в этом истерзанном войной лесу мин. Русские и немецкие, противотанковые и противопехотные, с сюрпризами и без оных, поджидали они свои жертвы, не дождавшись их за войну. На каждом шагу в этом лесу такое, что нетронутыми остаются грибы да ягоды.

В конце августа сорок шестого приехал в Мясной Бор Николай Орлов - мой старший брат. К тому времени семья наша уже почти год прожила на станции, куда отца направили дорожным мастером. До войны было у матери с отцом пятеро детей, а к сорок шестому году осталось трое (я родился уже в сорок восьмом). Самого старшего - Женю

- не дождались с войны. В дом пришла страшная бумажка со словами: "пропал без вести". В феврале умер Юра, которому едва исполнилось четырнадцать. Смерть свою он нашел в лесу. Осколком гранаты, разорвавшейся после выстрела в нее из винтовки, подобранной тут же, ему поцарапало ногу. Ранка была пустяковой, но через две недели начался столбняк, и Юра умер в ленинградской больнице.

Николай остался в семье самым старшим. По выходным иногда приезжал из Ленинграда Валера, который был на два года моложе. После окончания ФЗУ он работал на заводе "Большевик" слесарем-сборщиком. Самой младшей в семье была сестренка Лидя. Мама пыталась хоть что-нибудь разузнать о судьбе Жени, но на все запросы приходил один и тот же стандартный и бездушный ответ, из которого следовало, что рядовой Евгений Иванович Орлов вроде бы и не жил на этой земле. Только в пятьдесят девятом из военкомата придет извещение, что "Орлов Евгений Иванович, рядовой 99-й стрелковой дивизии, погиб 27 декабря тысяча девятьсот сорок третьего года".

Местные жители, кое-как обживавшие брошенные блиндажи и землянки, оставшиеся после боев, рассказали Николаю, что в лесу, щетинившемся обгорелыми, обрубленными снарядами стволами деревьев, лежат "власовцы"-предатели, что будто бы в сорок втором сдал в этих местах генерал Власов немцам целую армию. Многие тысячи погибли, но собакам, мол, собачья смерть - поэтому и лежат они в лесу до сих пор неподобренные, поэтому и доносит ветер невыносимо сладкий запах с запада. Говорили, что осталось всё в лесу так, как было в сорок втором. Никто там ничего не собирал.

Первый раз в лес он рискнул пойти по единственной тропинке, что вела в сторону бывшей деревни Земтицы, и единственная была не заминирована. По ней все ходили за брусникой. Неподалеку от деревни было болото, где на высоких сухих кочках уродилось в тот год ягоды видимо-

невидимо. Хотя и страшно было соваться в лес, но голод не тетка, да и лесная ягода ценилась наособицу - ее не только можно было съесть самим, но и свезти в не такой уж далекий Питер, где выменять ее на что-нибудь необходимое для жизни.

Тропинка уводила всё дальше и дальше. Слева и справа горбатились заросшие травой спины блиндажей, из травы торчало рваное железо, убегала куда-то в кусты колючая проволока, еще совсем не тронутая ржавчиной. Так и подмывало уйти в сторону посмотреть, что там, в этих блиндажах, но останавливали слова отца: "Ни шагу с тропинки!". Как ни велико было любопытство, но жизнь была всего одна, и прожито в ней всего ничего - девятнадцать лет. Едва приехав домой, Николай успел убедиться, что здешние леса не прощают безрассудных. Почти каждый день в лесу гремели взрывы. Иногда подрывались лоси, кабаны, но чаще - люди...

Внимательно глядя под ноги, Николай и не заметил, как дошел до болота. Только когда увидел слева и справа краснеющую среди мха бруснику на крепких веточках с глянцевыми листьями, понял, что дошел до места. Мох под ногами не тронут ни единым человеческим следом - видно, не добрались еще до брусничника мясоборские ягодники. Ступать по мху было страшновато. Правда, Николай уже знал некоторые приметы, по которым можно было определить взрывоопасный сюрприз.

Огляделся - вроде не видно проволочных оттяжек, которые выдают немецкую мину-лягушку или советскую противопехотную ПОМЗ. Не похоже, что этот мох когда-нибудь тревожили, чтобы упрятать в него взрывоопасные сюрпризы. Сделал шаг, другой - тишина. Постепенно осмелел и рискнул отойти с тропинки в сторону, не теряя ее из виду. Над болотом висела гнетущая тишина, только поздние комары со звоном атаквали неожиданную добычу. Крупные ягоды, похожие на капельки крови, быстро наполняли солдатский котелок и перекочевывали из него в корзину. Переходя от одной кочки к другой, Николай то и дело поглядывал на тропинку - не далеко ли ушел?

Он и не заметил, как увлекся и забрался слишком далеко. Подняв голову в очередной раз, увидел, что тропинка исчезла из виду. Противная дрожь в руках заставила выронить котелок, почти полный брусники. Присев на кочку, сплюнул под ноги: "Вот чёрт, как теперь выбираться?". Оглянувшись, неожиданно увидел неподалеку лису с висевшей клоками грязно-рыжей шерстью. Она что-то рвала зубами, изредка бросая в его сторону злые взгляды, как будто хотела спросить: "Что тебе-то здесь надо?". Николай поднялся и сделал шаг в сторону лисицы. Она недовольно тявкнула, отскочив за кочку, и уставилась на него настороженно. Там, откуда она отскочила, лежала какая-то непонятная грудa тряпья, и только подойдя совсем близко, Николай понял, что видит перед собой труп человека. На выцветших петлицах гимнастерки брусничным цветом горели лейтенантские "кубари".

Убитый лежал навзничь. Нитки, которыми были пришиты нагрудные карманы, совсем сопрели, и один из карманов обнажил свое содержимое. Под отвалившимся клапаном кармана гимнастерки чернел маленький пластмассовый цилиндрок медальона. Тяжелый трупный запах не давал приблизиться. Николай длинной палкой дотянулся до кармана и сдвинул в сторону клапан, легко отделившийся от гимнастерки. Медальон скатился в мох. Зажав нос и преодолевая брезгливость, он, сделав пару шагов, поднял пластмассовый цилиндрок.

Из рассказов отца Николай знал, что такие медальоны давали каждому солдату, и в нем должна быть записка с именем и адресом погибшего. Совершенно забыв про мины, он отошел в сторону и свернул колпачок медальона. Внутри, туго свернутый в трубочку, лежал бумажный вкладыш. Вытаскивать его не решился. "Дома вместе с отцом развернем, а то испорчу еще", - подумал Николай. находка совершенно потрясла его. Никогда до этого ему не приходилось наткаться на убитого солдата. В душе боролись и страх, и любопытство, и горечь: "Может, и Женька где-нибудь вот так же лежит неподобранный, за-

бытый?". Как-то сразу забылись рассказы про предателей. Как погиб этот лейтенант? Почему его не нашли, не похоронили? Болото молчало...

Переведя дух, пошел Николай не назад - на выход, а в сторону от безопасной тропинки - туда, где линия обороны. Как он не подорвался тогда, брат объяснить не мог и спустя годы. Видно, Бог хранил - иного объяснения не находилось.

Метров через четыреста от того места, где он наткнулся на погибшего лейтенанта, начинались линии траншей. Картина, которая тогда предстала перед его глазами, сохранилась в красках на всю жизнь. Через траншею вел след танковых гусениц. Неподалеку, в примятом кусту, беспомощно свесив пушку, стояла обгоревшая с кормы "тридцатьчетверка". В ее борту чернела небольшая пробоина с рваными краями. Метрах в тридцати, оставив позади разорванную гусеницу, приткнулся к поломанному осиновому стволу другой танк. В развороченном оружейном дворике, через который он прошел, разбросав станины и задрав к небу тонкий ствол, валялась раздавленная немецкая тридцатисемимиллиметровая пушка.

Слева и справа видны были разбросанные гильзы, чуть позеленевшие, они перекатывались под ногами, и Николай едва не упал, обходя пушку. За ней, прикрытый опавшей листвой, громоздился штабель зеленовато-серых коробок со снарядами, четко выделялись белые надписи на крышках, указывающие калибр. Открыв одну из упаковок, он увидел двенадцать блестящих гильз: "Как будто вчера сделаны", - подумал про себя. Две немецкие каски с серебристыми орлами валялись неподалеку от ящиков со снарядами. Подойдя и подняв одну из них, Николай прочитал фамилию владельца, написанную внутри белой краской.

Трупов немецких видно не было, кругом виднелись только русские серые шинели. Рядом с оружейным двориком лежали сразу трое. У одного солдата, что был по-

ближе, пальцы руки как-будто прикипели к рукоятке затвора трехлинейки, с недосланным в патронник патроном. Убитые лежали и на траншейном бруствере, и внутри траншеи, и в траве перед ней. Когда Николай подошел поближе к танку, то увидел мертвого танкиста. У того хватило сил, чтобы выбраться из горевшей машины через нижний люк, но уже не хватило сил на то, чтобы жить. Среди множества трупов лежали лотки с неизрасходованными минами от ротного миномета, кое-где валялось немецкое снаряжение, но сколько ни смотрел Николай по сторонам, ему так и не удалось увидеть ни одного немецкого трупа. Похоже, они собрали своих.

В тот день особенно далеко заходить он не решился, заглянул только напоследок в один из немецких блиндажей. Там было всё так, как будто его только что оставили хозяева - вышли на минутку по какой-то надобности и вот-вот вернутся. Свет, падавший внутрь через небольшое окошко из плексигласа, позволял разглядеть внутренность нехитрой военной постройки. На грубо сколоченном столе из тёсаных плах стояла литровая керамическая бутылка, рядом плоская из картона с фитильком, торчавшим из залитого в нее парафина, несколько овальных банок с яркими картинками на крышках, под ними газета с готическим шрифтом. Николай решил войти.

В углу блиндажа виднелся небольшой металлический ящик, напоминавший чемодан с рифленой крышкой. Николай приподнял его за круглую рукоятку - ящик был чем-то набит. Повозившись с запором, он открыл его и увидел внутри ряды новеньких немецких гранат с длинными деревянными рукоятками. В специальном отделении лежала небольшая картонная коробочка с непонятной надписью и красной полосой по диагонали. "Взрыватели", - догадался Николай. Концы рукояток гранат были закрыты аккуратными металлическими колпачками. Достав одну гранату из гнезда, он отвинтил колпачок и увидел в углублении белое фаянсовое колечко на шелковой веревочке. Захотелось попробовать бросить гранату. От людей воевавших

Николай слышал, что у немецкой "толкушки", - так ее называли за схожесть с деревянной толкушкой для приготовления картофельного пюре, - замедлитель горит целых семь секунд, и даже бывали такие случаи, что летевшую гранату перехватывали и бросали обратно - там она и взрывалась. Он отвинтил рукоятку и, достав из коробочки блестящий капсюль-детонатор, вставил его в гранату. Выйдя из блиндажа, Николай дернул за кольцо и бросил гранату за угол. Секунды тянулись необычайно долго. Резкий звук взрыва заставил вздрогнуть и пригнуться. Неподалеку ветку срезал осколок, еще несколько прошуршали в траве. Взглянув, он увидел облачко черного дыма, поднимавшееся над тем местом, где упала граната.

Обратно шел по своим следам, страх, вроде бы совсем забытый, вернулся, как эхо от взрыва гранаты, и заставил вглядываться в каждую кочку под ногами, в каждую железку перед собой. Он вздрогнул от неожиданности, когда среди кустов, которые уже проходил на пути к блиндажу, вдруг заметил угловатую башню с белым крестом и намалеванным рядом с ним номером. Короткая пушка смотрела куда-то в сторону, как будто продолжая выцеливать невидимого врага. Краска на башне не потускнела и не обуглилась - танк не горел. Когда Николай приблизился, то обнаружил: правая гусеница, разорванная взрывом, лежит в метрах двух за танком, чуть в стороне, так как танк без одной гусеницы успел сделать разворот в сторону потерянной железной обувки. Вскарабкавшись на броню, заглянул в открытый люк. Со света видно было плохо, но все-таки разглядел, что внутри всё совершенно цело. Немцы просто бросили его - наверное, некогда было натягивать перебитую гусеницу.

Кое-как выбрался на уже знакомую тропинку, перевел дух. Всё увиденное стояло перед глазами, заставляя сердце учащенно биться. Вспомнил рассказы о предателях, якобы лежащих здесь, но то, что он увидел полчаса назад, как-то не вязалось с предателями. Видно, что здесь дра-

лись не на жизнь, а на смерть. Непохоже, что здесь кто-то сдавался или кого-то сдавали. Что-то не так было в рассказах...

Домой пришел под вечер, отдал матери ягоды и показал отцу найденный медальон, правда, о том, что дошел до обороны, рассказывать не решился. После ужина вместе с отцом достали бумажку, вложенную в пластмассовую капсулу. На узкой желтоватой полоске были хорошо видны карандашные строки, всё отлично читалось. Погибший лейтенант оказался из Одессы.

Ответ на письмо, которое они отправили по адресу погибшего, пришел очень быстро. Откликнулась мать и сестра лейтенанта. Многие строчки письма прочитать было почти невозможно - так оно было залито слезами. Мать писала, что ненаглядный сыночек ушел на войну добровольцем со второго курса художественного института в Ленинграде. С июня сорок второго не было от него никакой весточки, только позднее получили извещение, что пропал сын без вести. Извещению не поверили, всё ждали, что, может, объявится, может, придет. Не дождались...

Строки обожгли такой болью, таким страданием - Николаю стало не по себе. Наверное, именно в этот день появилась у него на сердце зарубка от чужой боли.

Каждый новый поход убеждал Николая, что молва, порочившая лежавших в лесу солдат, запущена не случайно. Тогда он не мог понять, кому и зачем это нужно - понял позднее, но уже тогда он осознал, что кроется здесь какая-то, пока неизвестная ему, тайна. Лес притягивал, манил и пугал неизведанным, страшным.

В один из дней наступившей незаметно осени Николай снова шел по уже знакомой тропинке. В этот раз ягоды его не интересовали, хотя от матери и получил наказ собрать хоть немного клюквы. В прошлый раз, еще на самом выходе из деревни, от которой, правда, мало что осталось, он заметил у дороги покатый бугор, заросший

травой. Из бугра торчала печная труба, рыжая от ржавчины. От бугра к придорожной канаве вела траншея. По этой траншее Николай и подошел к дощатой двери землянки. Дверь, похоже, была снята с разрушенного дома. На ней хорошо сохранились следы голубой веселенькой краски. Сразу за дверью лежали кипы листовок. Одни были форматом побольше, а другие - крохотные, как раз такие, что мужики на закрутку табака отрывают от листа газеты, аккуратно обходя очередной портрет генералиссимуса. "Вы окружены со всех сторон. Ваше положение безнадежно!", - прочитал он на маленьких листочках пожелтевшей бумаги. На этой стороне был нарисован жизнерадостный красноармеец, воткнувший винтовку штыком в землю и поднявший руки, а на обороте было написано: "Эта листовка-пропуск действительна для неограниченного числа командиров, бойцов и политработников РККА, переходящих на сторону Германских Вооруженных Сил".

Зима, пришедшая после осенней слякоти, распутицы, хмурого неба, выбелила снегом жухлую траву, накинула маскировочное покрывало на брустверы траншей, горбы блиндажей, но не смогла скрыть искореженного железа разбитых автомашин, стоявших вдоль изрытой воронками лежнёвки.

Кроме тропинки, по которой ходил до этого, Николай потихонечку освоил и другие лесные пути. Оказывается, по бревенчатому настилу фронтовых дорог, двумя нитками протянувшимися через Долину Смерти - так называлась местность к западу от Мясного Бора - можно было ходить, особо не опасаясь - противопехотных мин не было, а противотанковые человеку не страшны - вес маловат.

Надо было жить, а для жизни много чего надо. В ту пору из леса несли и запчасти для автомашин, и инструмент, и посуду всякую, которую по блиндажам да землянкам из деревень натащили. В пулеметных гнездах набирали стреляных гильз, сдавали их в металлолом - это давало кое-какие заработки.

Чем дальше забирался Николай в глубину израненного леса, тем страшнее картины открывались перед его взором. Убитые лежали повсюду. Километрах в четырех от Мясного Бора на запад течет неприметная речка Полисть, берущая начало тут же, из мохового болота. Когда он дошел до нее в первый раз, то увиденное на ее берегах было похоже на кошмар. Весь лес был срублен снарядами, среди множества воронок - больших и малых - в самых невероятных позах были разбросаны трупы. Их были тысячи. Снег превратил убитых в какие-то фантастические скульптуры, усиливая и без того жуткую картину побоища.

На восточном берегу Полисти, метрах в двухстах, змеилась глубокая траншея немецкой обороны, и перед ней наши убитые были в таком количестве, что казалось: здесь прошла какая-то невероятных размеров коса, скосившая людей как траву - это поработали немецкие пулеметчики. В пулеметных гнездах гильз стреляных было по пояс. Во многих воронках прямо из льда торчали порывевшие лохмотья изодранных осколками шинелей, ноги в ботинках с обмотками. У края дороги, уткнувшись радиатором в воронку от снаряда, стоял разбитый немецкий бронетранспортер с вывороченным бортом. Через огромную дыру были видны внутренности машины, покрытые черной копотью. Среди железного хлама, когда-то приспособленного, чтобы нести смерть, валялись два истерзанных взрывом немца, прямо в небо смотрел дырчатый ствол МГ-34.

К тому времени Николай прекрасно разбирался в оружии, да и трудно было в нем не разобраться, если оно лежало всюду, и покажите мне того мужчину, которого никогда не привлекали огнестрельные игрушки? Пулемет МГ-34 был в этом ряду игрушкой особой. Не зря он назывался "универсальным" - в отличие от советского "дегтяря" МГ стрелял и от ленты, и от специальных магазинов, то есть мог использоваться как станковый и ручной. Скорострельность его была более высокой, чем у

пулемета Дегтярева, и он буквально перерубал цель своей очередью.

Взобравшись на гробообразную тушу бронетранспортера, Николай потянул пулемет за ствол и вытащил наружу. В двух круглых рифленых коробках по бокам была видна блестящая лента с патронами. Передернув затвор, он пристроил МГ на борт транспортера и нажал на спуск. Пулемет мягко дернулся в руках, и над недалекой воронкой взметнулся фонтан коричневой болотной воды, перемешанной с ледяным крошечком. Желтые латунные гильзы веером рассыпались на снегу. Эхо выстрелов отозвалось в черной утробе бронетранспортера гулкой дробью.

Слева от того места, где он остановился, колыхался высокий тростник. Полюсь, река хотя и небольшая, но по весне разливается метров на триста-четыре от русла и потом, когда вода возвращается в берега, ее место занимают тростниковые заросли выше человеческого роста. Ветер раскачивал тростник туда-сюда, и Николай уже почти перевел взгляд, когда заметил в тростнике что-то непонятное. Он пригляделся и увидел нечто похожее на хвост самолета. Идти туда было страшновато, но любопытство все-таки победило страх. Мороз крепко прихватил землю, и противопехотные мины нажимного действия не срабатывали, а натяжного действия выдавали себя проволочными растяжками, хорошо заметными в полегшей траве. Правда, в тростнике обнаружить их будет труднее, но Николай уже достаточно хорошо освоил это дело. Он еще раз пригляделся - самолет лежал за линией траншей, рядом с которыми он стоял. В низине, заросшей тростником, траншей не было, но если продолжить мысленно извилистую линию, которая тянулась вдоль реки, то она как раз пришлась бы на тростниковые заросли. "Там вроде бы и мин-то не должно быть, хотя, чёрт его знает. Ладно, проберусь как-нибудь. Где наша не пропадала!"

До самолета дошел минут за тридцать. Прежде чем сделать шаг, внимательно осматривался вокруг и только

тогда продвигался еще на метр. Мессершмидт лежал на брюхе, чуть зарывшись моторной частью в болотину. Пятнистая зеленая маскировочная окраска хорошо сохранилась и указывала на то, что сбили его летом. На левом борту под кабиной виднелось большое зеленое сердце с белой окантовкой, за ним белый двойной треугольник и дальше к хвосту - крест. Фонарь кабины был закрыт, и когда Николай туда заглянул, то отшатнулся: завалившись на ручку управления, в кабине сидел совершенно целый летчик. Голова в шлеме с небольшими пластмассовыми наушниками уткнулась в приборную доску - видимо, при ударе о грунт, что скорее всего и послужило причиной гибели пилота. Как открыть фонарь? Пришлось довольно долго повозиться, прежде чем угловатый колпак откинулся вправо. В нос шибануло резким запахом тления, бензина и чего-то непонятного. С левой стороны, за спинкой сиденья, торчал уголок планшета. Николай потянул за ремешок и достал планшет из кабины. В нем была вложена полетная карта с нанесенными маршрутами полетов. Линии маршрутов тянулись от Сиверской к Мясному Бору, к Мосткам, к Спасской Полисти - деревням неподалеку от Мясного Бора - району, где была окружена 2-я ударная армия генерала Власова, а с ней части 52-й и 59-й советских армий. Вместе с картой лежали два письма. Школьных знаний немецкого для их чтения явно не хватало, и Николай сунул письма обратно в планшет, чтобы дома попробовать перевести их с помощью соседки, которая была родом из Латвии и хорошо знала немецкий язык.

Вернувшись назад к бронетранспортеру, Николай, осмотревшись, заметил неподалеку от бронированной коробки лежавшего на боку солдата. Из-под козырька каски прямо на него смотрели пустые глазницы черепа, чуть тронутая ржавчиной самозарядная винтовка Токарева лежала рядом, на стволе блестел примкнутый ножевой штык. Из разорванной противогазной сумки торчали какие-то бумаги. Подходить к полуразложив-

шемуся трупу было страшновато, но хотелось посмотреть, что же за бумаги хранил боец в противогазной сумке.

Это были письма, завернутые в газету. Они хорошо сохранились, несмотря на то, что пролежали под дождем и снегом несколько лет. Конечно, бумага слиплась, но карандашные строки четко читались на подмокших тетрадных листах. На одном из конвертов был написан адрес: "Действующая армия, полевая почта 1550". Уже позднее брат узнал, что такой номер полевой почты был у штабных подразделений 2-й ударной армии.

Немецкие письма с помощью соседки удалось прочитать в тот же вечер. Летчику писала сестра из Лейпцига: "Здравствуй, дорогой Отто! Вчера мы отметили твой день рождения. Я знаю, что мое письмо будет идти долго, но я поздравляю тебя с началом двадцать седьмого года жизни. Мы очень волнуемся за тебя и гордимся нашим милым мальчиком. Доблестные войска Германии одерживают на Восточном фронте одну победу за другой, и ты в русском небе воюешь за Великую Германию. Мы ждем не дождемся, когда ты приедешь в отпуск и обнимешь меня и мутти". Второе письмо было написано самим погибшим и кончалось словами: "...опять сигнальная ракета. Я вылетаю, чтобы сбивать "русфанер", которые пытаются сбрасывать боеприпасы и продовольствие окруженным в Волховском котле". Дописать письмо немецкому летчику-истребителю уже не пришлось...

С каждым походом Николай всё более смелел, учился преодолевать ловушки, оставленные войной, и каждый поход давил на него новым грузом увиденного. По выходным из Ленинграда приезжал брат Валерка, и тогда в лес ходили вдвоем. Потихоньку научились не только обнаруживать мины, но и снимать, и обезвреживать их. Кое-какие секреты этого опасного дела вывели у сапёров, работавших летом на разминировании. Наши мины были попроще, но от этого и более опасными. Многие из них лучше было обходить стороной. В немецких было

наворочено всяких хитрых предохранителей и прочих штучек. Всё было очень тщательно сделано. Эти мины были достаточно сложными, но их устройство не представляло особого секрета, благодаря инструкциям, найденным в немецком блиндаже. Перевести их помогла всё та же соседка. Правда, в отличие от писем немецкого летчика, ей пришлось повозиться со специальной терминологией, но вместе осилили, и с тех пор Николай считал себя достаточно подкованным в саперном искусстве.

Зима многое скрыла под подмерзшей землей, но и наверху недостатка в наглядных пособиях войны не было. Кругом лежали штабеля ящиков со снарядами, лотков с минами разных калибров к минометам. В какой только упаковке не пряталась смерть! Немецкие минометные мины лежали в темно-зеленых коробках, похожих на аккуратные чемоданчики. В маленьких и пузатых - по десять мин калибра 50 мм, блестящих алюминиевыми головками; в чемоданах побольше и более плоских - по три мины калибра 81,88. Здесь был богатый выбор: серые - дымовые, зеленые - прыгающие осколочные, желтые с красной полосой - зажигательные.

Как-то раз отважились пострелять из миномета. Нашли с Валерой маленький, похожий скорее на игрушку, чем на оружие, немецкий пятидесятимиллиметровый миномет. Повозившись с блестящими рукоятками, сообразили, как привести его в боевое положение. Выставили коротенький ствол градусов под сорок пять и бросили в него мину. На всякий случай отвинтили головку со взрывателем - вдруг в стволе взорвется. Раздался хлопок вышибного заряда, и мина, жутко завывая, унеслась в небо. Вторую бросили с головкой. Выстрел! Через короткий промежуток - взрыв! Резкий, но не очень громкий, с подвизгиванием разлетающихся осколков. Штук пятьдесят мин расстреляли моментально. Мины ложились кучкой: одна к другой. Кустарник, куда они падали, изрядно поредел. "Вот так и наши падали под минометным огнем, как эти ветки", - раздумчиво произнес Валерка.

Домой в тот день вернулись затемно, нагруженные трофеями. Уплетая за обе щеки небогатый послевоенный харч, рассказывали родителям об увиденном. Мать только головой качала: "Куда вас черти носят!".

В брошенных блиндажах попадалась всякая всячина. Кроме оружия всевозможных систем и назначения, частенько находили карты с нанесенной боевой обстановкой, личные документы, газеты - наши и немецкие. В немецких писалось, что доблестные войска фюрера громят противника на всех фронтах и повсюду: на земле, в небесах и на море. В советских - под знаменем Ленина-Сталина одерживали одну за другой победы над кровавым фашистским зверем доблестные советские войска. Кроме центральных: "Правды", "Красной звезды", "Известий" Николаю попадалась и маленькая армейская газета, отпечатанная на плохой серой бумаге. Название ее было: "Отвага". Только много лет спустя он узнал, что так называлась газета 2-й ударной армии. На ее страницах пехотинцы и танкисты, артиллеристы и минометчики показывали чудеса героизма, громя врага на пути к Ленинграду. Политуправление армии предрекало близкую победу: "Мы уже приближаемся к выполнению поставленной задачи. Измотанные в прошедших боях, вшивые, изголодавшиеся орды гитлеровских вояк, чувствуя свои последние дни, яростно сопротивляются могучему напору наших частей.

Но силы немцев слабеют с каждым часом. Фашисты мечутся, как бешеные псы, стремясь задержать наше наступление. Тщетны их усилия! Мы успешно пробиваем и пробьем себе дорогу по трупам фашистской сволочи.

Навстречу нам движется могучая лавина славных воинов Ленинградского фронта, идущих на соединение с нами. Остался еще один бросок на Любань, и выстрелы наших орудий, пулеметов, винтовок сольются в единый победный хор с героическими залпами бойцов города Ленина!".

Весной море разливанное воды заполонило лес. Раскисшие зимники превратились в реки. Без хороших сапог никуда ногой было не ступить, а сапог-то как раз и не было. Николай щеголял в армейских ленд-лизовских ботинках из толстой красноватой кожи. Обувь была хоть куда, только не по мясоборской весенней распутице. Но лес манил к себе еще нераскрытыми тайнами, и никаких сил не хватало, чтобы усидеть дома, дожидаясь дня, когда можно пойти в знакомые места без риска утонуть по уши.

По утрам землю еще нет-нет да и прихватывал морозец, выбеливая уже проклюнувшуюся молодую травку, но силы его хватало на час-полтора, а потом весеннее нетерпеливое солнце и следа не оставляло от заморозка. Очень скоро, дождавшись первого тепла, лес заполонили подснежники. Их белые ковры утверждали торжество жизни, но, правда, не везде торжествовала жизнь, не везде цвели цветы. Во многих местах ни трава, ни вездесущие подснежники не росли, только лишайник робко пытался зацепиться за обгоревшую землю. Казалось, что живая земная плоть умерла здесь вместе с теми, кто погиб в сорок втором.

Неподалеку от станции Мясной Бор, там, где проходил спасительный коридор, пробитый ценой невероятных усилий для вывода остатков 2-й ударной, чернели мертвые стволы деревьев со сбитыми снарядами верхушками. В каждом из этих убитых деревьев были сотни пуль, осколков, а иногда и неразорвавшихся мелкокалиберных снарядов. Деревья стояли сухие до звона, и их частенько пилили на дрова. Это была еще та работенка! Зубья пилы то и дело скрежетали по стали, но самое "веселое" начиналось, когда напиленные дрова попадали в печь. Бах! Бах! Ба-бах! - только кастрюли удерживай. Иногда гроыхало так, что дверца печки распахивалась и поленья вылетали на пол.

Как только чуть подсохло, Николай отправился в сторону уже знакомой реки Полисть, но на этот раз он

пошел по другой дороге, которая шла параллельно его зимнему пути. Километрах в полутора от Мясного Бора до войны стояли дома деревни Теремец-Курляндский. Называлась она так потому, что жили в ней, в основном, латыши, перебравшиеся в новгородские края еще в прошлом столетии. Деревня - ухоженная, в садах вокруг крепких домов. Война не оставила от нее ничего. Только камни обозначали теперь места, где несколько лет назад стояло человеческое жилье. Прямо по деревне проходила в сорок первом-сорок втором году передовая. Артиллерийский огонь разметал крепкие стены изб, а то, что осталось, растащили на блиндажи. От прежнего деревенского великоления остались только чудом уцелевшие кусты малины, обожженные яблони да неистребимые георгины.

Дорога от станции Мясной Бор вывела прямо к бывшей мельнице. Зимой сорок второго ее в пух и прах рассадили фашистские самолеты-пикировщики Ю-87, и лишь кругляки каменных жерновов напоминали, что здесь когда-то мололи хлеб. Справа от мельницы, на перекрестке дорог, была вырыта стрелковая ячейка. Не верилось, что ее давно покинули хозяева. В нише под бруствером блестили винтовочные патроны в разорванной пачке, зеленели непотускневшей краской две гранаты РГД-33. Рядом лежали красными карандашиками невставленные запалы. На дне ячейки валялись в беспорядке стреляные гильзы и втоптаный в грязь котелок. От ячейки уходила траншея. Николай пошел по ней, на ходу подбирая то гранату, то пачку патронов, перевязанную бечевкой, то забытую кем-то фляжку. Дно траншеи было сплошь усыпано всяким военным имуществом.

Здесь вперемишку валялись ремни амуниции, брошенные пулеметные ленты, цинки, ящики, какие-то тряпки, каски и много чего другого. Среди разнесенных снаряженным взрывом бревен и досок лежал на боку станковый пулемет с недострелянной матерчатой лентой, и прямо под ним, из-под подгнивших в сырости тряпок гимнастерки, виднелись белые ребра убитого пулеметчика. Он был полу-

засыпан землей, из которой торчала нога в таком же, что и у Николая, американском ботинке. Над траншеей висел сладковатый запах разложения. Дыхание перехватило, в горле встал комок тошноты. В метре от убитого лежали бурые спутанные бинты и прорезиненные упаковки от разорванных индивидуальных пакетов. Было видно, что здесь кому-то пытались оказать медицинскую помощь. За поворотом траншеи на бруствере, немного осевшем от дождей и времени, торчала забытая трехлинейка...

Метров через четыреста наткнулся на бетонное кольцо пулеметного гнезда. Его черная амбразура смотрела на запад - как раз в сторону, куда он собирался идти. Над верхним обрезом виднелись четкие следы пуль. Одна из них так и осталась торчать в бетоне. Похоже, что стрелок с немецкой стороны не раз сменил обойму, пытаясь подавить мешающую огневую точку.

Дощатая дверь была открыта, и, пробравшись через нее в огневую точку, Николай рассмотрел в луче света, падавшего через прямоугольник амбразуры, внутренности крохотного помещения. Несколько пустых коробок из-под дисков от ручного пулемета Дегтярева лежали справа от входа. Настреляно их было порядочно...

Когда выбрался наружу, то после затхлого, прокисшего воздуха пулеметной точки весенний лесной настой показался таким опьяняющим, что закружилась голова.

Длинная поляна, по которой тянулась траншея, когда-то была деревенской улицей, но теперь об этом напоминали разве что кусты сирени, которые только начинали оживать после войны. Почему-то представилось, как заглядывали ветви этой сирени в деревенские окошки, как отражалась в этих окошках довоенная мирная жизнь. Глядя сейчас на то, что от той жизни осталось, с большим трудом можно было поверить, что так когда-то и было. У самого края поляны, под ивовым кустом, желтевшим роскошными сережками, что-то блестело. Это "что-то" при ближайшем рассмотрении оказалось обломками детской коляски. На металлических частях еще сохранились

лохмотья голубой обивки. Откуда она здесь, в деревне? Ведь до войны детская коляска была диковинкой. Правда, здесь латыши жили, они, наверное, богатые были, да и их Латвия - это та же граница. Оттуда, должно быть, попал этот диковинный предмет в Теремец и вот напомнил о прежней жизни.

Незаметно Николай дошел до немецкой обороны. Высокий бруствер возвышался среди истерзанного кустарника и чахлых березок. Фрицевские траншеи сильно отличались от русских своей фундаментальностью, основательностью постройки. Добротные сделанные блиндажи имели несколько накатов из утащенных с железной дороги рельсов, шпал или толстенных бревен. Почти в каждой стрелковой ячейке стоял бронированный щиток с небольшой амбразурой, который надежно защищал стрелка от огня противника. В траншеи были установлены насосы для откачки воды, так как места вокруг болотистые и в воде недостатка не бывает в любое время года. Правда, как-то всегда получалось, что траншеи немцев шли по высотам, посуху, а по болоту, где и углубиться-то нельзя было, шли наши траншеи. Немцы старались создать себе максимально возможный комфорт даже во фронтовых условиях...

За ивовым кустом, до которого добрался Николай, рядом с маленькой воронкой лежали ничком два бойца. У одного каска свалилась с головы, и были видны пряди русых волос. Метрах в трех от них лежал навзничь третий. Лица у него уже не было, но волосы на черепе сохранились и у него - этот был чернявый. Свалившийся чуб над черными дырами глазниц создавал жуткое впечатление. Голова у него была разбита крупным осколком, угодившим в правый висок. От дыры в каске шла трещина. У поломанной березы на боку лежал капитан. Он свернулся калачиком, как сворачиваются во сне дети, но слишком долгим был сон капитана...

Неподалеку виднелся невысокий каменный бруствер. Оттуда в сторону Николая смотрел ствол ручного пулемета. Подойдя поближе, он увидел еще двоих. За пуле-

метом затих сержант, на малиновых петлицах его гимнастерки алели треугольнички. перед ним лежали две противотанковые гранаты и две Ф-1, а в стороне блестела горка стреляных гильз. Тут же стояла открытая коробка с пулеметными дисками. Один из дисков лежал под рукой второго убитого. Этот был рядовым. Оба погибших были обуты в ботинки с обмотками. У солдата ботинки совсем развалились, и подметки держались только потому, что были прикручены телефонным кабелем. Видно было по всему, что смерть нашла обоих в самый разгар боя. Они поддерживали огнем своих, прорывающихся через линию немецких траншей, но не суждено было ребятам подняться и догнать перешедший смертельную черту взвод. Ни молодые березки, что робко тянулись к жизни среди смерти, ни истерзанная земля, с трудом оправлявшаяся от ран, не могли поведать подробностей этого боя, о них можно было только догадываться...

**Андрей САМОХИН**

## **США на пороге XXI века\***

Одно перечисление имен авторов, принявших участие в этом сборнике, заставит "потускнеть Трафальгарскую площадь". Тут и Р. Никсон, и Дж. Картер, и сам Р. Рейган. Возможно, что автор этого обзора и не решился бы приняться за работу, если бы... коммунизм не пал вместе с СССР.

Все авторы: президенты, как настоящие, так и бывшие, вместе с другими выдающимися американцами - учеными и государственными деятелями - пытались проанализировать возможные пути движения США, великой сверхдержавы, в ближайшее будущее. В известном смысле, это футурологический анализ, сделанный лицами, располагающими самой секретной и надежной информацией, необходимой для подобного анализа.

Но все эти весьма значительные и умные люди не сумели предсказать, что коммунизм, которого они столь боялись и которому уделено столь много места в их рассуждениях, внезапно рухнет без войны и восстания и даже без всеобщей забастовки. Впрочем, кто знает. Возможно, что всё еще впереди.

В этом сборнике на удивление мало места уделено анализу тех сил, которые реально действовали и могли погубить коммунистическую тиранию. А в то время, когда

---

\* На материале сборника "Thinking about America. The United States in the 1990,s". Ed. by A. Anderson and D. L. Bark. Изд. Институтом Гувера, 1989 г., 590 сс.

большинство авторов писали свои статьи, уже было видно невооруженным взглядом, что СССР затрещал по швам... Также совершенно не анализируются перспективы посткоммунистического развития того, что еще совсем недавно звалось СССР. Причем уже задолго до прихода к власти Горбачева существовали вполне разработанные, хорошо сбалансированные программы, как, например, "Путь к будущей России - политические основы Народно-Трудового Союза российских солидаристов". В ней четко разработаны основы перехода к правовому и открытому обществу именно в посткоммунистический период. Вся программа, как, впрочем, и другие документы НТС, подготавливались именно в расчете на неизбежный и скорый крах коммунистической тирании.

Однако, если в определении сроков существования СССР и коммунизма американские президенты явно ошибались, да и советские силы, а главное - решимость советских хозяев они также преувеличивали, то, что касается места США в будущем, они не колебались и достаточно откровенно говорят об этом месте. Заботит же "лучших людей" удержание этого самого - первого - места. Причем говорится об этом куда более откровенно, чем у бывших советских владык, которые свои пожелания, даже если они у них имелись (мы говорим здесь о самом ничтожном последнем слое советских руководителей), тщательно скрывали и лишь туманно повествовали о "неизбежной победе коммунизма" в весьма, надо отметить, неопределенном будущем.

У президента, точнее - бывшего президента, Р. Никсона всё гораздо откровеннее. Он прямо заявляет, что необходима "историческая перспектива" при оценке будущего места США в мире в следующем столетии. Причем, если, по его словам, могли быть какие-то сомнения о роли США в мире в конце XIX столетия, то ныне, сто лет спустя, на пороге XXI века, нет никаких сомнений о будущем месте США среди всех остальных стран. Так сказать, быть страной "не первой среди равных", а "главной среди рав-

ных". Никсон прямо говорит: "Жизненно необходимо для США играть главную роль" (с. 9). Достаточно откровенно сказано для времени, когда США еще не одержали победу в холодной войне. Оправдывать такое откровение "вслух" существованием СССР даже удивительно, ибо у всех на памяти еще и 30-е годы, когда один руководитель одной великой державы свои намерения также оправдывал существованием СССР и всем отсюда проистекающим...

Р. Никсон, лицо неофициальное, но всё же бывший президент. Можно было бы и не напоминать о его словах, если бы не действия США в последние годы. Если захват Гренады вызвал у автора этих строк радость, то последовавшее затем вторжение в Панаму вызвало просто недоумение. Отнести к коммунистам руководителя этой страны никак было нельзя, как, впрочем, и к атеистам... Затем последовало уже совсем невероятное - вторжение на Ближний Восток и, наконец, совершенно безумные угрозы в адрес Югославии, где коммунисты давно уже не правят. И это при том, что именно православные народы Югославии подвергались страшному геноциду, который и объясняет все события, ныне происходящие.

Американский президент уверен, что США переделают мир в XXI веке "политически через стратегию достижения подлинного мира" (с. 10). Если судить по началу подобной переделки, или, если хотите, "перестройки" мира, которую мы наблюдаем, то можно предположить, что ожидает человечество в XXI веке. В США существует основа для проведения такой политики с другими странами.

В целом, работа Р. Никсона неприятно удивляет. Некоторые места звучат, как части из речей на съездах КПСС. Бывший американский президент, не задумываясь, утверждает, что в ближайшем будущем американцы решат все проблемы, даже голода и нищеты, и не только в США, но и "во всем мире" (с. 11). И даже устранят все болезни, в том числе рак и СПИД. Последнее особенно пикантно, если вспомнить, что очень многие убеждены, что СПИД "выполз" из США. Но Р. Никсон всё же упоминает о

СПИДе, большинство же авторов не делает даже и этого. СПИД - весьма неприятное облако, закрывающее перспективу счастливого американского будущего.

Более интересна и содержательна работа самого Э. Теллера. Однако даже у столь крупного ученого отсутствуют "некоторые границы". Такой мыслитель заявляет, что решения, которые примут США в 90-е годы, окажут влияние не только на США и СССР (последнее подтвердилось), но и - не более и не менее - "определят природу третьего тысячелетия на всем земном шаре". Так и слышится знакомая песня: "Мы в битвах решаем судьбу поколений". Творец водородной бомбы идет даже дальше и обсуждает судьбу всего "шарика" да еще на тысячелетие. Опять начинается обсуждение тысячелетнего царства (с. 31). Скажем только, что мы не имеем возможности обсуждать здесь тысячелетние царства и их судьбу... Они слишком опасны и, главное, утопичны по самой сути. Отсылаем всех к работам серьезного американского теолога П. Тиллиха, который достаточно ясно раскрыл суть любого умствования "о тысячелетних планах спасения, рейхах, светлых будущих всего человечества и т. д..." (P. Tillich. The Systematic Theology. 1964, v. III, pp. 378-380). И читать подобное у Э. Теллера неожиданно и неприятно, и страшно. Эти две работы - Р. Никсона и самого Э. Теллера опечалили...

Слаб разум человеческий, и никак мы не можем знать, что ожидает нас через месяц, а уж говорить о перспективах для всего земного шара наивно - или же здесь есть какой-то непонятный расчет?

О многих работах сборника, к сожалению, нет смысла говорить. Всё, что там написано об СССР, бывшем СССР, уже безнадежно устарело. Перед США стоят новые проблемы. Нужен новый анализ положения на евразийском пространстве.

Заметим, что достаточно часто в сборнике, как, впрочем, и во множестве "советологических" и "кремленологических" работ и исследований говорится об "упадке" и

"кризисе" советской системы. Наступил же этот кризис - и прежде всего экономический - около середины 70-х годов. И даже "признаки социальной патологии" отмечают Г. Ровен и Д. Данлоп (с. 48-49). Для нас все подобные утверждения представляются несколько странными. Начиная с 1917 года Россия непрерывно находилась в состоянии "социальной патологии". Это был постоянный тяжелый кризис в промежутке между жесточайшими войнами, вторжениями и хорошо организованным геноцидом. Разве в 1945-53 годах мы не находились в состоянии не только кризиса, но и настоящего голода и упорной партизанской войны.

Поэтому такого рода определения ничего не говорят, и авторы, участвующие в этом сборнике, вряд ли должны использовать их. СССР и его хозяева ослабили политически, раз они пошли на многие уступки западным странам, уже в те годы. А первые такие большие уступки были сделаны в середине 60-х годов, точнее, в 1967 и 1968 годах, когда первые сотни евреев стали выезжать из СССР. Тогда это казалось совершенно невероятным, чтобы вот так получить разрешение и... уехать. Помню, как поражены были этим многие. Именно это, а не "снижение производительности труда в 70-е годы", как указывают авторы, является подлинным рубежом, откуда и началось сползание коммунизма к своей могиле.

В свою очередь, эти изменения и уступки США были в значительной мере связаны с разрывом с Китаем. И не только с военным или экономическим аспектами событий 60-х годов, а именно с тем впечатлением, которое произвел на всех, подчеркиваю, на всех в СССР разрыв с Китаем, и все последовавшие за этим действия, включая и подписание Договора о нераспространении атомного оружия с США в 1963 году. Собственно, с него и начинается настоящее серьезное противостояние с Китаем, продолжавшееся вплоть до начала "развернутого строительства... перестройки". Ибо известное уважение к военным возможностям советских владык исчезло. Всем стало ясно, что в

случае действительного конфликта, будь то с США или с Китаем, другая сторона всё равно вмешается. Мы не сможем, как осенью 1941 года, снять войска с одной границы и бросить их против другого противника. И это утверждение было справедливо даже в случае конфликта с применением "обычных средств ведения войны". Советские вожди смекнули это положение и, вероятно, в самом конце 60-х, так сказать "роковых", годов попытались договориться с США насчет некоторых превентивных действий относительно "китайских товарищей". США, видимо, отказались, а действовать самостоятельно советские правители так и не решились. Сползая постепенно в пучину безвыходности.

Затем последовал Афганистан. Уже без одобрения США и даже при явном несогласии очень многих советских военных чинов. А затем наступила катастрофа. С 1980 года США и силы, их поддерживающие, перешли в наступление, сначала в Польше, а затем и в других регионах. Вот как представляется нам, изнутри, схема конца советской тирании и гибели марксизма в СССР. Как и предполагалось еще в 1917 году, вместе со всей великой страной...

Кстати, другой автор рецензируемого сборника, К. У. Вайнбергер, этот момент подчеркивает, говоря, что Россия не сумела избежать опасности "двух гипотетических противников на Западе и на Востоке" (с. 168-170). Этот же автор, говоря о национальной обороне в следующем десятилетии, подвергает справедливой критике книгу П. Кеннеди "Возвышение и падение великих империй" за весьма и весьма пессимистические предсказания в адрес будущего США как великой сверхдержавы. Он даже с изрядной долей иронии называет этого автора "новым гуру".

К. У. Вайнбергер решительно отвергает всякие попытки вернуться к положению "Америка-крепость". Нам последнее кажется значительно преувеличенным, ибо мы помним из истории США, что ни по "мексиканской экспедиции", ни по "филиппинскому походу" никак нельзя сказать, что американцы с середины прошлого века отсиживались в своей "Америке-крепости". Вплоть до наших

дней в Панаме, Ираке или даже несчастной Югославии... Американские круги становились всё шире и шире и, по правде сказать, разбивались они только о стены "недвижного Китая". Вспомним Маньчжурию начала века, затем 1949 год и приход коммунистов к власти. Что же будет теперь? Как попытаются США "повлиять на Китай"? Возможен ли в Китае "советский вариант", то есть реформы, которые полностью не подготовлены, и разоружение армии? И уже как следствие - распад страны и даже гражданская война в отдельных ее областях?

Целиком китайской проблеме в столь солидном сборнике столь солидных авторов, к удивлению, посвящена лишь одна работа - Р. Х. Майерса. Автор начинает несколько странно с заявления, что китайцы не являются истинными друзьями Запада. У нас это может вызвать только улыбку. Специалист, пишущий на столь высоком уровне, не может всерьез считать, что какой-либо руководитель великой страны может являться чьим-либо другом. Тем более это справедливо для Китая. Китай не СССР. Это "одна раса, влитая в одну державу" (С. М. Георгиевский). Западу будет противостоять не коммунизм, как это было с СССР, а сам Китай. Борьбы между "русским" и "коммунистическим", как это было в СССР, по определению А. Улама, в Китае не происходило. Или происходило в крайне ослабленном виде.

Интересным является краткий, всего на одну страничку, анализ положения в Китае к 2000-му году. В рассуждениях имеется, как нам представляется, противоречие. С одной стороны, автор предсказывает удаление (постепенное) партии от полного контроля над страной, а с другой стороны, полагает, что юридические структуры станут преследовать диссидентов столь же жестоко, как и раньше (с. 74). Нам подобное утверждение представляется совершенно необоснованным. Отход партии от руководства всей жизнью страны будет означать такие изменения, что предсказывать действия главных органов управления Китая совершенно невозможно. Тем более, что несколько-

ми строками ниже автор пишет, что будущее зависит от способности китайских руководителей поддерживать контроль над идеологией (с. 74). Это прямое противоречие.

Будущее Китая, а, следовательно, и в известной степени будущее человечества будет зависеть, по крайней мере в ближайшее время, от того, сумеет ли Китай обеспечить в достаточной степени продуктами питания свое гигантское и постоянно растущее население. Вот его основная проблема. Что же до утверждения автора, что снабжение продуктами населения Китая зависит от тонких технологий Запада, верно, но это же известно было и 30 лет назад. В остальном же приходится признать, что китайцы сумели справиться с целым рядом проблем весьма успешно.

Смогут ли США мириться с усиливающейся мощью Китая? Собственно, Китай как бы занимает место, принадлежавшее ранее СССР. А со времен геополитика Н. Макиндера (1904 г.) известно, что если Китай, например, захватит внутреннее евразийское пространство, к примеру, от остатков бывшего СССР, то тогда он невиданно усилится и станет невероятно опасен для Запада. Так полагал Н. Макиндер. В руках Китая окажется "хартленд" - срединная, "сердцевая" - земля, а у кого в руках это пространство, того победить, возможно, и не удастся. Впрочем, американцы уже поняли, в чем дело, и спешно создают радиостанцию по типу "Свободы" или "Свободной Европы" для Азии, которая станет всей своей мощью вещать на Китай, как ранее Запад вещал на СССР и свою задачу выполнил.

В целом же, как и представлялось ранее, американцы значительно преувеличивали мощь СССР, особенно его ракетно-ядерных сил. Еще в 1973 году в издательстве "Посев" вышла книга Л. Владимирова "Советский космический блеф" - тогда "Посев" понял важность и значимость этой работы и точность сообщаемых в ней сведений. Правители СССР упорно занимались "космическим блефом" на протяжении многих десятилетий. Поэтому обобщения, де-

лаемые в работе еще одного автора рецензируемого сборника - Р. Ф. Стаара о могуществе стратегических сил СССР, уже тогда были неверны (сс. 160-161). В США руководство и разведка, в целом, сгущали краски и преувеличивали мощь советского ядерного оружия для получения значительных новых ассигнований для военной промышленности, да и для своих политических, часто скрытых, целей.

Многие статьи сборника весьма интересны и касаются таких проблем, как развитие современных технологий или возникающих сложностей в современной агропромышленности. Оценивать эти работы, не будучи действительным специалистом, причем часто достаточно узким в той или иной области современной индустрии или агронауки, может оказаться слишком смелым делом. Однако большинство выполненных анализов в той или иной области прямо или косвенно связаны с борьбой с коммунизмом и с СССР. Ныне СССР пал и развалился, и в течение короткого периода взаимоотношение сил изменилось. Теперь большая часть теоретических расчетов просто не имеет смысла.

Здесь наиболее интересной для построения моделей возможных будущих ситуаций является работа М. Крауса об иностранной помощи, протекционизме и национальной безопасности. Конечно, приоритеты американской политики определить достаточно легко. Что бы ни случилось в обозримом историческом будущем, помощь целому ряду стран, безусловно, будет продолжаться и прежде всего странам НАТО (хотя эти в ней нуждаются мало) и Израилю. Автор пишет: "В США существует богатая, политически активная, хорошо организованная еврейская община, которая сделала экономическую помощь Израилю священной коровой. Политик, который решится противостоять этому, столкнется с реальным и несомненным возмездием" (с. 226). В этой сфере предсказание - достаточно легкое дело. В отличие от других стран, например, Африки.

Большую важность представляет в сборнике работа, касающаяся иммиграционной политики США. Интересна эта работа и тем, что автор прямо связывает эту проблему с

демографическими проблемами США. И насколько мы можем понимать американскую ситуацию, в США серьезно относятся к проблеме рождаемости. Здесь связаны в один узел и увеличение числа нелегально живущих в США людей, а их так или иначе несколько миллионов, и проблемы рождаемости, возникающие во многих штатах, где масса недовольных появлением множества претендентов на рабочие места, и, как мы бы в России выразились, социальное обеспечение. Последнее также немаловажно для нас, ибо подобная проблема, только в несравненно более значительных и опасных размерах, возникнет в России, когда миллионы беженцев всех национальностей, будут искать прибежища на ее земле...

Очевидно, интересна была бы и работа С. Хука "Философская перспектива", но она очень невелика по размеру, и судить по нескольким страницам о намерении автора и его концепции для подобной темы трудно. Она слишком мала. С. Хук считает необходимым заметить, что несправедливо рисовать историю США как сплошное угнетение индейцев, чикано (латиноамериканцев), черных. Насчет угнетения заметим, что существуют самые различные точки зрения. Однако, что касается организованного геноцида индейского населения, например, в штате Вирджиния в начале XVIII века, то тут какие-либо оправдания невозможны. Но само обращение в работе о философских перспективах к подобной тематике показательно. Однако и эта работа в значительной мере написана с учетом борьбы с тоталитаризмом, которого ныне более не существует, по крайней мере, он ни в малейшей степени не угрожает США.

Знаменательным является и обращение к такой теме, как "политика предпочтения". Понимать это следует как действия правительства, руководства страны, предоставляющих предпочтение, предпочтительный статус тем или иным, скажем, национальным группам. И здесь следует заметить, что автор - Т. Совел - выбрал весьма важную, если не ключевую, тему для жизни современного государства, но постарался обойти некоторые "сложные, самые сложные

моменты в этой теме". И, как нам представляется, несколько туманно описал определение "группы предпочтения". Он идет "другим путем", стараясь выявить общие результаты развития таких групп в разных странах, по его мнению, следующих каким-то общим этапам развития и схожих тенденциями, причем тенденциями, по определению автора, "особенно поражающими и грозными" (с. 474). Тема же эта действительно столь захватывающая и столь опасная, что попытка на нескольких страницах объять необъятное неизбежно окажется неудачной. Автор касается отдельных групп, групп национальных, но совсем не затрагивает главного вопроса, связанного с этой проблемой - вопроса обладания властью той или иной группой, властью реальной, политической, скажем, в США или иной стране. Вместо этого Т. Совел чрезмерно много места уделяет описанию того, что в СССР со времени написания "12 стульев" и "Золотого тельца" советским и бывшим советским гражданам понятна и близка - "проблема зитц-председателя". Она прекрасно описана И. Ильфом и Е. Петровым в главах, посвященных всемирно знаменитой конторе "Рога и копыта". Действительная и главная проблема связана только с той властью, которой обладает та или иная национальная группа в том или ином государстве, какой бы строй там ни существовал. И в равной степени это справедливо и для США, и для СССР, а теперь и России.

И, конечно, невозможно обойти молчанием в нашем обзоре такую тему, как служба или службы (их всегда несколько) безопасности, разведки в "демократическом государстве". Автор, пишущий об этом - В. Р. Инман - совершенно четко проводит мысль о том, что нельзя экономить на подобных службах. Недавняя столь любимая тема нынешних демократических правителей нашего бедного Отечества (не столь давно работавших в области идеологических проблем марксизма), как экономить на службе безопасности, разведке и т. д... Но В. Р. Инман придерживается совершенно противоположного мнения,

которое сводится к тому, что нельзя экономить на разведке и контрразведке, а также "специальных операциях". В. Р. Инман (сс. 530-531) приводит пример таких крайне непродуманных действий Конгресса и высших должностных лиц США, как сокращение численности спецслужб со ссылкой на якобы "неудачи" разведки предсказать "войну Судного дня" в 1973 году. Приводится также пример с "неудачей" американской разведки в Иране, не оценившей "старца" и не видевшей, что шах и проамериканский режим дышат на ладан. Заметим только то, что очевидно с нашей точки зрения, но не отмечается автором. Прежде всего, а почему, собственно, это были "ошибки" американских служб безопасности? Например, "война Судного дня". США хотели слегка нажать на Израиль, чутко пугнуть его, дабы сделать несколько менее высокомерным и заставить для его собственного блага идти на переговоры с арабами. Иначе тех можно было прямо толкнуть в объятия тогдашнего ленинского Центрального Комитета. Особенно Египет, а это опора США в мире, и события войны 1991 года в Заливе это отчетливо показали. США даже долг Египту "списали" - "за поддержку".

Другое дело, в Иране по американской политике был нанесен сильный удар, и они там опозорились. Но ведь именно это положение в Иране дало возможность США исправить "свои ошибки" (если это вообще были ошибки) и помочь Ираку решиться на войну и нападение на Иран и так даже стравить двух своих настоящих противников. "И таким образом пусть убивают, как можно больше". Это подлинное высказывание 1941 года, сделанное в США в середине ноября, касалось жесточайших сражений и гибели миллионов невинных людей в России и на Украине. Многие полагают, что без событий в Иране советское руководство, "старички", никогда бы не решилось на общее вторжение в Афганистан. И не втянулись бы в войну, которая прямым ходом или черным (кому как угодно понимать) вывела к политической и военной катастрофе коммунизма. Так что американцы умеют воевать,

не стреляя. Да и, собственно говоря, разве мы забыли пример Рузвельта, который всё делал для того, чтобы втянуть США в войну с Германией, а напала-то на США Япония. Напала внезапно и учинила американцам полный конфуз при Пирл-Харборе. Так вот говорят, что американская разведка и там успела и подала президенту сведения, что, мол, так и так, ударят японцы, а Рузвельт сознательно документы эти спрятал, не огласил или сделал вид, что не обратил внимание. Так сказать, чтобы нацию "лечить шоком нападения" от благодушия и нежелания воевать...

Так что "ошибки разведки" - дело неясное, и оценить их очень трудно, "ошибки" это или удачи и победы. Разгром советской империи, развал ее экономики и разложение ее руководства - это полное подтверждение того, что не может быть и речи даже в сегодняшнем "спокойном мире" экономить на разведке и спецслужбах. Невероятной сложности операции, проводимые этими спецслужбами, могут дать успех не завтра или даже послезавтра, а через много времени "изменить ход истории" (если использовать столь милые для бывших советских руководителей формулировки). Проходит иногда очень много лет, а значение того или иного действия тайных служб еще окончательно не ясно. И главный пример тому - действия специальных британских, да, видимо, не только британских, но и американских, по "полету Гесса", сильно повлиявшие на обстановку накануне нападения Германии на СССР и по сию пору тщательно скрываемые.

Нет, внешние враги не грозят Америке. "Размышляя об Америке", их можно не принимать в расчет. Мир трепещет перед США, но опасности, действительно, подстерегают США. И грозят они так же, как и царской России, изнутри. Пишет об этом в самом конце рассматриваемой нами работы сам экс-президент Дж. Картер. Он пишет о СПИДе. Правда, со ссылками на положение в Африке (с. 553). Но уже сегодня, к концу 1993 года, совершенно очевидно, что в США более одного миллиона людей яв-

ляются носителями заболевания, которое, по мнению ряда исследователей, появилось в США и от которого и сегодня нет никакого лечения. Когда найдут лекарство от СПИДа всемогущественные США и найдут ли они это лекарство до того, как произойдет нечто непоправимое? Мы даже не знаем, сколь быстро станет распространяться СПИД. И возможно, важнейший вопрос - откуда взять средства, которые потребуются на борьбу со СПИДом? Появились сообщения, что суммы превосходят все возможности даже США и их союзников. Даже богатейшим государствам мира окажется не под силу бороться (опять "советизм") со СПИДом. Если стоимость этой "борьбы" возрастет до 300 миллиардов долларов в год, то что останется на военный бюджет? Для многих стран, и отнюдь не столь отсталых, это может оказаться катастрофой.

И, кстати сказать, американцы принимают меры самые решительные. Они ограничили въезд инфицированных СПИДом людей. Поэтому Международный конгресс по СПИДу 1992 года и был перенесен в Амстердам - до тех времен, когда США отменят эти досадные-де ограничения. Думаю, что долговато ждать придется...

Но не только СПИД угрожает США... И определил бы эту угрозу автор этих строк двумя словами - помни Лос-Анджелес, 1992 г.! Убитых-то было поболее, чем в Сумгаите, но все вдруг почему-то забыли... И пресса как-то не заинтересовалась...

В новом сборнике, который когда-либо будет издан в США, речь непременно пойдет уже о Китае. И его будущим авторам придется сосредоточиться на этнических и экономических проблемах Китая. И сборник придется написать другой - "Думая об Америке (размышления о первом десятилетии XXI века)", хотя мне представляется, что больше подошло бы название "Думая о Китае". В известном смысле Китай даже более уязвим для комбинированных ударов, чем СССР, ибо всё будущее Китая зависит от того, насколько успешно там будет решена продовольственная проблема - накормить полтора миллиарда людей.

Убежден, что США не смогут спокойно взирать на усиление мощи Китая, если уже сегодня они оказывают прямое давление на руководство России для того, чтобы приостановить продаже Индии некоторой современной техники - из опасения, что она уйдет в Китай.

Перед американцами открывается "новая земля и новое небо", и всё начинается сначала?

**Иван ЕСАУЛОВ**

## **Человек-вещь и христианское сознание**

Тоталитарное общество, формирующее соответствующий тип человека, до самого последнего времени продолжает рассматриваться как реализация определенного утопического (чаще всего марксистского) проекта, либо же - напротив - как закономерный итог развития христианской (именно - православной) цивилизации.

Настоящая работа представляет собой опыт прочтения одного из трудов выдающегося русского философа XX столетия М. М. Бахтина ("Формы времени и хронотопа в романе") с точки зрения построения тоталитарного образа человека.

Работая с научными текстами М. М. Бахтина, не следует забывать, что ученый не столько литературовед, сколько именно философ, на литературном материале заявивший глубоко новаторские философские идеи. Впрочем, как и другой его великий современник - А. Ф. Лосев, волею судеб ставший по преимуществу историком античной эстетики. Наиболее близкие М. М. Бахтину в последние годы его жизни люди, опубликовавшие уже свои воспоминания, с редким единодушием обращают внимание на *вынужденное*, а не свободное обращение ученого к собственно литературоведческой деятельности.

С. Г. Бочаров указывает на "несвободу прямо философствовать" <sup>1</sup>о главном", заставившую М. М. Бахтина перейти в иную гуманитарную сферу. В. В. Кожинов убеж-

ден, что Бахтин "только превратился якобы в литературоведа... И сам Михаил Михайлович считал литературоведение чем-то не очень серьезным"<sup>2</sup>. По мнению Г. Д. Гачева, "его книга о Достоевском - религиозный трактат, где главная проблема - Я и Бог... Это, конечно, богочеловеческий трактат в литературоведческой форме"<sup>3</sup>. По точной формулировке того же С. Г. Бочарова, "язык описания он насытил теологическими понятиями и в событии эстетическом вскрыл его религиозную глубину". При этом "некоторые основные модели христианской философии глубоко запрятаны в анализе ситуаций, которыми он занимался"<sup>4</sup>. Несомненно, что и в интересующей нас бахтинской работе имеются неочевидные и столь любимые мыслителем "далекие контексты", далеко не всегда эксплицируемые. Ведь одна из наиболее характерных особенностей его научных построений - это "сближение с далеким без указания посредствующих звеньев"<sup>5</sup>.

В труде "Формы времени и хронотопа в романе", написанном в 1937-1938 гг., М. М. Бахтин пытался осмыслить "процесс освоения в литературе *реального исторического* времени и пространства и *реального исторического* человека, раскрывающегося в них"<sup>6</sup>.

Внимательно изучив раздел "Античная биография и автобиография", можно сделать вывод, что принципы изображения человека (и само видение человека), отмечаемые автором как особенности данной разновидности *античного романа*, выходят далеко за пределы античной эпохи и обретают свое второе рождение (или, если угодно, второе возрождение) не где-нибудь и когда-нибудь, а именно в Советском Союзе и именно *в годы написания* бахтинского труда. Создается впечатление, что, исследуя античную поэтику, философ изучал одновременно "процесс освоения в литературе... *реального исторического человека*" не древнегреческой цивилизации, а ленинско-сталинского тоталитаризма.

Наиболее существенное в античных биографиях, по Бахтину, то, что они "не были произведениями литера-

турно-книжного характера, отрешенными от конкретного общественно-политического события их громкого опубликования. Напротив, они *всецело* определялись этим событием, они были словесными *гражданско-политическими актами* публичного прославления или публичного *самоотчета* реальных людей" (282). Как видим, тексты, о которых писал Бахтин, не просто обращены, так сказать, "лицом к жизни", к реальной действительности, но и "всецело определялись" соответствующими общественно-политическими событиями. Авторы, таким образом, обязаны не только *учитывать* происходящие события, а еще и "всецело" (иными словами, *тотально*) зависеть от них и *отчитываться* с учетом этой зависимости. Тем самым публичные "прославление" и "самоотчет" приурочиваются к тому или иному событию.

Поэтому, по мысли Бахтина, "внутренний хронотоп" таких текстов (их собственный *художественный мир* с его художественным же пространством и временем) "здесь важен не только и не столько" (282). Неизмеримо важнее что находится *за пределами* текстов: "тот *внешний реальный хронотоп*, в котором совершается... изображение своей или чужой жизни как граждански-политический акт публичного прославления или самоотчета" (282).

Какова природа этого "реального хронотопа", который так властно и решительно подчиняет себе внутренний, то есть *художественный*? Что представляет собой этот могущественный внешний хронотоп?

По Бахтину, "это само *государство* (причем - *все* государство со всеми его органами), высший суд, вся наука, всё искусство..., весь народ" (282). Некая тотальность уже налицо. Именно ввиду этой тотальности создается "новый тип биографического времени и новый специфически построенный образ человека, проходящего свой жизненный путь" (281).

Итак, *жизненный путь* "всецело" (тотально) определяется государством, причем "*специфически* построенный образ человека" должен соответствовать жестко заданным

этим государством *нормам*. Прямое соответствие при этом заслуживает "публичного прославления", а само наложение норм государственного воздействия на личность мыслится как форма "самоотчета", но именно "публичного", перед лицом государственных органов.

Разумеется, при таком подходе к человеку у него "не было и не могло быть ничего интимно-приватного, секретно-личного, повернутого к себе самому, принципиально одинокого. Человек здесь открыт во все стороны, он *весь вовне*, в нем нет ничего "*для себя одного*", нет ничего, что не подлежало бы публично-государственному контролю и отчету" (283).

Но ведь аналогичную картину мира, воспринимаемую как *должное*, мы видим в социалистической модели культуры. Так, приводимая в качестве иллюстрации "сплошной овнешненности" *несдержанность* античного человека в выражении своих эмоций, необыкновенная шумливость и рассчитанная на внешний резонанс аффектация ("герои Гомера очень резко и очень громко выражают свои чувства" (284)) типологически совершенно аналогична шумным политическим кампаниям в советские двадцатые (да и последующие) годы - с особой атмосферой перманентной борьбы с внешними и внутренними врагами. Причем, принципиально важна тотальность охвата: для *внутреннего* (молчаливого, углубленного) осмысления и переживания государственных начинаний не должно оставаться никаких потенциальных убежищ. "Немая внутренняя жизнь, немая скорбь, немое мышление были совершенно чужды греку" (284), - замечает М. М. Бахтин. Однако же и в тоталитарном миропорядке отдельные попытки *сломать* (когда, например, необходимо публично заклеить очередных врагов - русских ли патриотов-"националистов", либо "безродных космополитов"), то есть "остаться в стороне" от публичного выражения эмоций (тоже резкого и громкого) тут же разоблачаются. Скрываемое молчанием (немотой) подлечит неизбежному итоговому *раскрытию* - другими - и

уже тем самым обязательно прозвучит: как молчаливая поддержка инакомыслящих, требующая публичного остракизма.

Даша Чумалова, героиня романа Ф. Гладкова "Цемент", заявляет своему мужу: "Я - партийка, Глеб. Не забывай этого". На "приватный" вопрос Глеба - "Где же дочка?" - следует "государственный" ответ - "Нюрка - в детдоме. Иди отдыхай. Мне ни минуты нельзя... Разговор будет потом... Сам понимаешь: партдисциплина".

Савчук, один из героев этого же романа, словно бы публично демонстрирует механизм овнешнения человека и исчезновение самодостаточной ценности личности: "Не завод, а сорная яма, козье гнездо... Нет его... *А ежели нет его - где же я?..*" У гладковского персонажа, подобно античному герою, нет ничего "для себя одного".

В антиутопиях, изображающих тоталитарный миропорядок ("Мы", "1984" и др.), легко обнаружить подобное античному соотношение человека и государства. "Что за дикая терминология: "мой"... - убеждает себя еще вписывающийся в публично-государственный жизнеуклад Д-503 из замаятинского романа.

Античный хронотоп М. М. Бахтин характеризует как "удивительный", поскольку "все высшие инстанции - от государства до истины - были конкретно представлены и воплощены, были *зримо* наличны. И в этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе совершались раскрытие и пересмотр всей жизни гражданина, производилась публично-гражданская проверка ее" (283).

Однако еще более удивительно, что позднейший тоталитарный космос построен по законам эстетики, фиксируемой русским философом. "С *каждого* заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив - тоже. "Старший брат смотрит на тебя", - говорила надпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону". Всеобъемлющий хронотоп, о котором писал Бахтин, в оруэлловском романе присутствует на всех уровнях. Министерство правды, "это *исполинское* пирамидальное здание..., вздыма-

лось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту". Весьма существенна *зримая* наличность высших инстанций: "четыре министерства, весь государственный аппарат... настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома "Победа" можно было видеть *все четыре разом*". С другой же стороны, имеется и обратная связь: "полицейский патруль заглядывал людям в окна"; "Телеэкран работал на прием и на передачу. Он ловил *каждое слово*". Налицо то "раскрытие... всей жизни гражданина", которое характерно как будто только для греческого полиса.

Три партийных лозунга ("Свобода - это рабство, Война - это мир, Незнание - сила") *одновременно* располагаются на исполинском здании Министерства правды (макроуровень) и как бы помещаются в кармане героя (на микроуровне): "Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими буквами те же лозунги, а на обратной стороне - голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд... Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели - нет спасения". Итак, мы видим принципиальную "одноуровневость" жизни. Между макро- и микроуровнями нет никакой семантической разницы, как нет ее между лицевой и обратной стороной монеты Океании. Жизнь героя полностью *открыта* для контроля и в высшей степени *публична*. Регулярная гражданская "проверка", о которой писал Бахтин, совершаемая здесь при помощи могущественных технических средств, оставляет далеко позади античные аналоги. Так, "абсолютное преступление", которое призвана раскрывать в тоталитарном государстве "полиция мыслей" - это "мыслепреступление": скрываемое внутреннее начало; некий "остаток" человечности после заполнения публичной роли. Преследуется то, что выходит за пределы античного тотального овнешнения.

По-видимому, очевидное совпадение тоталитарной и античной ментальности невозможно объяснить никакими прямыми генеалогическими связями между ними. Речь

может идти только о *типологической* идентичности. Но это не совпадение утопических *проектов* (от "Государства" Платона до Маркса) и их практической *реализации*. Скорее, мы можем констатировать *повторение*, нетворческое *удвоение* уже имевшего место соотношения человека и мира (государства), *возврат* к бывшему ранее, а затем преодоленному видению человека.

По крайней мере, "удивительный хронотоп" греческого мироотношения может осознаваться в качестве такового, когда исследователь способен поместить его в какой-то иной контекст. Только при такой методологической операции ощущается контрастность античного образа человека и иного, более "обычного". Поразительная "сплошная овнешненность" (284) индивида фиксируется лишь с позиции венаходимости к исследуемому объекту. М. М. Бахтин специально оговаривает: "грек именно не знал нашего разделения на внешнее и внутреннее (немое и незримое)" (285) уже потому, что "всякое бытие для грека классической эпохи было и з р и м ы м и з в у ч а щ и м. Принципиально (по существу) невидимого и немое бытия он не знает. Это касалось всего бытия, и, конечно, прежде всего человеческого бытия" (284).

Что это означает с современной точки зрения, или же, сузив ракурс рассмотрения европейскими рамками, с точки зрения *христианской*? В античной культуре раннего периода отсутствует *главное*: разграничение души и тела, принципиальная разноразмерность и иерархичность\* этих важнейших категорий христианского сознания. Как нам представляется, именно в этом смысле следует понимать утверждение М. М. Бахтина, что с позиций древнегрече-

---

\* Эта точка зрения противоречит православной догматике, прежде всего, учению о теозисе. Учение о "разноразмерности" (т. н. "ересь чистых") восходит к Оригену. Оно было анафематствовано на Константинопольском соборе 543 года при императоре Юстиниане, а десять лет спустя - на Пятом Вселенском соборе. - *Прим. ред.*

ской классики "в самом человеке *нет никакого* немого и незримого *ядра*: он весь видим и слышим, весь вовне; но нет и вообще никаких немых и незримых сфер бытия, которым человек был бы причастен и которыми он определялся" (285).

В этой терминологии одномерность и однородность мира, где отсутствует "невидимое бытие", пытается выразить герой замятинского романа. "Так вот - плоскость, поверхность... И на поверхности мы с вами... Только на поверхности, только секундно".

Показательно, что другой крупнейший русский философ XX столетия - А. Ф. Лосев - при всех известных разногласиях с Бахтиным, касающихся оценки романа Рабле, - в характеристике важнейшей доминанты античности с ним вполне совпадает. "Вся античность, как я доказываю в своих семи томах, - говорил он, - основана на интуициях телесного, *вещественного* характера. И для нее абсолют - видимое небо, небесный свод, звезды, солнце, луна; вот это *видимый, осязаемый, слышимый*, как они считали, космос, *материальное* чувство - это для нее абсолют. Античность исходит из интуиции *вещи*... Что такое античная скульптура, как не изображение человека *в виде вещей*". На этом основании Лосев делал вывод об "односторонности античности" и о том, что античный человек "не чувствовал своей собственной личности". Да и в целом такая система "слишком пустынна. Это дало возможность потом... появиться новой культуре, основанной на личности, взятой с абсолютной позиции"<sup>7</sup>. В последнем случае имеется в виду, конечно, *христианская* культура. Личность же, "взятая с абсолютной позиции" - Иисус Христос.

Прорыв "сплошной овнешненности" не случайно представляет собой главную опасность для тоталитарного государства. Ведь, в отличие от древнего грека, не знавшего "разделения на внешнее и внутреннее" (тело и душу), цивилизация, уже обогащенная христианским этапом исторического развития, *знает и помнит* о существо-

вании иного - внутреннего - измерения человека. Если еще традиция Ветхого Завета в целом вполне соответствует традиции героического эпоса, где конфликты с миром носят по преимуществу внешний характер борьбы с внешними же *врагами*, то Новый Завет весь построен на постижении именно "немого и незримого ядра" человеческой личности - *души* человека.

Поэтому совершенно закономерным образом главным врагом тоталитарной культуры (по крайней мере, в советском исполнении) становится как раз человеческая душа - и стоящая за ней, осмысливающая ее двухтысячелетняя христианская традиция. Вспомним, что работник Медицинского Бюро заявляет главному герою-рассказчику замятинского романа "Мы": "Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа /.../ "Это... очень опасно", - пролепетал я. "Неизлечимо"; - отрезали ножницы (ножницы-губы собеседника. - И. Е.). Его медицинский коллега замечает: "Как: душа? Душа, вы говорите? Чёрт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем". Последняя фраза указывает на определенную *ретроспекцию* направления мысли героя. Душа, как и холера, при таком подходе - это нечто *бывшее* в прошлом (а не отсутствовавшее вовсе, как в раннем античном представлении), но уже *преодоленное* и *исчезнувшее* в настоящем. Благодаря ее искоренению и оказывается возможной типологическая общность тоталитарной модели человека и античных образцов, не знавших разделения ядра и оболочки, внутреннего и внешнего. Однако аналогия "чума-душа" говорит и об опасности "образования" и восстановления и того и другого. Имеются очаги "заразы", которые представляют для тоталитарного режима потенциальную угрозу возвращения к христианскому менталитету, возвращения в разнородный мир с иерархией внутреннего и внешнего, физического и духовного.

Тогда как механизм тоталитарных метаморфоз, *обратный* вышеописанному, представляет собой *избавление* от внутренней незримой духовной жизни в пользу "нового

сплошного овнешнения" (236)<sup>8</sup>. Характерно, что Павел Корчагин "за подругу, превращающуюся в большевика" на последних страницах романа, испытывает "гордость". Герой "Цемент" говорит о душе как о чем-то внешнем ему: "Даша, я теперь как бездомный пес. *Всю душу* вложил в завод". Отметим глагольную форму прошедшего времени, свидетельствующую о полной и окончательной передаче героем своей души другому объекту. Поэтому предисполкома Бадьин в речи на открытии завода имеет некоторые основания заявить о *победе* "на хозяйственном фронте": "победа огромная *нечеловеческая*, - это пуск нашего завода". Уинстон после предательства Джулии диагностирует свои ощущения: "В твоей груди что-то убито - вытравлено, выжжено". То "окончательное, необходимое исцеление", о котором говорит в финале герой - это исцеление от души, возвращение к одномерному *дохристианскому* состоянию.

Это возвращение к публичному овнешнению человеческой жизни, освобождение от христианского сознания, для которого характерно, используя уничижительную формулу замятинского героя, "дикое состояние свободы", осознается героем как *победа* и *выздоровление*. В классических произведениях советской литературы, избранных нами для иллюстрации механизма овнешнения, победой и выздоровлением завершается каждый из романов.

Категорию финальной победы в "Цементе" мы уже отметили выше. Можно добавить к этому, что Чумалов тоже говорит о победе: "Мы сделали ставку на кровь и своею кровью *зажгли весь земной шар* [...]. К победе, товарищи!.." Глеб схватил красный флаг и взмахнул им над толпой. И сразу же охнули горы, и вихрем закружился воздух в *металлическом вое*".

Телеграмма из обкома, полученная Корчагиным, гласит: "Приветствуем победой" [...]. Разорвано железное кольцо, и он опять - уже с новым оружием - возвращается в строй и к жизни".

Остудившийся было и обретший душу замятинский

персонаж-рассказчик после "Великой Операции" "явился к Благодетелю и рассказал ему всё, что... было известно о врагах счастья". Упомянутая им "прежняя моя болезнь (душа)" - позади, поэтому Д-503 выражает надежду, что "мы победим. Больше: я уверен - мы победим. Потому что разум должен победить".

Наконец, "1984". Текст завершается двойной победой. "Победа... величайшая победа в человеческой истории... победа, победа, победа!" - это "ликующие крики на улице". Но и сам герой "одержал над собой победу": отрекся от внутреннего измерения.

Таким образом, радостное и победное освобождение от души в финалах - это, прежде всего, триумф в борьбе с религиозной ментальностью, религиозным сознанием. Воспоминание о христианском образе души (обретении души) осознается как опасная болезнь, требующая немедленного вмешательства и поражения возникшего очага новой христианизации, сравниваемой с холерой. Тотальное *обездушивание* - необходимая операция на пути к овнешнению. К. Кларк, не связывая советские произведения 30-х годов с античными биографическими жанрами, тем не менее, совершенно верно замечает, что в этот период "роман превратился в ритуализованную биографию"<sup>9</sup>. Произведения и сама жизнь приобретают черты не воплощенной утопии, а антихристианской цивилизации.

Тоталитарные империи, в отличие от античных государств, имели в своем прошлом христианскую корневую систему, поэтому овнешнение человека совершается здесь не естественным (дорефлексивным) путем, а искусственным и всегда насильственным образом. Необходимы были особые сверхусилия и жестокая борьба, чтобы *отменить* двухтысячелетнюю христианскую историю. В Советской России, как известно, на достаточно продолжительное время "запретили" даже день недели - воскресенье, - заменив его название, неразрывно связанное с христианским прошлым, на нейтральный эвфемизм "выходной день".

Можно вспомнить и о введении *нового летоисчисления*, конкурирующего с христианским, а в перспективе, возможно, призванного *заменить* его. В советских календарях отсчет велся не от рождения Христа, а от периода сокрушения христианского государства. В результате существовали две параллельные системы летоисчисления. О действительности антихристианского календаря можно судить хотя бы по тому факту, что даже последняя Конституция СССР была принята в *октябре* 1977 года, к "круглому" юбилею Октябрьской революции. Нельзя не отметить и реформу орфографии, в результате которой, в частности, у христианского Бога был "отнят" графический атрибут Его личностности и абсолютности: прописная буква в написании. Таким образом "кто" законодательно превращался в "что". Но ведь тот же А. Ф. Лосев, пытаясь сформулировать "односторонность" античности, говорил: "Нет никого, раз нет личности, и есть только "что", а не "кто"<sup>10</sup>.

В пределе, борьба с "проклятым прошлым" в России - это борьба в первую очередь с христианским прошлым как таковым, христианской системой ценностей, возвращение к доевангельскому видению человека. В ранний период античной культуры "внутреннего" не было, ибо не знали о его существовании, отличном от "внешних" проявлений. В советский же период "внутреннего" не было, ибо о его существовании знали очень хорошо, - и все силы были брошены на его искоренение.

В России, не имевшей, в отличие от других европейских христианских держав, эпохи Возрождения как необходимой "прививки", смягчавшей последующие волны секуляризации жизни (и последовательного размывания категорий "внешнего" и "внутреннего", "телесного" и "духовного"), внезапный мощный удар по религиозному сознанию со стороны государства надолго определил для подавляющего большинства народа бывшей Российской империи потерю всяких нравственных ориентиров, а, следовательно, тотальное овнешнение и деградацию жизни.

Самая существенная разница между "сплошной овнешненностью" в античный период и в советскую тоталитарную эпоху состоит в том, что для древнего грека "не могло быть никаких принципиальных различий между подходом к чужой жизни и подходом к своей собственной жизни" (283). В тоталитарных же режимах, как правило, четко разграничиваются творцы, идеологи государственной доктрины и рядовые "жильцы" этого государства. Есть "авторы" тоталитарного произведения, которые пребывают в позиции "внезаходимости" (и живут совсем по другим законам, нежели рядовые участники исторической драмы), а есть "герои", находящиеся "внутри" здания. "Эстетическая деятельность" тех и других тоже различна. "Герои" призваны с энтузиазмом осуществлять *героическую* деятельность<sup>11</sup>, но "придумывает", навязывает и воспекает эту деятельность совершенно иной разряд тоталитарного общества - слой "*романтиков*". Именно в этой элитарной прослойке, которая и появляется вследствие насильственного овнешнения "чужой жизни", рождались идеи о "насильственной гармонизации" сверху, о государстве как тотальном произведении искусства<sup>12</sup>. Кстати, с этой же - эстетической - точки зрения можно рассмотреть и концепцию "железного занавеса". Произведение искусства всегда имеет жесткие *рамки* (границы текста), извлекающие его из неупорядоченной и порой хаотической "сырой" действительности. Тоталитарное государство, чтобы стать именно произведением искусства, также должно быть завершено в себе и непроницаемо для внешних воздействий со стороны неуправляемой иной реальности. Именно поэтому так существенна роль *охраны границ* государства-произведения. В некотором смысле, проблема целого художественного произведения, то есть его специфической "тотальности" - это именно проблема его границ. Для социалистического эксперимента также необходима некоторая рамка и некоторый ограниченный участок социума.

Может быть, и функция *псевдонимов*, столь беспреце-

дентно массовых в правящем слове совдеповской России, отчасти проявляется при избранном нами подходе к теме. Ведь псевдонимы, как правило, - это привилегия *художников*, а отнюдь не *политиков*. В нашем же случае они были *оставлены*, а не отброшены, когда уже отпала прагматическая необходимость у пламенных революционеров что-либо скрывать в собственной биографии: обладатели псевдонимов сами стали властью. Но, по-видимому, они *продолжали* считать себядемиургами (авангардистского толка), авторами, *вынужденными* работать с весьма трудным "материалом".

Любопытно, что под лозунгами "равенства" и "братства" (для рецепции "героями") осуществлялось - совершенно подобное античному, а потому антихристианское - разделение на "*рабов*" (подавляющее большинство жителей страны, как известно, не имело возможности не только покинуть ее пределы, но и преодолеть "границы" отведенного им места в той или иной *главе* тоталитарного произведения - родном колхозе-"полисе", не имея гражданских паспортов; имеющие же паспорта горожане были прикреплены к своему топосу системой прописки) и "*рабовладельцев*", регулирующих как передвижение "*рабов*", так и все прочие их "права".

Надо сказать, термин "рабы" - безотносительно к античности, но зато имеющий прямое отношение к будущему *социалистическому* строительству, был употреблен в 1872 году Ф. М. Достоевским в романе "Бесы" при описании проекта Шигалева (спустя полвека полностью осуществленного в России). В нем мы можем обнаружить то жесткое "разделение человечества на две неравные части", которое было возможно только в античную эпоху. Для нас существенно, что предполагаемая двухчастная структура основывается именно на *потере личности* "девятьюдесятыми", то есть на обращении этой косной массы ("стада") в *дохристианское* состояние ("при безграничном повиновении" активному меньшинству, которое и ведет в "первобытный рай" - аналог коммунизма - обез-

личное стадо, само с ним отнюдь не смешиваясь). Напротив, как показывает Достоевский, обнаживший сам механизм будущего тоталитаризма, "одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми".

Между прочим, жгучая обида "старых большевиков" на Сталина как раз и состояла в том, что вождь *шулерски* (как они считали) *смешал карты*, стал периодически *перетряхивать* колоду, нарушая важнейший негласный принцип *константного* "разделения человечества". Бил "своих" так же больно, как можно было бить только "чужих". При таком раскладе размывались казавшиеся ранее навсегда установившимися отношения между "авторами" и "героями", а, стало быть, кардинально изменялась и сама "эстетическая деятельность" - *цель* создаваемого государства-произведения. Вероломство Сталина состояло в том, что он самовольно ("культ личности") превращал "авторов" в "героев", "режиссеров" - в "актеров", то есть помещал создателей ада для *других* в созданный ими же ад *вместе с другими*. Антихристианское представление о *разной* ценности человеческих жизней отнюдь не исчезло: насильственное овнешнение "девяти десятых" в годы сталинщины только усугубилось. Но наряду с этим на гибельные "общие работы", выражаясь лагерным жаргоном, стали попадать и пребывавшие ранее в позиции "внеаходимости" бесы революции. С другой стороны, вождь зачастую совершал и обратную перестановку, при которой "герои" становились "авторами", а "актеры"-жертвы могли стать "режиссерами"-палачами. Используя содержательную терминологию М. М. Бахтина, наступил "*кризис авторства*", но при *полном сохранении* самой двухчастной *структуры* тоталитарного общества.

Поэтому вплоть до самого последнего времени наши коммунистические "романтики" - это авторы судеб чужих жизней, четко осознававшие разницу между своими романтическими "планами" и чужими героическими "успеха-

ми" в исполнении этих планов. Для удачной реализации строительства социалистического государства (или же, используя удачную метафору Х. Гюнтера, для успешного создания социалистического государства как "произведения соцреализма") необходимо было лишить *других* людей *собственного* духовного измерения, лишить человека внутреннего ядра личности, превратив его в "героя" и *прославив* сам процесс овнешнения, конечный итог которого - обращение личности в "вещь". Но эта операция невозможна без предварительной работы по искоренению главного препятствия на пути тотального овнешнения - сложившегося христианского сознания, открывшего для себя могущественные "незримые сферы бытия", куда можно уйти от "насилованной гармонизации".

Советский тоталитаризм не сводится ни к всеобщей героизации жизни миллионов жертв, ни к революционной романтике новой элиты инквизиторов. Сторонники первой точки зрения абсолютизируют самозначимость "героев" тоталитарного произведения, сторонники второй преувеличивают способности "авторов"-демиургов. Между тем, М. М. Бахтин в своей работе "Автор и герой в эстетической деятельности" показал главную особенность самой "эстетической деятельности": *разнонаправленность* задач двух участников художественного события.

Возвращаясь к заявленной теме, тоталитарную доктрину можно сформулировать как особый тип самообожествления, при котором романтически героизируется заведомо богопротивное, антихристианское дело: овнешнение человеческой личности.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. С. Г. Бочаров. Об одном разговоре и вокруг него. - "Новое литературное обозрение", 1993, № 2, с. 82.

2. Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа (Вадим Кожин рассказывает о судьбе и личности М. М. Бахтина). – "Диалог. Карнавал. Хронотоп", 1992, № 1, с. 115.

3. "Так, собственно, завязалась уже целая история..." (Георгий Гачев вспоминает и раздумывает о М. М. Бахтине). – "Диалог. Карнавал. Хронотоп", 1993, № 1, с. 106.

4. С. Г. Бочаров. Указ. соч., с. 80.

5. М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 361.

6. М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 234. Далее ссылки на это издание, страница указывается в скобках. Разрядка принадлежит автору, курсив всюду наш.

7. А. Ф. Лосев. Страсть к диалектике. М., 1990, сс. 57, 64.

8. Это формула М. М. Бахтина, использованная им для характеристики романа Рабле. Содержательная интерпретация бахтинской концепции раблезианской телесности в аспекте интересующей нас проблемы крайне важна, но она выходит за пределы данной работы.

9. К. Кларк. Сталинский миф о "великой семье". – "Вопросы литературы", 1992, вып. 1, с. 89.

10. А. Ф. Лосев. Указ. соч., с. 64.

11. Об "институте героев" в советской культуре см. блестящую работу Х. Гюнтера "Сталинские соколы: Анализ мифа 30-х годов". – "Вопросы литературы", 1991, № 11-12, сс. 122-141.

12. См. об этом: Х. Гюнтер. Железная гармония: Государство как тотальное произведение искусства. – "Вопросы литературы", 1992, вып. 1, сс. 27-41.

## **"...И сумрачный германский гений"\***

"Перед вами книга об отношениях русской и немецкой философской мысли в XIX-XX столетиях. Статьи, написанные современными авторами из России и Германии, публиковались в основном в журнале "Вопросы философии" в 1988-1993 годах".

Есть идеи настолько естественные, органично плодотворные, что их легко объявить даже и банальными, - после того, заметим, как они осуществлены. В процитированном начале предисловия к книге стоит обратить внимание на даты: к первым годам "перестройки" отечественная мысль оказалась уже подготовленной к рассмотрению важнейшего, быть может, из "внешних" аспектов русской философии: ее взаимообогащающих контактов с философией немецкой. А теперь перед нами и книга - итог содержательных дискуссий последнего времени.

Что сблизило, уже с начала прошлого века, столь полярные типы мышления - германский и российский? Объясняя этот феномен, легко на полярность же и сослаться; есть, однако, и другие не менее важные причины.

В последней трети XVIII века историческое время чудовищно ускорилось: наступление гуманизма и просветительства на ценности европейской культуры стало фрон-

---

\* Сб. Россия и Германия: Опыт философского диалога. - Немецкий культурный центр им. Гёте. - "Медиум", М., 1993, 352 стр.

тальным. Точки над "i" были неумолимо расставлены: за спиной Руссо маячила тень "Неподкупного", коса реализатора вегетарианских "общественных договоров". Места для иллюзий не оставалось, реалии "свободы, равенства и братства" не скрывались уже ни апологетами, ни практиками гильотинного прогресса. История подтвердила, они были правы: фарс ренессансного псевдотитанизма доигран, с подмостков с уверенной наглостью скалится маленький человек. Ни в стратегии, ни в тактике существенных перемен уже и не предстоит: "последний и решительный" с Церковью, с христианской государственностью начался.

Ситуация классически укладывается в (отнюдь не универсальную) схему Тойнби: "вызов истории" налицо. И Римская империя дала ответ - как в Восточной, "юстиниановской" своей части (России), так и в Западной, "карловской" (Германии).

Структуру предыдущей фразы нетрудно упростить, так и делают обычно, говоря о "Восточной" и "Западной" Римской империи. Но обитатель Империи просто не понял бы современной исторической терминологии. Императоров было два, подчас и больше; но понятие "империй" было столь же абсурдным для византийцев, как и понятие "богов".

Ответ "России" и "Европы" на постренессансный вызов был предрешен - самим фактом их духовного существования. (Впредь мы, для простоты, будем употреблять эти условные в данном контексте термины без кавычек - как обычно и поступают.)

Было бы натяжкой утверждать, что религиозно-государственная близость была осознана элитой обеих стран на глубинном уровне - сполна этого и по сию пору не произошло. Конкретно-исторические причины способствовали "резонансу" реакций. XVIII век "России-Европы" тѣк, как сегодня представляется, вяло, едва ли не лениво. Но впус- тую он не прошел. Будущие цареубийцы мгновенно опознали "своих", "принесли из побежденной Франции освободительные идеи". Так возможно ли было не начаться

"ауканью" элиты - изолированной и одинокой по самому существу своему?

Трудно было удержаться, не бросить мельком взгляд на глубинные корни германско-русского духовного родства - важнейший вопрос этот, как ни удивительно, обычно даже и не рассматривается. Но перейдем, наконец, к теме книги: к самому феномену родства, "неожиданно" вспыхнувшему на рубеже веков.

Книгу открывает статья Гюнтера Рормозера "К вопросу о будущем России". Она подводит к необходимости изучения предмета с иной, нежели наша, - с современной позиции.

"Создание функционирующего социального рыночного хозяйства - результат сложных и длительных процессов, важнейшей предпосылкой которых служит не столько многопартийная демократия, сколько приоритет права, установление правового равенства, уважения к закону, осуществление права частной собственности, что обеспечивает отдельному человеку правовую автономию и защищает его от произвольного вмешательства и злоупотреблений со стороны государства или других общественных групп...

Единственной силой, способной после краха социализма связывать и объединять людей, независимо от их интересов, нравится это кому-то или нет, является национальная идея и вера в то, что нация в семье других народов должна играть подобающую ей роль. Очевидно, что в условиях XX века все это невозможно без утверждения демократических структур, правил игры и форм жизни.

Этим я хочу сказать следующее: Россия только тогда обретет будущее, когда осознает стоящую перед ней задачу во всех ее измерениях, во всех аспектах и во всем ее многообразии, задачу, которая сводится ни больше ни меньше, чем к восстановлению культуры... Сегодня, видимо, важнее преодоления недостатков системы жизнеобеспечения найти ответ на вопрос: какой должна быть философия возрождения страны?"

Эти рассуждения ценны не только как логичное, есте-

ственное введение читателя в тему книги. Подобные мысли не могут, разумеется, быть вполне оригинальны, значение их в другом.

Не строим ли мы в России, после диктатуры и вместо демократии, нечто третье? А поскольку третьего все-таки не бывает, - что же выплывает, в конце концов, из бесцветного демоподобного киселя?

"Принявший в какой-то мере декадентские черты либерализм постмодернизированной Западной Европы отнюдь не является гарантией будущего нашего континента, а, скорее, служит симптомом истощения его духовных жизненных сил".

Подлинно свободный ум, Рормозер формулирует положения, почти невозможные в сегодняшней России: убогая оппозиция "консерватизм - либерализм" стерилизует, окоспляет мышление.

"Россия должна соединить экономический либерализм с духовно-культурным консерватизмом. Альтернативой этому был бы фашизм. Не только Россия нуждается в Европе, но и Европа нуждается в России. Обновленная Россия должна принести в будущее Европы самое себя, и богатство своей истории, и высокую одаренность, и интеллектуальный потенциал своего народа.

Путь к этому лежит через Германию...

Великие святые русской литературы, о которых говорил Томас Манн, то есть такие писатели, как Достоевский, оказали огромное влияние не только на развитие немецкой культуры, но и на немецкий способ отношения к новой ситуации. Ведь "Мертвые души" Гоголя могли быть написаны только в России, и, вероятно, они могли быть поняты только в Германии...

Час философского диалога уже пробил. Я лишь напомню о том, что ужасы коричневого и красного тоталитаризма были бы немыслимы без кризиса либеральной демократии, которая теперь предлагается нам различными силами в качестве единственной модели обещанного будущего. Мы должны осмыслить ее как нынешний, так и потенциальный кризисы".

Лишь одно место программной статьи вызывает резкое несогласие.

"Современный социализм разделяет с христианской теологией истории веру в то, что истинное осуществление человеческого предназначения состоит в установлении царства божия на земле. Такое формальное совпадение, безусловно, имеет место".

У читателя в России такое "формальное совпадение", безусловно, вызовет лишь улыбку. Хилиазм, учение о Царстве Божием на земле - злая ересь, Второй Никейский собор (381 г.) отверг ее и внес в Символ Веры составляющую: "Его же царствию не будет конца". Смысл ясен: царство Иисуса Христа вечно, временных границ у него нет. Это положение многократно подтверждается евангельскими текстами, а также текстами апостольских посланий (Ин. 5, 25-29; Петр. 3, 10; 2 Петр. 1, 11).

Впрочем, этот казус предметно подтверждает главную мысль статьи "европейца": диалог необходим - диалог между столь отгородившимися, удалившимися друг от друга частями христианской ойкумены.

Красноречивым "доказательством от противного" необходимости русско-германского диалога является следующая статья книги: "Поиск русской национальной идентичности" Бориса Гройса.

"...Философия занимается поисками всеобщих истин и универсальных законов мышления... Именно это явление описывается, однако, в русской философии как специфически западное, в то время как сама русская философия ставит вопрос о реальном субъекте мышления и культуры: для нее *философски* понятый универсальный субъект мышления и культурного творчества является лишь маской вполне конкретного человека западной культуры, стремящегося представить эту свою специфическую культуру в качестве всеобщей...

Термин "Запад" обозначает здесь установку на универсальную, общеобязательную, *рациональную* истину по ту сторону любых различий в жизненной и культурной прак-

тике. Термин "Россия" указывает на невозможность такой истины и на необходимость поэтому искать решения не на уровне мышления, а на уровне самой жизни".

Борис Гройс абсолютно прав: религиозное мышление не пытается постичь Логос, Слово чисто философски, а всеобщая Истина для него отнюдь не рациональна. Религиозный взгляд на мир не исключает, разумеется, философии, напротив: он сообщает "служанке богословия" возвышающий ее характер *"софисловия"*.

Но... перечитайте текст Гройса по-иному, без выделений: они сделаны не автором, а рецензентом. И станет ясным уровень понимания ситуации автором статьи: истина вне радио для него не существует, нелогический поиск ее возможен лишь на земляном "уровне самой жизни". "Русские мыслители теологизировали само бессознательное", - осудительно констатирует Гройс. Трудно спорить с суждениями о масляности масла: теология есть Богопознание, а называть Бога "сознательным" было бы и впрямь как-то бессмысленно.

Перед нами образец европоцентризма в современном, наиболее плоском его варианте: в форме *рациоцентризма*. Из сумеречной этой бездны победно озирает автор религию, историю, культуру.

"Русские войска вошли в Париж, но русская культура очевидным образом по-прежнему не могла соперничать с европейской".

Впрочем, Гройс не отказывает России XIX века в статусе "развивающейся страны". Он полон сочувствия к тяжкому положению, в которое мы тогда попали: "относительно легкая задача стать просвещенной сменилась для России куда более сложной задачей стать оригинальной".

Национальная "оригинальность" в качестве целепостановки... Как не преклониться перед мощью разума человеческого: нет для рациоцентризма преград.

Да что же нам и оставалось, кроме мечтаний о том, что "могло бы считаться уникальным вкладом в мировую культуру?" (К слову, с каких пор "комплекс индюка" -

обязательная компонента национального самосознания?) Ничего-то у нас своего: "религия в России является целиком византийской, а ее светская культура целиком западноевропейской".

Кое до чего, поднатужившись, все же додумались: "В своих историко-богословских сочинениях Хомяков провозглашает ставший знаменитым принцип соборности".

Придется нам отвергнуть незаслуженный комплимент: "Верую... в Святую, Соборную и Апостольскую Церковь" было провозглашено и получило некоторую известность за полтора тысячелетия до рождения Алексея Хомякова.

В статье Гройса есть интересные, содержательные оценки, ниже мы к ней еще вернемся. Идеологическое мышление, к счастью, не всеобъемлюще. Но когда речь идет об *общем концептуальном подходе*, - оно, как всегда, играет с поработанным им умом дурные шутки.

Не стоило бы тратить время на "борьбу с русофобией". Но в том-то и дело, что недоброжелательства в статье Гройса нет. Эта статья - образец весьма распространенного мышления о мире вообще, и в диалоге с Западом нам необходимо трезво учитывать этот факт.

Работа А. М. Пескова "Германский комплекс славянофилов" интересна фактическим материалом, о котором напоминает автор. Противопоставление "рациональной Европы" и "мистической России" - это, разумеется, лишь схематизация подлинных, глубоких и тонких связей и взаимодействий.

"Киреевский всю жизнь мыслил о путях соединения европейского просвещения с "началами" русской жизни (в частности, "философии откровения" позднего Шеллинга с учениями отцов церкви). Хомяков видел в Англии страну, сумевшую сознательно развить те "начала", которые в России существовали лишь бессознательно", - пишет А. Песков.

Однако для "верующего сознания" (выражение Киреевского) неприемлемы "доказательства" бытия Божия, подходы "сознания формального и логического". "Гете

высматривал в Моисеевом законе *необходимость*; он не видел, что закон есть *свободное повиновение*, подобно тому, как христианская свобода есть *свободное согласие*. Бог есть... *необходимость только для демонов*", - писал Хомяков. - "Как труден, как почти невозможен поворот... германской школы к понятиям истинно религиозным и в то же время как она томится их отсутствием".

"Устойчивый интерес к России характерен для германских интеллектуалов едва ли не со времен Бисмарка. Результатом этого интереса стало обилие исследований по истории русской мысли, а также внушительный корпус переводов оригинальных текстов... Речь идет не только о русской литературе - она достойно представлена и на других европейских языках, - но и о русской философии", - пишет В. С. Малахов ("Русская духовность и немецкая ученость"), представляя читателю одну из лучших работ сборника - статью доктора Эберхарда Мюллера "И. В. Киреевский и немецкая философия".

Можно было бы назвать статью "Киреевский и Шеллинг" - и это вовсе не ее недостаток, не сужение темы. Мыслитель, "принадлежавший к числу тех существ, которые рождаются не веками, но тысячелетиями" (так назвал Шеллинга Киреевский) оказал наибольшее воздействие на русских мыслителей первой половины прошлого века. Автор статьи убедительно показывает, почему так произошло.

Около 1830 года Шеллинг, создав философию тождества, "привел развивающуюся по собственным законам историю новой философии к кульминации и к полному осуществлению. Свои прежние философские взгляды Шеллинг резюмировал следующим образом: "По самой своей сути это было совершенное и в себе законченное учение о разуме, в рамках которого разум осознавал себя как таковой... В силу этого философский рационализм сам по себе пришел к своему завершению и своему концу; цель самодовлеющего учения о разуме была полностью достигнута. Придя к своему концу, оно неизбежно должно было признать свою границу".

"Познания отрицательные необходимы, но не как цель познания, а только как средство; они очистили нам дорогу к храму живой мудрости, но у входа его должны были остановиться", - пишет и Киреевский. Однако впоследствии мнения мыслителей об истинной дороге "к храму живой мудрости" разошлись.

В середине сороковых годов Киреевский все еще примыкает "к сторонникам идеалистической идеи, стремящимся к построению целостной спекулятивной системы. Основную характеристику духа времени Киреевский определяет в 1845 году так: *"Философия в последнем окончательном развитии своем ищет такого начала, в признании которого она могла бы слиться с верою в одно умо-зрительное единство"*.

Проходит еще десять лет - и новую, "положительную" философию Шеллинга, "философию откровения" Киреевский уже видит как неудавшуюся.

"Для Киреевского несомненна правильность членения философии на отрицательную и положительную, но "почти столь же ложна" разработка последней. Почему это происходит? Самого Шеллинга нельзя делать ответственным за неудачу этой попытки, эта неудача была предопределена самой традицией западной мысли, полагает Киреевский. Шеллинг, по его мнению, сумел, благодаря своему поразительному гению, вылезти из болота, таща самого себя за волосы, и в силу "необычайного развития своего философского глубокомыслия" проложить верный путь... Шеллинг, убедившись "в ограниченности самомышления и в необходимости божественного откровения, хранящегося в предании, и вместе с тем в необходимости живой веры как высшей разумности в существенной стихии познания... не обратился к христианству, но перешел к нему естественно, вследствие глубокого и правильного развития своего разумного самосознания".

*Переход без обращения истинен лишь для "поразительного гения"*. Для мира же путь "из болота за волосы" - дорога в никуда.

"Шеллинг потерпел неудачу потому, что не заметил того сдвига внутри самого разума, который должен совершиться, если разум восходит от чисто логического познания к познанию верующему. Шеллингу не хватало внимания к этой стороне деятельности разума, хотя сам философ уже был на этом пути... Шеллинг ищет у отцов церкви лишь догм теологии и не распознает в них "их умопостигаемых понятий о разуме и о законах высшего познания".

Перед нами не только критика Киреевским Шеллинга: русский мыслитель очерчивает круг собственной проблематики - "новых начал" философии.

"Как бы то ни было, Киреевский стремится включить чистую науку разума, кульминацией которой была "отрицательная" система Шеллинга, в "положительную" - и, следовательно, в будущую русскую философию...

Зерно "положительной" философии в ее "русской" разработке, релевантное проблематике той поворотной эпохи, оказывается в конечном итоге зерном универсально-христианским".

Таков вывод Эберхарда Мюллера.

Влияние другого величайшего немецкого философа - предмет статьи А. Н. Медушевского "Гегель и государственная школа русской историографии".

"Государственная школа в лице своих наиболее видных представителей рассматривала философскую систему Гегеля как высшее достижение мировой философии и принимала, иногда с оговорками, все его учение, включая и самую консервативную его часть - философию права...

На место теорий спонтанного, волюнтаристского происхождения правовых норм (например, теорий Вольтера и Руссо) была выдвинута идея об их органическом развитии из недр и традиций народной жизни...

Выработанная концепция соотношения общества и государства выдвигала на первый план государственное начало, в котором видели стержневую идею русской истории и ее главное отличие от истории западноевропейских стран.

В соответствии с этим основным принципом разрабатывалась теория русской государственности и ее исторического развития...

Таким образом, философская система Гегеля оказала значительное влияние на формирование концепции государственной школы..."

В нескольких статьях указано также на влияние Гегеля на крупного мыслителя XX века - И. А. Ильина.

Иммануилу Канту в России "не повезло": ни в философии вообще, ни в рассматриваемом сборнике. В рамках настоящего обзора затруднительно было бы адекватно изложить концепцию объемистой, местами игривой по тону статьи А. В. Ахутина "София и чёрт (Кант перед лицом русской религиозной метафизики)". Ограничимся фрагментами, которые представляются нам существенными.

"Русская мысль испытывала странную идиосинкразию к кантовской философии", - констатирует автор в начале работы. Детальное исследование (автор анализирует "антикантианство" Ф. Достоевского и Н. Федорова, А. Белого и о. П. Флоренского, о. С. Булгакова и Е. Трубецкого) приводит к выводу: суть - в глубинном, коренном расхождении *"Софии-философии и Софии-метафизики или, попросту, философии и теософии"*.

"Не в идее критики дело, а в том, что открывается мысли, просвещенной этой критикой, - в самой метафизике. Там, где Канту видится ноуменальный мрак "вещи в себе", русским мыслителям сияет свет откровенной истины. Там, где кантовский чистый (теоретически) разум как бы повисает в воздухе безосновательности, русские мыслители обретают абсолютную сверхразумную основу и "припоминают", что всегда уже на ней стояли. Словом, там, где Кант путем критики научного (в строгом, новоевропейском смысле слова) разума входит в сферу собственно философии, русские мыслители становятся теософами, софиологами, богословами. Изменяется сама ориентация мысли, ее центр переносится изнутри автономного разума в Истину саму по себе, которая

подлежит раскрытию, разъяснению, членораздельному выговариванию в логосе уже не фило-софского (томящегося по мудрости), а теософского разума".

В сборнике соблюдается определенная хронология: последние статьи - о мыслителях конца XIX - начала XX веков. В соответствии с этим принципом материалы группируются вокруг "осевой" темы, не раз уже рассматриваемой, но остающейся необозримой: *Россия и Ницше*.

О влиянии автора "Рождения трагедии", "Заратустры", "Антихристианина" говорится уже в упоминавшейся вводной статье Б. Гройса.

"...Уже Соловьев пишет о ницшеанском сверхчеловеке как об этапе на пути к Богочеловеку. Полемика Ницше против христианства и, одновременно, против современной ему безрелигиозной, научной и моралистически ориентированной цивилизации с точки зрения "самой жизни" оказывается близкой традиционной русской мысли. При этом ницшеанская дионисийская жизнь снова немедленно теологизируется русскими учениками Ницше: критика Ницше в отношении христианства понимается ими как относящаяся, в первую очередь, к западному католицизму и протестантству, так что Ницше оказывается для них "самым русским" и, в то же время, самым христианским из западных философов. Дионисийское начало у Ницше ассоциируется при этом с соловьевской экстатической "софийностью", или с "преображенной плотью", так что Мережковский, Бердяев, Булгаков или Флоренский получают возможность в новых терминах, позаимствованных у Ницше, говорить о дуализме двух начал - западном аполлоновском и русском дионисийском - и о необходимости их высшего синтеза".

Первая собственно "ницшеведческая" работа сборника - статья Ассена Игнатова "Достоевский и Ницше: предчувствие тоталитаризма".

"Ницше равен своему герою. Достоевский же не идентифицируется с героями своих произведений. Заратустра - сам Ницше. В Достоевском, может быть, и есть что-то

от князя Мышкина, Алеши и старца Зосимы, но, конечно же, он не Верховенский, не Шигалев, не Кириллов или Раскольников”.

Все это справедливо, равно как и то, что Достоевский не Смердяков, не капитан Лебядкин и т. д. Отдавая должное плодотворности метода, не удержимся все-таки от вопроса: как быть, допустим, с Николаем Ставрогиным? История оставила убедительные свидетельства непростых “взаимоотношений” писателя с самым, быть может, отталкивающе-притягательным из его героев.

Но Бог с ним, с Достоевским: “Заратустра - сам Ницше” впечатляет больше. Действительно, есть авторы, которых можно в значительной мере “отождествлять” с одним из героев. (К слову, Ницше - яркий пример противоположной ситуации.) Однако работа, начинающаяся с утверждения “Печорин - сам Лермонтов”, вряд ли могла бы претендовать на читательский энтузиазм.

Удел рецензента печальнее: хочешь - не хочешь... Осилить статью, свидетельствуем: считать, что уровень задан ее началом, - означает весьма либерально оценить работу. Например, вот что излагает А. Игнатов по поводу одного из самых глубоких героев “Бесов”.

“Одержимый идеей свободной смерти, Кириллов сравнивает Бога с тем, что не причиняет боли, но все же вызывает страх. “Его нет, но Он есть” означает также: вопрос о Его существовании мало меня интересует, но люди в это верят, и я считаю эту веру вредной...”

Откроем теперь сам роман.

“- Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.

- В эмблему того, что время должно остановиться?

Кириллов промолчал.

- Они нехороши, - начал он вдруг опять, - потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насильствовать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

- Вот вы узнали же, стало быть вы хороши?

- Я хорош.
- С этим я, впрочем, согласен, - нахмуренно пробормотал Ставрогин.
- Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
- Кто учил, того распяли.
- Он придет, и имя ему человекобог.
- Богочеловек?
- Человекобог, в этом разница.
- Уж не вы ли и лампадку зажигаете?
- Да, это я зажег.
- Уверовали?
- Старуха любит, чтобы лампадку... а ей сегодня некогда, - пробормотал Кириллов".

Нет смысла анализировать исследование Игнатова либо полемизировать с ним. Однако в одном отношении оно может быть весьма полезно.

Современная наука провела четкую грань между "фёрстер-ницшеанством" - изделием недоброй памяти "Архива Ницше" - и подлинным наследием мыслителя. Работа была непростой: творчество философа фальсифицировалось планомерно, десятилетиями (уже в 1900 году Рудольф Штейнер, долгое время проработавший в Архиве, предупредил мир о том, "в чьих руках оказалось наследие Ницше"). И вклад в эту работу как немецких, так и русских ученых значителен. В 1956 году Карл Шлехт опубликовал результат "демонтажа" посмертной псевдоницшеанской фальшивки - "Воли к власти". Публикация стала сенсационной: расположив наброски к незавершенной "Переоценке всех ценностей" в запланированном самим Ницше порядке, Шлехт выявил скандальный масштаб подлога.

Для понимания религиозного значения творчества Ницше существенны появившиеся уже в годы "перестройки" работы А. В. Михайлова, трудно переоценить значение осуществленного в 1990 году К. А. Свасьяном двухтомного издания философа.

Разумеется, все это лишь очень медленно меняет сложившийся стереотип Ницше-"сверхчеловека". Тягостно

встречать даже в серьезных изданиях непродуманные клише типа: "Большевики провозгласили смерть Бога". Религиозная, да и чисто эстетическая неправдивость подобных "совмещений" очевидна, достаточно просто обратиться к текстам мыслителя.

Используем же статью "Достоевский и Ницше" (увы, не последнюю в своем роде) в качестве "учебного пособия". Начнем с тезиса, о котором мы уже упомянули.

"Бог не существует ("мертв", как недвусмысленно заявляет Ницше)". Посмотрим, какова эта "недвусмысленность" в действительности. Начнем, как советует А. Игнатов, с "Заратустры".

"Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу...

/.../

"...Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар?"

Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал: "Что мог бы я дать вам! Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас!" - так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети.

Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем: "Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слышал о том, что *Бог мертв*".

/.../

Так говорил однажды мне дьявол: "Даже у Бога есть свой ад - это любовь Его к людям".

И недавно я слышал, как говорил он такие слова: "Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог".

Мысль о *смерти Бога* неотступно волновала Ницше, она часто встречается в необозримых сборниках его афоризмов.

"Где Бог? Я хочу сказать вам это! *Мы Его убили* - вы и я! Мы все Его убийцы! Но как мы сделали это? Как уда-

лось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребаящих Бога?"

"Слова "Бог мертв" - это не атеистический тезис, а глубинный событийный опыт западной истории", - всеу цитирует А. Игнатов Хайдеггера. Но вывод Хайдеггера ясен: "Доселе напрасно!" - это ведь тоже Ницше... "Один был христианин, и тот умер на кресте". Это слова из... "Антихристианина". Образ Распятого мучил Ницше. На философа веяло мертвенной пустотой тысячелетий, текущих после смерти "единственного христианина", как и прежде, бездарно и бесплодно.

Лишь со-ощутив этот ужас, можно понять и оценить проекции, бросаемые воображением великого поэта на бесконечность грядущей истории.

...Что идет следующим номером? Конечно же: аморальное, безнравственное "Всё дозволено!", оно, как и всегда в подобных случаях, склоняется А. Игнатовым вдоль и поперек.

Что ж, откроем опять "Заратустру".

"Вместе с тобою разучилась я вере в слова, ценности и великие имена. Когда чёрт меняет кожу, не отпадает ли тогда также и имя его? Ибо имя есть только кожа. И сам чёрт, быть может, - только кожа.

"Нет истины, всё позволено" - так убеждала я себя. В самые холодные воды погружалась я сердцем и головою. Ах, как часто стояла я поэтому нагая и красная, как рак!

/.../

Так говорила тень, и лицо Заратустры вытягивалось

при словах ее. "Да, ты - моя тень, - сказал он, наконец, с грустью. - И немалая опасность грозит тебе, ты, вольнодумец и странник!.."

"Учиться на отрицательных примерах" - занятие не из веселых. К счастью, следующая работа: статья В. П. Шестакова "Ницше и русская мысль" полезна и интересна в обычном, позитивном смысле. Выводы В. Шестакова во многом совпадают со сказанным Б. Гройсом; но то, что во вводной статье аннотировалось, в данном случае - итог серьезного, глубокого анализа.

"Так или иначе, Ницше нашел в России свою вторую родину".

Д. Мережковский и Н. Бердяев вошли в историю русской культуры не столько как глубокие мыслители, сколько как критики, тонкие "собеседники" читателя, сумевшие почувствовать и выразить значение других философов.

"Нам, русским, он особенно близок. В душе его происходила борьба двух богов или двух демонов, Аполлона и Диониса, - та же борьба, которая вечно совершается в сердце русской литературы, от Пушкина до Толстого и Достоевского. Недаром Ницше называл этого "глубокого человека", как он однажды выразился о Достоевском, своим главным и даже единственным учителем в области познания души человека". Это слова из малоизвестной сегодня заметки Мережковского на смерть Ницше, опубликованной в 1900 году в журнале "Мир искусства".

"...Поистине в духе Ницше было больше славянского, чем германского: есть в нем что-то конечное, последнее, родственное нашему Достоевскому. Как близок Ницше по своему пафосу русским религиозным исканиям". Бердяев написал это в 1915 году - в разгар войны и связанных с ней антигерманских настроений.

Влияние Ницше было глубоким и постоянным, вплоть до октябрьской катастрофы, - констатирует В. Шестаков.

"...Розанов, начиная с "Уединенного", заговорил языком "Заратустры", и темы, навеянные Ницше, постоянно

всплывают в более поздних розановских афористических заметках”.

Сравнение Ницше с Константином Леонтьевым давно стало общим местом. Это естественно: эстетизм, ”аристократический радикализм” сближают тексты обоих авторов при самом поверхностном прочтении их. Но почти всегда остается без рассмотрения, скажем, антиэстетизм - противоречащий плакатному ”ницшеанству”, но вполне органично роднящий обоих мыслителей.

”Как удачно отмечал В. В. Розанов, в Леонтьеве произошла ”бурная встреча эллинского эстетизма с монашеским аскетизмом”. Но эти же два противоположных начала русские мыслители обнаруживали и в Ницше. Таким образом, Леонтьев и Ницше были схожи друг с другом не благодаря внешним влияниям, а по духу, по внутренней психологической и интеллектуальной установке”.

Впрочем, с некоторыми оценками В. Шестаковым основных идей Леонтьева согласиться трудно. Непонимание, а часто и прямое искажение одного из глубочайших русских мыслителей едва ли не тотально. Мы писали об этом в прошлом номере журнала, сегодня приходится возвращаться к теме.

”Леонтьев и религию принимает потому, что в ней ярко выражено эстетическое начало”.

Отождествление Истины и красоты традиционно для русского Православия - от плененных цареградской Святой Софией послов князя Владимира до Достоевского, с его знаменитым ”Красота спасет мир!”. Эстетическое совершенство Церкви, литургии сыграло немалую роль и в религиозном пути Константина Леонтьева. Напомним, однако, что причиной окончательного духовного поворота будущего инок Климента стало иное: испытанный вследствие тяжелой болезни сильнейший страх Божий.

Но бывают, разумеется, ситуации, когда религиозное и эстетическое противостоят друг другу. О проблеме выбора в таких случаях Леонтьев писал не раз.

”И христианская проповедь, и прогресс европейский

совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

И Церковь говорит: *"Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде"*.

*Что же делать?* Христианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетике, из *трансцендентного* эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике".

Далее. "Даже отрицание демократии продиктовано эстетическими мотивами: "Хотеть, чтобы все были правы, - говорил Леонтьев, - незстетично". Так пишет В. Шестаков.

Безусловно, эстетическое чувство художника не могло принять "всеобщую истинно проклятую жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака". Но главное для Леонтьева все же в другом: идеал среднего человека, "пользотворного мещанского времени", "всеплоскости" неприемлем прежде всего религиозно.

"Византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства".

Леонтьевский стиль, в отличие от аллегорического ницшеевского, четок и однозначен. Тем выразительнее традиционное непонимание мыслителя - его можно объяснить лишь полной несовременностью, несвоевременностью идей Леонтьева.

Сборник завершает статья Гельмута Даама "Свет естественного разума в мышлении Владимира Соловьева". Наибольший интерес у читателя в России вызовут, как можно полагать, параллели между поздним шеллингианцем и мыслителями средневекового Запада.

"Соловьев считает, что "разум имеет значение света, которым озаряется не им положенная жизнь человеческого

духа с ее законами". Все же нужно, по его воззрению, рассматривать как основательное положение, что "душа существует не только как этот свет, но и как освещаемое им существо". Следовательно, "жизнь духовная зарождается прежде этого света разума".

Автор подчеркивает близость этих воззрений Соловьева схоластическому мышлению, в особенности, - Фоме Аквинскому.

В то же время "в своих ранних философских сочинениях Соловьев оказывается не менее близким мышлению Паскаля, чем, например, Иван Киреевский или позже Лев Шестов... Общность мышления Паскаля и Соловьева, очевидно, состоит в модусе или способах соединения познающего с трансцендентным миром в виде интуиции сердца или умозрения мистического знания, имеющего форму внутренней безусловной уверенности.

Приведем полностью конечный вывод основательной, добротной статьи немецкого ученого.

"Соловьев задает себе вопрос, следует ли отсюда, что нужно - это было бы, пожалуй, лучше всего, - просто вернуться назад и восстановить сочинение Фомы Аквинского под названием "Сумма теологии" или же учение греческих отцов церкви как нормальную и окончательную систему истинного знания, согласно уважительному указанию некоторых русских писателей, во главе с Иваном Киреевским, как мне хотелось бы дополнить. Но на поставленный самому себе вопрос Соловьев отвечает, что раз дано мышление и опыт, раз познающий субъект относится ко всему не только мистически, но также рационально и эмпирически, абсолютная истина должна проявляться и в этих отношениях. "Следовательно, задача не в том, чтобы восстановить традиционную теологию в ее исключительном значении, а напротив, чтобы... ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать ее в данных опытной науки, поставить теологию во внутреннюю связь с философией с наукой, и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии".

Эти пожелания были, по-видимому, "программой-максимум" предкатастрофного религиозного мышления: последовательный ход развития не допускал высшего, нежели она.

Статья Гельмута Даама завершает сборник - к концу близится и наша рецензия. Но правила жанра оставляют нам возможность постскриптума; а условия сегодняшнего внеисторического бытия России, "ситуация чистого листа" - уникальные шансы выбора пути. Дерзнем же повторить слова Константина Леонтьева - сегодня они звучат реалистичнее, чем в час произнесения их.

*"Я опасаюсь для будущего России чистой оригинальной и гениальной философии... Она может быть полезна только как пособница богословия..."*

Пошли, Господи, нам, русским, такую метафизику, такую психологию, этику, которые будут приводить просто-напросто к Никейскому *Символу Веры*, к старчеству, к постам и молебнам".

Владимир НЕРОЗНАК, Раиса КЛЕЙМЕНОВА

## Восхождение к здоровой словесности

Год назад в Москве, в особняке, что в Борисоглебском переулке, в Доме Марины Цветаевой собрались словесники и воссоздали разгромленное на тринадцатом году советской власти, как и многие другие культурные объединения страны, Общество любителей российской словесности.

Общество любителей российской словесности (ОЛРС) было организовано при Московском университете 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, в 1811 году, в лето его поступления в Лицей, и прекратило свое существование в 1930 году, в лето гибели В. В. Маяковского.

Учреждалось Общество с целью распространения сведений "о правилах и образцах здоровой словесности, доставки публике "образцовых сочинений в стихах и прозе", создания "просвещенного языка". С самого начала Общество явилось как объединение просветительское. Особенно ратовал за эту сторону деятельности ОЛРС его первый председатель, директор университетского благородного пансиона, ректор университета Антон Антонович Прокопович-Антонский, "Три Антона", как звали его друзья.

Талантливый организатор и педагог, он хорошо был знаком с идеями русских и западных просветителей. Будучи сам автором трактата "О воспитании", он возглавил Общество с целью приобщить своих пансионеров и студентов к высоким образцам отечественной словесности.

А. А. Прокопович-Антонский имел значительное влияние на таких видных деятелей русской литературы первой трети XIX в., как В. А. Жуковский, А. Ф. Мерзляков, А. А. Полежаев. Последнего, стараясь уберечь, перед самым арестом вовлек в работу Общества, как ректор университета добился разрешения о переводе его в действительные студенты.

Во второй половине XIX в. ОЛРС стремилось содействовать развитию отечественного языка и литературы, стать "обществом деятелей русской науки и культуры", своего рода общественной академией. За этими декларациями стояли славянофилы, которые надеялись найти в Обществе место, где можно свободно выражать свои мысли. Славянофилы так же, как и западники, видели в словесности важнейшее средство воздействия на общественное сознание, способ доведения своих идей до широкого адресата.

В рамках Общества словесность выступала как комплексная гуманитарная дисциплина, объединившая в себе вопросы литературы, языка, фольклора, философии и истории. Достаточно упомянуть об участии в деятельности ОЛРС таких корифеев русской общественной мысли, как историк Н. М. Карамзин и философы А. С. Хомяков, В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев. О писателях говорить не приходится. В нем был представлен весь цвет русской литературы: В. Жуковский, А. Пушкин, Н. Гоголь, И. Тургенев, Ф. Достоевский, Л. Толстой. Среди председателей и временных председателей (была там и такая должность) ОЛРС были А. Ф. Мерзляков, М. Н. Загоскин, А. П. Чехов, И. А. Бунин.

Избирались в Общество лишь те, кто внес в развитие российской словесности значимый вклад. Кроме действительных членов ОЛРС, в нем были представлены и сотрудники. Эта привилегия относилась исключительно к подающим надежды молодым людям. Сотрудником ОЛРС состоял молодой Ф. Тютчев.

Чести быть избранным в члены Общества удостаива-

лись и иностранцы. Среди них были выдающиеся деятели культуры и науки славянских стран, переводчики сочинений русских авторов на иностранные языки. В 1862 году иностранным членом Общества любителей российской словесности был избран французский писатель Проспер Мери-ме, "знаток и страстный любитель русского языка и литературы, провозгласивший нашего Пушкина величайшим и первым из современных европейских поэтов".

Общество существовало на средства, собранные по подписке, пожертвования, деньги, получаемые за дипломы. В конце XIX - начале XX вв. ОЛРС субсидировалось государством.

Основным видом деятельности Общества было проведение заседаний, которые нередко созывались совместно с учебными заведениями, театрами и разными другими организациями. Юбилеи мастеров слова становились всегда значительными событиями в культурной жизни России. При подготовке к юбилейным торжествам проводилась огромная работа. Собиралась библиография юбиляра, устранялись неясности в его творчестве, в биографии (например, уточнен день рождения Н. В. Гоголя), разыскивались наследники, устраивались выставки.

Наиболее впечатляющими, хорошо сохранившимися в памяти современников стали празднования, приуроченные к открытию памятника А. С. Пушкина в 1880 г. Прозвучавшие у пьедестала русского гения речи великих его собратьев по перу Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева с небывалой силой воздействовали на рост национального самосознания в России конца XIX - начала XX вв.

Другим таким событием стало открытие в 1909 году также на средства Общества памятника Н. В. Гоголю, запомнившееся "нашумевшей" речью В. Я. Брюсова. Почти преданием, оставившим след в русской словесности, запечатлелась в памяти членов ОЛРС дискуссия 14 февраля 1859 г., участники которой А. С. Хомяков и Л. Н. Толстой спорили об общественном и художественном предназначении литературы. Запись их речей, к сожалению, до нас не дошла.

Накануне и после революций, а точнее февральской революции и большевистского путча, в Москве появилось множество новых литературных и художественных организаций, с которыми ОЛРС стремилось находиться в "товарищеском общении". Так, в торжествах 1924 года по случаю 125-летия со дня рождения А. С. Пушкина вместе с ОЛРС участвовало более десяти различных литературных объединений и ассоциаций. На 20-е годы XX века пришелся расцвет русской филологической науки, фундаментальных исследований творчества русских классиков. В Обществе продолжают звучать доклады и речи о Пушкине, Гоголе, Жуковском, Грибоедове, Тургеневе, Лермонтове, Одоевском, Гончарове, Л. Толстом, Достоевском, Тютчеве, Салтыкове-Щедрине. Уровень сообщений определялся их авторами. Среди докладчиков блистали имена таких словесников (филологов, писателей и философов), как Н. К. Гудзий, Н. Ф. Бельчиков, М. Н. Розанов, В. М. Жирмунский, Л. П. Гроссман, М. О. Гершензон, В. Я. Брюсов.

Членам Общества становится тесно на общих заседаниях, и они создают комиссии по интересам - пушкинскую, гоголевскую, тургеневскую, современной литературы. На этих комиссиях обсуждаются грандиозные планы по изданию собраний сочинений, словарей писателей, публикации воспоминаний о выдающихся словесниках-современниках.

Общество любителей российской словесности пользуется мировой известностью.

Содружество словесников осталось верным своим гуманитарным просветительским принципам и в тяжелейших условиях большевистского режима, с его откровенно враждебным отношением к гуманитарной интеллигенции. В атмосфере неприкрытых гонений, переходящих в голый террор, Общество отпраздновало 28-30 октября 1918 г. столетний юбилей со дня рождения И. С. Тургенева. Ряд мемориальных заседаний был посвящен памяти А. А. Блока (1921), В. Я. Брюсова (1924), С. А. Есенина (1926).

Поражает размах издательской деятельности Общества в начальный период его существования. Только за 16 лет (1812-1828 гг.) вышло 27 томов "Трудов" ОЛРС.

В первой четверти XIX века, когда "верхи" говорили по-французски, когда преподавание в университетах велось на немецком, латинском, французском языках и лишь иногда на русском, и шел спор, следует ли вести преподавание на родном языке, проблемы русского языка выдвигаются на первый план.

В "Трудах" Общества публикуются статьи А. Х. Востокова, М. Т. Каченовского, А. В. Болдырева, рецензируется грамматика Н. И. Греча, лучшее описание строя русского языка того времени. Собираются материалы к различным словарям. Изданием "Речей" (ч. 1-4, 1816-1824), прочитанных профессорами Московского университета, Общество показало, что русское красноречие достигло той степени совершенства, когда уже никто не сможет усомниться в необходимости преподавания любого предмета на русском языке.

В истории Общества в конце 30-х годов XIX века наступил временный перерыв. Второе дыхание ОЛРС обрело с избранием председателем выдающегося философа и филолога - славянофила А. С. Хомякова (1858-1859) и сменившего его известного историка М. П. Погодина (1860-1866). Важнейшей миссией ОЛРС М. П. Погодин считал то, что оно должно "содействовать выходу в свет таких литературных трудов, которые по каким бы то ни было причинам не могут без того явиться".

Знаменательным событием в русской культуре явилось издание Обществом "Толкового словаря живого великорусского языка" В. И. Даля (1863-1866), а также русских народных песен, собранных П. В. Киреевским. В заслугу Обществу можно поставить прежде всего то, что оно помогло ввести в научный обиход сокровища народной русской речи и песенного фольклора русского народа.

В одних случаях ОЛРС само публиковало сборники из области народной словесности, в других помогало собирателям в издании их материалов.

Интересно отметить, что поощрение собирательской деятельности на ниве народной словесности в Обществе считалось делом, не терпящим отлагательства. Один из его председателей (1872-1874), видный русский писатель-славянофил И. С. Аксаков, называл свое время эпохой брожения, эпохой переходной, "вообще неблагоприятной ни для спокойного труда мысли, ни для художественного народного творчества". И. С. Аксаков торопил Общество "спешить собрать и уберечь от неизбежной гибели последние памятники, последние звуки народного эпоса". Поражает схожесть оценки, даваемой нами времени, в котором мы живем, как "смутного", "переходного" с оценкой, которую сто с лишним лет назад дал своему времени русский писатель.

К 50-летию со дня гибели А. С. Пушкина Общество из-за отсутствия средств не могло издать собрание сочинений поэта. Однако удалось издать по дешевой цене несколько отдельных сочинений, в их числе "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Полтава". Высокий уровень подготовки, выразившийся в выверенных и уточненных текстах, позволил рекомендовать их как учебные пособия для средних учебных заведений.

В работе ОЛРС деятельное участие принимали собиратели древностей, архивных материалов, библиографы. Среди них выделим М. Н. Лонгинова и С. А. Соболевского. Под грифом Общества вышли публикации Лонгинова 1860-го года "Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому" и "Письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву".

И хотя во второй половине XIX в. Общество так и не сумело создать постоянный печатный орган, оно продолжало вносить свой неоценимый вклад в историю русской словесности своими сборниками. "Венок" памяти составили сборники, посвященные А. С. Пушкину, В. Ф. Одоев-

скому, Н. С. Тихонравову, Н. И. Стороженко, А. П. Чехову, И. С. Тургеневу, Н. В. Гоголю и др. Обществом были отпечатаны каталоги и альбомы выставок, связанных с творчеством Пушкина, Грибоедова, Белинского, П. С. Мочалова, Гоголя, Жуковского.

Общество сторонилось резкой журнальной полемики. Вместе с тем в истории Общества немало примеров, когда оно не боялось выступить против какого-либо модного течения, не страшилось противопоставить себя общему мнению, если считало его неверным. В период нападок литературных критиков на А. Ф. Писемского Общество принимает писателя в свои члены, устраивает на заседаниях чтения отрывков из его романов.

Весьма поучителен и достоин подражания пример толерантности членов Общества друг к другу вне зависимости от их политических и эстетических взглядов. С момента его образования Общество любителей российской словесности объединяло литераторов разных направлений, "из самых разнородных лагерей и литературных приходов". Большинство его организаторов пытались "объединить то, что есть верного, животворного, обеспечивающего простор человечеству в каких бы то ни было теориях, не допытываясь, кому принадлежат эти догадки", "признавали только одних противников - защитников застоя и тьмы". В Обществе мирно уживались славянофилы и западники, веховцы и социалисты.

И после революции 1917 года Общество искало свое место "в обновленном организме страны", "стремилось к разумной ориентации среди новых явлений жизни и литературы", видело "много художественно-ценного и социально-плодотворного" в новой литературе.

Но дух свободы и творческой мысли, "здравой" словесности, царившей в Обществе, был противопоставлен новому режиму. Общество простилось со многими своими знаменитыми членами, уехавшими по своей воле, а чаще изгнанными, за границу. Все они составили гордость российской словесности - Н. Бердяев и Д. Мережковский,

Б. Зайцев и Ю. Айхенвальд, А. Белый и Вяч. Иванов. Для получения разрешения на выезд за пределы России поэт К. Бальмонт 18 апреля 1920 года обратился в Общество с просьбой "о выдаче соответствующих рекомендаций в виду отправления за границу для научно-литературных занятий". Рекомендация поэту была выдана. В 70-е годы высылали уже "по рекомендации" КГБ.

В начавшемся вскоре разгроме культурных центров России дошла очередь и до Общества любителей российской словесности. В 1929 году в печати появляются клеветнические нападки на Общество, в том же году оно подвергается ревизии. В вину Обществу ставилось то, что оно не похоже на клуб, что на его заседаниях читаются чересчур научные доклады, и вообще непонятно, зачем оно существует. К этому времени деятельность многих общественных организаций была уже прекращена, но Общество любителей российской словесности еще сопротивлялось.

Совместно с ГАХН 21 апреля 1930 г. Общество провело заседание памяти В. В. Маяковского. С докладом выступил председатель ОЛРС известный литературовед П. Н. Сакулин. Тема его звучала парадоксально: "Маяковский и классическая литература". Вскоре (7 сентября 1930 г.) председатель Общества П. Н. Сакулин умер, а новый не был избран. В дневнике последнего председателя, предчувствовавшего закрытие Общества, осталась горестная заметка: "Закрывать не трудно, а создать Общество с таким авторитетом трудно".

\* \* \*

Идею возрождения Общества любителей российской словесности поддержали Российский фонд культуры, Московский государственный лингвистический университет, Ассоциация журналистов "Культура России" и издательство "Посев", которые и стали его учредителями. Почетным председателем ОЛРС был избран академик Д. С. Лихачев, председателем - профессор В. П. Нерознак,

директор Института языков народов России, зав. кафедрой теории словесности Московского лингвистического университета, ученым секретарем стала кандидат филологических наук Р. Н. Клейменова. Почетными членами Общества избраны А. И. Солженицын и Н. Д. Солженицына. На одном из заседаний в члены Общества принят поэт Наум Коржавин, при персональном его присутствии.

Прошел год со дня рождения ОЛРС. По традиции на заседаниях общества читались доклады по широкому кругу теории и истории словесности - издание "Толкового словаря русского языка" В. И. Даля с дополнениями И. А. Бодуэна де Куртене, программа журнала "Новая юность", возрождение издательства "Academia".

Одно из заседаний было посвящено русской интеллигенции. Профессор Ю. А. Бельчиков изложил историю происхождения и употребления в разные эпохи слова "интеллигенция", а критик и литературовед И. П. Золотусский предложил свою концепцию роли писателей-интеллигентов в русской литературе и культуре.

Совместно с издательством "Посев", культурным центром "Дом Марины Цветаевой" Общество любителей российской словесности организовало выставку книг издательства "Посев". После закрытия выставки книги были переданы в дар Обществу.

Средств для издательской деятельности у самого Общества пока нет. И всё же в содружестве с издательской фирмой "Academia" и Ассоциацией журналистов "Культура России" ОЛРС тиражом в сто тысяч экземпляров выпустило "Избранные сочинения" А. С. Пушкина, заполнив образовавшуюся в конце 80-х - начале 90-х гг. лауну в издании книг великого собрата по Обществу. В честь 225-летия со дня рождения знаменитого русского историка и писателя, одного из первых почетных членов Общества, в ближайшее время выходит из печати "Венок Карамзину". В первом номере журнала "Русская речь" за 1993 год опубликован доклад почетного председателя ОЛРС Д. С. Лихачева "О преимуществах старой русской орфогра-

фии", прочитанный им в феврале 1928 года в студенческой Космической академии. Доклад сохранился в архиве КГБ. За него Д. С. Лихачев получил 5 лет Соловков.

Московскому почину решили последовать словесники Казани, которые во время празднования 250-летия со дня рождения Г. Р. Державина возродили Общество любителей отечественной словесности. Филологи Пензы на чтениях, посвященных 170-летию со дня рождения выдающегося русского словесника, председателя ОЛРС, Ф. И. Буслаева, создали в своем городе одноименное общество.

Первые дела возрожденного общества пока скромны. Но повторим слова, уже сказанные в 60-х годах прошлого века секретарем ОЛРС А. А. Котляревским - да, деятельность Общества не обширна, даже бедна сравнительно с количеством членов, но пусть будет она вступлением в новую эпоху развития Общества, в новую предстоящую ему деятельность, новую не в смысле мелочной погони за новизной, но в смысле дружеского стремления к одной великой цели: служения русской науке, просвещению и литературе.

В культуре России "здравая словесность" во все времена играла выдающуюся роль. "Здесь, на земле искусств, словесницей слыву", - гордилась Марина Цветаева. Российская земля стала ей недоброй мачехой. А Дом самой Марины, что в Борисоглебском переулке, стал "странно-приимным", он принял под свою крышу Общество любителей российской словесности, библиотеку-архив русского зарубежья, представительство А. И. Солженицына в Москве. Хотим от имени членов Общества любителей российской словесности выразить сердечную благодарность хозяйкам "Дома словесности" Н. И. Катаевой-Лыткиной и Э. С. Красовской, возродившим Дом Марины Цветаевой для русской культуры.

### Потусторонняя свирель\*

Посмертные сборники (не избранного, а – из архивов, из неопубликованных рукописей) часто напоминают апокрифы. В них есть "буква", наличествует немало ценного – но не всегда присутствует дух, тот самый кантовский "оживляющий принцип", который делает книгу чем-то большим, нежели перечень текстов. Ведь "книга рождается из тела. Его пульсация, его живое дыхание создают почву для всего остального" (Л. Флашен), а живое дыхание трудно воссоздать вне творческой воли автора.

Подобные сомнения не раз испытываешь, прочитывая последнее издание стихов Рюрика Ивнева, которого недавно величали странным, но расхожим титулом "патриарха советской поэзии". В сборник "Мерцающие звезды" вошли впервые обнародованные стихи поэта, писавшиеся на протяжении целой вечности – с 1903 по 1981 годы.

При таком подходе, когда хранитель архива Ивнева, долголетний исследователь его творчества Н. П. Леонтьев не рискнул самочинно отсеивать семена от плевел, – понятно, что книга не могла осуществиться цельной, единой. При этом к стихам Р. Ивнева хотелось бы отнести его мысль о русских воинах Первой мировой:

За нас Господь и с нами сила,  
и одинаково сильны  
и те, кто Им сохранены,  
и те, кого удел – могила.

Рюрик Ивнев известен как полуканонизированный классик советской словесности, как "беспартийный большевик". Он – один из литераторов, получивший известность еще до Октябрьского переворота и, наряду с Блоком и Маяковским, принявшим залп "Авроры" как благовест. Одно время даже служил секретарем у наркома Луначарского.

Н. П. Леонтьев, выпустивший эту книгу на собственные средства – редкий случай бескорыстия и верности делу! – в

---

\* Рюрик Ивнев. "Мерцающие звезды". М., "Современник", 1991.

предисловии предлагает: "Простим поэту революционный романтизм его юности, воспевание революции и тиранов". Что ж, Рюрик Ивнев прожил свои девяносто лет так, как сумел, работал много и в разных жанрах, был другом великих (Есенина, например) – и не нам сейчас его судить. Тем более, что в "Мерцающих звездах" поэт вдруг открылся нам с несколько иной стороны.

Здесь собрано ранее не бывшее в печати. Есть даже стихи начала века, где воскуряется дань модному тогда декадансу: "Летняя ночь зарублена, труп лежит на столе". И более поздняя эгофутуристическая разлохмаченная образность в духе В. Шершеневича или раннего В. Маяковского, как в портрете мясника: "Лиловую глыбу мяса сторожишь, папиросой дымя. Кожаный фартук – кровавая ряса...". А встречаются и совдеповски "одемяенные" тексты, вроде нравоучительной басни "Аршином старым новый быт не мерь". Но самое главное: в книгу включены стихотворения, которые всю социалистическую эпоху непредставимы ни в сборниках Ивнева – "агитпроповца", ни даже в его более поздних изданиях, где поэт выступает уже в основном в амплуа тонкого лирика, уходя от дубовой социальности. Имею в виду напечатанные в "Мерцающих звездах" стихи о Христовом Воскресении, и пейзажные зарисовки с деревянными церквушками на окоёме, и раздумья о том, что "мир держится на ниточке молитвы / отшельников, затерянных в лесах". Ну, и еще покаянные слова певца коммунистической веры об истинном Боге:

Сколько раз я втапывал в грязь

Твое Имя – Имя Твое.

Мимо церкви ходил не крестясь

и осмеивал ее...

Сборник "Мерцающие звезды" получился многообразным и даже, пожалуй, лоскутно-пестроватым: обилие тем, разнообразие ритмов, несочетаемые иногда средства выразительности... Тень попа Гапона, камни Петербурга, "Распутин, убитый князьями", архангельский моряк, "смельчаки на эшафотах" – персонажи и ситуации лирики Рюрика Ивнева иногда окутаны историко-романтическим флером... Но и тогда они не умовыстроены, поскольку постигались не по "учению книжному" – ведь так много повидал поэт на своем веку! Может быть, из-за этой нелегкой ноши воспоминаний и покаяний лирическому герою Рюрика Ивнева столь часто является, как тень отца Гамлета, некий призрак:

Ни рано, ни поздно, а в час предназначенный  
Исполнилось звезд оловянных пророчество.  
С обугленным векселем, кровью омоченным,  
Как призрак, подходит ко мне одиночество.

И всё же самое подлинное у поэта в "Мерцающих звездах" – не мастерски синкопированные ритмы, не изысканные акросонеты (хотя есть и это), а – как и в лучших его книгах! – лирика чистых интонаций, отсылающая то ли к усадебному XIX-му, то ли к "серебряному" векам русской поэзии.

Где ветви голубого неба?  
Где шум весеннего ручья?  
Быть может, ничего и не было,  
и ничего не видел я...

"Мерцающим звездам" предпослано предисловие Анастасии Цветаевой, современницы этого уходящего племени советских динозавров. А в конце сборника несколько слов написал издатель и составитель Н. П. Леонтьев. Не учитывать теперь этой книги при последующих переизданиях Рюрика Ивнева, при составлении антологий русской поэзии – думаю, будет уже невозможно.

**Игорь КРУЧИК**

### **Ответственность общества\***

Книга эта, следует сказать, весьма актуальна для сегодняшней России. Правда, нашему бедному Отечеству пока еще не до решения сходных проблем. Помощь тем, кого принято называть бедными в США, у нас была столь ничтожна по размерам и оказывала столь незначительное облегчение тем, кому она была направлена, что сопоставления с американскими тратами из штатных или федеральных фондов просто не могут быть сопоставимы. Различия совершенно иных порядков. Да и наши бедные граждане, прочти они все разом труд г-на Л. М. Мида, могли бы воскликнуть: "Да об чем тут речь идет..." Нынешнее же руководство России, почти

---

\* Л. М. Мид "Общественные обязанности граждан". - Beyond Entitlement: The Social Obligation of Citizenship. N. Y., London, 1986, 318 pp.

сплошь составленное из бывших коммунистов, вообще, похоже, не утруждает себя подобными проблемами, да и все сходится во мнении, что "им недолго осталось", а вместо проблем социальной помощи они заняты помощью своим семьям и детишкам, проживающим, в основном, в Вене, Зальцбурге, США или иных "теплых краях". Да и себе на будущее надо готовить гнездышки и норки подальше от России...\*

Книга же, рассматриваемая нами, говорит не только о расходах на помощь бедным (само понятие, крайне трудно объясняемое, особенно в России), а скорее даже шире - о социальной политике государства - или еще более широко - о "морально-общественном долге человека и гражданина". Широко и неопределенно... Получающий помощь человек или целая семья должны вести себя хорошо и "правильно реагировать на предоставляемую помощь", например, талоны на продукты питания для бедных, пособие по безработице и т. д. Он или они должны искать работу, повышать свою квалификацию, не пить алкогольные напитки и т. п...

Всё, сказанное выше, отнюдь, разумеется, не снижает важности труда Л. М. Мида и предлагаемых им путей решения поставленных в нем проблем. Мы видим, что даже в США совсем немало тех, для кого труд не стал "делом чести, делом доблести и делом героизма". Совсем наоборот, по недавней советской терминологии, "злостные тунеядцы, уклоняющиеся от общественно-полезного труда", достаточно многочисленны. Разница состоит в том, что им никто не угрожает отправкой туда, куда "Макар телят не гонял", а, напротив, даже выделяют некоторое всепомоществование из общественных, штатных и федеральных фондов, по нашим понятиям, фантастически огромное.

Автор работы анализирует расовый состав беднейших слоев населения США, "андекласс", низший класс, осторожно признавая, что он просто использует понятийное выражение. Люди эти сосредоточены в городских трущобах и на 70% состоят из цветных, не-белых, по определению Л. М. Мида (с. 22-23).

Среди белых принадлежность к беднейшим слоям населения США по национальностям не определяется. К сожалению, автор не приводит такого сопоставления доходов по различным национальностям ирландского, немецкого проис-

---

\* Рецензия была написана до октябрьских событий 1993 г., т. е. до падения Советов, в том числе и ВС.

хождения или особенных групп населения, например, мормонов. Это обедняет работу. Предполагаем, что подобные цифры, несомненно, имеются, и доступ к ним вряд ли сложнее, чем в бывшем СССР.

Одна сторона общества – условно мы можем назвать их либералами – отстаивают расширение программ социальной помощи, причем расширение постоянное. В то время как их противники, и среди них автор рассматриваемого труда, полагают, что помощь должна оказываться куда более дифференцированно. Этой помощи должны быть лишены те, кто сознательно и намеренно уклоняется от труда и ведет, выражаясь языком недавнего прошлого, "антиобщественный образ жизни". Помощь должна оказываться человеку, чтобы он мог найти достойную работу по силам. Дать нуждающемуся возможность пройти обучение или даже получить образование для того, чтобы он мог зарабатывать и вести действительно достойную экономическую жизнь, а не выпрашивать подачки.

Существуют группы населения, которым оказание помощи, и весьма существенной, необходимо и не может даже подвергаться сомнению. Например, слепые и другие инвалиды с тяжкими заболеваниями. В России это вызывает огромные трудности. С самого начала осуществления социальной помощи в бывшем СССР были допущены фатальные ошибки (возможно, что это было сделано вполне сознательно), которые привели к практической невозможности оказания помощи большому, очень большому числу несчастных. Прежде всего, в самой своей основе была ошибочна политика создания так называемых домов для престарелых, где условия существования и питания сильно смахивали на лагерные. Старые люди подвергались издевательствам, избиениям, незаконным поборам, прежде всего те, кто имел хоть какие-то личные деньги.

Зачастую они жили вместе с бывшими заключенными, которые и устанавливали свои "законы" в такого рода домах, а иногда и просто управляли ими, оттесняя персонал. Причем тот, кто поступал в такие дома престарелых или инвалидов, немедленно лишался жилой площади. Проще говоря, у него отнимали квартиру или даже жалкую комнатенку в коммуналке. В то же самое время подобного издевательства над стариками и инвалидами можно было избежать, создавая организации патронажных сестер, которые посещали бы несчастных на дому и приносили бы им пищу, помогали совершать требуемые действия для существования. Это обошлось бы государству даже дешевле. И старые люди не были бы вы-

рваны из привычной среды, а число обитателей домов для престарелых со всеми их ужасами сократилось бы весьма значительно. Бывших же зеков и алкоголиков следовало бы направлять в специальные дома и тем самым отделять их от обычных обитателей скорбных мест – домов для престарелых, слабых и незащищенных.

В США, насколько можно понять, подобной проблемы не существует. Дома для престарелых в Германии ли, в США оборудованы прекрасно, и пожилые люди, инвалиды, видимо, чувствуют себя там неплохо.

Мы сделали это отступление, чтобы пояснить, что наши и американские проблемы весьма различны.

Во многих штатах США оказывается помощь семьям, лишенным главы семейства – отца. Вероятно, помощь эта весьма значительна, во всяком случае по нашим понятиям. В России такая помощь также оказывается, но она ничтожна, а положение в таких семьях ужасно. В то же время, учитывая падение рождаемости и тяжелейшее демографическое положение в России, это представляет огромную важность для будущего страны, вообще для существования России. Вероятно, помощь таким семьям должна быть увеличена и как можно скорее. В США подобной проблемы не существует. Но вот некоторые конгрессмены-консерваторы выступили против увеличения программы социального обеспечения, или, используя более близкое по смыслу советское понятие – материальной помощи таким семьям. Они утверждают, что подобное вызовет рост "незаконнорожденных детей" и населения в целом (с. 198). Для нас это представляется не совсем понятным. Видимо, касается это прежде всего негритянских семей, где несравненно чаще отсутствует глава семьи.

Часто повторяется довод, что большинство из получателей материальной помощи (талоны или купоны на продукты, регулярные дотации многодетным семьям и т. п.) лишены всякой морали. И повторяются призывы прекратить оказывать помощь тем, кто беден, ибо бедны они, якобы, по своей вине и должны работать, чтобы добыть пропитание.

Сторонники такой точки зрения приводят многочисленные примеры, что в любом американском городе имеется работа, причем постоянная, например, в качестве посудомоек или официантов. Или другие рабочие места. И, следовательно, государственные или штатные программы регулярной материальной помощи просто увеличивают число лодырей и содержат множество людей, которые просто ленивы, не хотят работать, так сказать, принципиально (с. 223).

Многие американцы, по данным, приводимым автором, отнюдь не против помощи нуждающимся, но они обеспокоены

тем, что эта помощь попадает не тому, кто действительно нуждается в ней, а бездельникам и наркоманам. Причем, по данным автора, большинство американцев против программ такой материальной помощи для нуждающихся (данные относятся к концу 70-х годов), но не против системы медицинского обеспечения нуждающихся в старости. Вероятно, здесь имеются в виду лица, лишенные по каким-либо причинам медицинского страхования.

Более терпимо, по данным опросов, относится к социальной помощи негритянское население США в целом.

Работа для нас интересна и написана специалистом. Однако несколько обедняет ее отсутствие данных, причем полных, о числе людей по всей Америке, получающих материальную помощь и еще не достигших пенсионного возраста, а также о числе лиц, живущих "за чертой бедности", нет данных о числе бездомных. Получают ли они какую-либо форму материальной помощи, кроме ночлежек и бесплатных обедов. Четкого ответа на эти вопросы в книге не дано. Для нас же, в нашем сегодняшнем положении, было бы интересно провести подобное сравнение.

**Андрей САМОХИН**

**Зоя ЖУРАВЛЕВА**

## **Будьте милосердны, люди!**

Это случилось совсем неожиданно. Мимо этого здания я проходила часто. И когда во дворе гуляли дети, всегда встречалась с глазами, наполненными такой тоской, неизмеримой болью и множеством детских вопросов. Мне как-то не по себе становилось от взгляда этих детских взрослых глаз. О чем молча спрашивал Малыш? О чем тосковал? О чем страдало его крошечное сердечко?

Я запомнила его лицо и мысленно здоровалась с ним, когда вновь встречалась со взглядом его больших голубых глаз цвета ясного доброго неба. Малыш был очень мал. И вряд ли на самом деле мог о чем-то так глубоко задумываться. Но у него были свои проблемы, неразрешимые и скорбные, оттого я даже стала побаиваться его взгляда - у меня сердце щемило всякий раз, когда я подходила к этому дому.

О Малыше я стала думать часто, придумывала его судьбу, его прошлое, настоящее, будущее. Мне казалось, что мы уже давно знакомы.

Однажды я не выдержала и зашла во двор того дома, где гулял Малыш, во двор Дома ребенка. Сразу же ко мне кинулась стайка ребятишек. Мой Малыш стоял в стороне. Дети тянули ко мне грязные ручонки: "Тетя, дай, дай!" Я всегда носила с собой что-нибудь вкусненькое. И на этот раз у меня были конфеты и я стала их раздавать в маленькие худенькие ручонки.

Вдруг пронзительный крик заставил меня вздрогнуть: "Это моя мама! Мама за мной пришла!" И тут же Малыш оказался возле меня, обхватив меня за ноги. Я подхватила его на руки и обмерла: до чего же легким было его тельце, ну просто невесомым, и как доверчиво он прижался ко мне, старательно, изо всех силенок стискивая меня за шею.

Господи, я боялась шевельнуться, чтобы не потревожить Малыша. Сколько мы так стояли - не помню. Но это наше неожиданное знакомство всё во мне перевернуло. Как только прошли первые минуты шока, я тут же отправилась к заведующей Домом ребенка: "Отдайте мне этого мальчика". Но выяснилось, что у Малыша где-то есть мама. Она никогда его не навещала. Как оставила его в родильном доме, так и забыла про сыночка.

И тогда я взялась за поиски его мамы. Непросто это оказалось - искать маму моего Малыша. Указанный ею в роддоме адрес оказался фиктивным. В милиции мне объяснили, что поиски мои безнадежны и лучше не тратить время даром. "Как это даром?" - возмущалась я. - А как же мой Малыш? Ведь если его родная мама не оформит официальный отказ от ребенка, то я никогда не смогу его усыновить". И снова искала.

Шли недели, месяцы. Теперь я постоянно бывала у Малыша. Мы привязались друг к другу настолько, что врозь жить уже не могли. Я на работе маялась: как там мой маленький курносенький сыночек, не обижают ли его там? Что-то головка у него вчера горячая была - не заболел ли? Скорей бы кончался день - и я сразу же к нему.

И Малыш скучал. Няни мне рассказывали, что он очень переменялся. Стал добрее, спокойнее. И любимая тема разговоров у него - мама. Как он будет с мамой жить, как будет маму защищать. Милый, дорогой мой Малыш, он уже тогда знал, что есть на свете люди с черной душой! Когда же он успел усвоить эти грустные уроки, прожив еще так мало?

А когда я приходила к Малышу, старалась одеться модно, красиво, чтобы ему нравилось. Я видела - Малыш гордится мамой. Он снисходительно посматривал на ребят: "Смотрите, какая у меня мама". И даже немножко важничал.

Мои поиски, действительно, не увенчались успехом. В горьком отчаянии я перестала ходить к Малышу, чтобы не травмировать его больше - у меня не было права усыновить его, я не нашла его маму.

Видя мои муки, в Доме ребенка мне предложили взять девочку, очень похожую на Малыша - такую же светловолосую, голубоглазую, очень бойкую. Я подумала: это не предательство с моей стороны, нет, это моя надежда. Вдруг, если возьму девочку, сердце мое успокоится и перестанет плакать по Малышу. Уж очень тяжело было привыкать к мысли, что с Малышом придется расстаться.

Привела я Олечку домой, дочкой она мне стала. Полюбила ее всей душой, и родители мои были от нее в неописуемом восторге - уж очень милая, забавная девчушка. Всё "спасибо", "пожалуйста", "извините", "разрешите" - через каждое слово. Нарядили мы дочку, как куколку. Стали приручать ее потихоньку. Это она с виду была ласковой, тихонькой, а оказалось - характер у нее довольно ершистый, занозистый. Мы уже на первых порах поняли, что за "подарочек" нам достался. Но несколько не жалели об этом, были готовы к любым трудностям.

Полюбили мы Олечку нежно и любовью отогревали ее застывшее сердечко, приучали к доброй домашней жизни. Она часто пугалась громкого радио, то шарахалась в страхе от нас, если что натворит. Стану ей говорить: "Что ты так боишься нас, мы же любим тебя". А она так недоверчиво смотрит: "А бить будете?" "Да что ты, моя умница!

Разве можно обижать таких маленьких? Да и вообще никого нельзя обижать". Оля помолчала, а потом крепко ко мне прижалась и выдохнула горько и обиженно: "А ТАМ нас били". Помолчала еще и добавила: "Мамочка". Впервые так назвала меня и с тех пор, кажется, стала верить моей легенде, что я и есть ее мама, просто не могла ее забрать из детдома, потому что сильно болела, и показала ей свой безобразный шов от аппендицита.

Немного времени прошло с тех пор, как я привела в наш дом девочку. Пока занималась ею, вроде поутихла боль по Малышу. Но вдруг снова накатило - изматывающая бессонница, по ночам я вскакивала от того, что мне чудилось, будто Малыш плачет, зовет меня. Извелась я, измучилась. Мне было стыдно, что так получилось: родная мать произвела на свет и бросила на произвол судьбы, а другая, то есть я, обладала, приголубила и тоже пропала. Какая трагедия для ребенка, какое страшное испытание!

Позвонила в Дом ребенка: "Как там мой маленький?" А мне в ответ: "Плачет, никого к себе не подпускает, всё на дверь смотрит, будто ждет кого".

Застыло мое сердце от горя. Что делать? Как вырвать оттуда моего Малыша? Пошла снова к заведующей, рыдала у нее в кабинете, умоляла: "Ради Бога, позвольте мальчику хоть недолго пожить в нашей семье. Он же заболел от такого потрясения!" "А потом что? - спрашивает заведующая. - Опять сюда? Вы представляете, что будет с ребенком?"

По-своему она была права. Но это не означало, что я смирилась. Я просила разрешения хотя бы навестить Малыша. После недолгих колебаний она согласилась. Мы вместе с ней пошли к мальчику. Он не гулял, немного приболел, лежал в палате один. Как только я вошла, мой Малыш вихрем сорвался с постели и повис у меня на руках: "Мамочка! Мамуля, ты больше меня не бросишь? Ты возьмешь меня с собой?" И ловил своими огромными глазами, полными слез, мой взгляд. "Нет, нет, не брошу, мой милый, мой дорогой сыночек, ты мой, я тебя никому не отдам". Я задыхалась от слез, целовала его курносый крошечный носик, в щечки, ручки, попку, куда попало, куда только могла достать. Слезы мне мешали разглядеть Малыша. Он тоже плакал, ласкался, крепко держал меня за руку, будто боялся меня потерять.

Дрогнуло сердце заведующей. И она не смогла справиться с собой. Махнув рукой, она быстро покинула нас. Позже, когда мы успокоились и мирно беседовали с Малышом, тесно прижавшись друг к другу, она вернулась и дрожащим голосом шепнула мне: "Хорошо, хорошо, только, только, извините, под расписку". "Да, конечно же", - с радостью согласилась я.

Как только мальчик появился в нашей семье (теперь я могу назвать его имя - Алеша), сразу как-то посветлело, стало шумно, весело. Он очень озорной, мой сыночек, смешливый и с Олечкой, моей

дочкой, сначала никак не хотел дружить. Да и она настороженно встретила братишку - теперь ей придется пополам делить нашу любовь к ним. Детский эгоизм не мог этого допустить. Между ними началась тихая война. Но длилась она недолго.

Однажды на одном из медицинских обследований (я постоянно следила за здоровьем своих ребятишек) выяснилось, что мой Алешенька болен. Врачи говорили в один голос: "Не выживет, не поднимете мальчика: у него тяжелая анемия, запущенная".

У меня отнялись руки-ноги. "Как же так, - губы меня не слушались, я едва могла говорить. - Что же нужно, чтобы выздоровел мой сыночек?" "Море - ежегодно, санаторий - немедленно, фрукты - круглый год, витамины, усиленное питание, а главное - лекарства. Вы их нигде не найдете".

Это я-то не найду? Для моего любимого сыночка? Да я хоть изпод земли, а достану.

Мы неукоснительно выполняли указания врачей. Я действительно нашла и лекарства, и врачей, которые помогли моему малышу. Сынок заметно повеселел. Но жил он у нас на птичьих правах. Я каждый раз умоляла заведующую Домом ребенка продлить его проживание у нас: ведь ребенок болен, в казенном доме он просто погибнет. Предстояла поездка к морю, в санаторий. А нас не отпускали - или возвращайте в Дом ребенка, или представьте документ об отказе от сына родной мамы Алеши. Я срочно наняла знакомого парня из милиции для розысков мамы Алеши. Заплатила ему изрядную сумму, и, о счастье, нашли маму! Она спокойно подписала нужный документ. Буквально через несколько дней путем подарков, подношений, взяток я оформила документы на усыновление мальчика. И мы спокойно уехали в Крым.

Но, как говорится, беда не приходит одна. Пришла одна - отворяй ворота. Заболела Олечка. И опять врачи разводят руками: "У нас псориаз не лечивается. Обращайтесь к зарубежным специалистам". К тому времени наши не столь богатые средства уже подходили к концу - на лекарства для Алеши ушли почти все, что были. Но ведь и одеть надо малышей, не хуже других, и накормить вкусно. Стало жить потруднее. А тут начались эти перестройки, ускорения, экономические реформы, которые окончательно "съели" наши остальные запасы. Но я из всех сил старалась, чтобы Олечке облегчить страдания - и моральные, и физические. Псориаз и в самом деле не лечивается, тем более, что у дочки была еще куча всяких побочных болезней, которые мешали лечить основную. Но вскоре девочке стало заметно лучше. Жизнь в нашей семье начала помаленьку налаживаться. Мы снова ходили с детьми в театр. Я рано приучила их к театру, потому что заметила их необыкновенную одаренность к искусству. Дети неплохо рисуют (я прилагаю их рисунки - согласитесь, они совсем неплохие), у них развит музыкальный слух. Занимаюсь с ними сама, читаю им, слушаем пластинки с музыкальными записями.

Но самое главное - у ребят есть семья, дом. Они ведь не только вкусно покушают, красиво оденутся. Их никто не обидит. А если случится упасть, вдруг коленочку ушиб, есть кому пожаловаться, уткнуться к маме, бабушке, дедушке в теплые ласковые руки и сразу становится не так уж больно.

Никогда ни я, ни мои родители не пожалели, что взяли в семью двоих малышей. Останься они в детдоме, можно предположить, какая участь их там ждала бы. Недавно я прочитала жуткую цифру из нашей статистики: 80% детей-воспитанников детских домов попадают на скамью подсудимых. И это понятно. Эта категория детей - самая незащищенная, самая беспомощная. По выходе из детдома они оказываются один на один со всеми жизненными проблемами. Не к кому голову приклонить, не с кем посоветоваться. И пожалеть их некому, и приструнить их некому. Они легко поддаются дурному влиянию.

Мои дети (сейчас Оле - 10-й год, Алеше пошел седьмой годок) никогда не ступят на неверный путь. Я этого никогда не допущу. Но им надо помочь сейчас. Я в тревоге за своих детей. Об эстетическом воспитании теперь приходится забыть. Жаль, что ребята не могут учиться в специальной школе, где обучали бы музыке, рисованию, хорошим манерам. Такие школы у нас стоят сумасшедшие деньги. Сегодня приходится думать о хлебе насущном. Теперь, чтобы прокормить семью, одеть, обути, как должно быть у людей, надо работать 24 часа в сутки. Чтобы отвезти детей в санаторий, нужно собирать деньги едва ли не полжизни. Я с болью смотрю на моих милых стариков-родителей. Они по 40 лет отработали на тяжелой работе. Сколько горя пережили, потерь близких людей. Они заслужили спокойную благополучную старость. Но, увы, она безрадостна. И мне стыдно, что я не могу в какой-то мере облегчить им жизнь.

Может, вы спросите - почему я не обращаюсь к своим российским властям за помощью? Я однажды обратилась. Была в таком отчаянии, что просто не знала, что делать, и я постучалась в отдел социальной защиты населения. Пришли три тетki к нам домой. Их встретили мама и моя дочка. И тут же столкнулись с колючим взглядом комиссии: ах, у вас какая квартира (роскошная - целых 40 кв. м. на пятерых, включая ванну, туалет, коридор!), да у вас и телевизор есть, и холодильник, а книг-то сколько! Всё это мы купили 20 лет назад. Короче говоря, довели они маму до тяжелого сердечного приступа и ушли. А я вечером хлопотала возле мамы, отпаивая ее лекарствами после этого злополучного визита.

Пока я возилась с лекрствами, за мной постоянно двигались две неразлучные тени, взявшись за руки. Я к ним обернулаь: "Ребятки, что вы хотите? Вы же видите, мне пока некогда с вами заняться - бабушке плохо". Они молча смотрят на меня своими небесными глазенками, а потом в один голос: "Ты наша мачеха?"

Тут впору и меня отхаживать, я помертвела. Мама потом говори-

ла, что я сильно побледнела в тот момент. Но я нашла в себе силы улыбнуться им: "А что - похожа?" И дети кинулись ко мне на шею: "Ты наша самая родная мамулечка, ты наша любимая". И мы дружно разревелись.

С тех пор я за километр обхожу наши так называемые советские органы. Смертельно их боюсь. Умирать буду, но не пойду к ним за помощью.

Я не тешу себя иллюзиями, что мое письмо будет опубликовано. Я давно разуверилась в доброте человеческой. Но вдруг всё-таки счастье мне улыбнется хоть раз в жизни, и вы разместите мой рассказ о нашей семье в уважаемом вашем издании. Я знаю, ваш журнал пользуется авторитетом и большим спросом у честных добропорядочных читателей. И потому обращаюсь именно к ним: взываю к вашему милосердию, дорогие господа - если у вас есть сердце, если вы способны услышать чужую боль - ОТЗОВИТЕСЬ! Я еще надеюсь, что не пропадем мы в этом мире, как песчинки, и что мир не без добрых людей. Буду благодарна за любую помощь и поддержку - и моральную, и материальную. Услышьте меня, люди, помогите моим детям. Желаю всем вам счастья! Храни вас Господь!

*Россия, 300012, г. Тула,  
ул. Тимирязева, д. 101,  
корп. 6, кв. 89. Тел.: 25-74-86  
Зоя Михайловна Журавлева*

Подписано к печати                      Формат 84 X 108 1/32.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20.  
Усл. кр.-отт. 15. Уч.-изд. л. 16.  
Тираж 3 000 экз. Заказ 286 .  
Издательство "Посев" - Филиал в Москве.  
127018, Москва, Сушеvский вал, 3/5А-23

Отпечатано в Калужской типографии стандартов.  
248006, Калуга, ул. Московская, 256

## ЖУРНАЛ "ПОСЕВ"

"Посев" - общественно-политический журнал, выходящий с 1945 года. До 1990 г. "Посев" выходил за рубежом и был органом свободной российской оппозиции, трибуной свободного слова из России. И вот третий год журнал выходит в самой России, следуя своим прежним принципам участия во внутрироссийской политической борьбе за право, свободу и справедливость. Эта задача определяет направленность журнала, который:

- поддерживает российское освободительное движение во всех его гуманных проявлениях;
- стоит на позициях национально-государственных интересов России;
- участвует в обсуждении современных и будущих проблем российского государства (политических, экономических, социальных, идеологических, духовных);
- стремится к выявлению в России конструктивных сил, осознающих необходимость оздоровительных перемен во всех областях жизни страны и готовых к активному участию в их проведении.

Журнал "Посев" выходит 6 раз в год (каждый второй месяц) на 128 страницах.

**"ГРАНИ". Журнал литературы, искусства  
науки и общественно-политической мысли**  
**"ПОСЕВ". Общественно-политический журнал**  
**Франкфурт-на-Майне - Москва**

Продолжается подписка  
на журналы на 1994 год

**ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
НА ЖУРНАЛЫ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ**

Индексы по каталогу "Роспечати"  
(раздел "Журналы")

**"Грани" - 7 3 0 7 8**

Стоимость подписки на полгода - 710 РУБЛЕЙ  
Журнал выходит четыре раза в год.

**"Посев" - 7 3 3 0 8**

Стоимость подписки на полгода - 615 РУБЛЕЙ  
Журнал выходит шесть раз в год

Подписка также принимается  
в экспедиции Филиала издательства "Посев":

**"Грани"**

По РФ - 500 рублей, вкл. почт. расходы  
По СНГ - 1250 рублей, вкл. почт. расходы

**"Посев"**

По РФ - 420 р., вкл. почт. расходы  
По СНГ - 1100 р., вкл. почт. расходы

Подписка принимается почтовым переводом:  
140102 г. Раменское Моск. обл., а/я 9  
или через банк:

Расч. счет № 1810591 в Марьино-рощинском ОСБ  
ОПЕРУ МБ СБ РФ в г. Москве.  
Кор./сч. банка: № 164110, код ВА; МФО 201906  
Нов. МФО 44583342

(Указать на бланке перевода: "Посев"-Филиал).  
Доставка - по обратному адресу на бланке перевода.

**Подписывайтесь через Филиал!**